1 р. 90 к.

Индекс 73293

23-1-1

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 1. 1—208.

1991

Октябрь

ISSN 0132-0637

Октябрь

1

1991



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1991

ЯНВАРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сдано в набор 06.12.90. Подписано к печати 24.12.90. Формат 70×108[1]/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 245 000 экз. Заказ № 3155. Цена 1 р. 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11. Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

К нашим читателям

Дорогие друзья!

Мы вместе вступаем в год 1991-й, полный тревог, испытаний и надежд. Нам предстоит трудный путь, который можно осилить, лишь поддерживая друг друга. Как мы и обещали в ходе подписной кампании, «Октябрь» рассчитывает быть вашим союзником в жизни, в политике, в литературе.

Недавно стали известны результаты подписки среди российских изданий. Мы рады сообщить, что в условиях жесточайшей конкуренции и административно навязанного всем нам повышения подписных цен журнал «Октябрь» сохранил 72 процента своей аудитории! Это рекорд среди центральных литературных журналов страны, и он не состоялся бы без вашего личного участия. Мы гордимся вашей верностью и благодарны за нее. Конечно, дело не только в том, что «Октябрь» предлагает на 1991 год насыщенную и интересную программу публикаций,— подписчики проголосовали за достоинство литературы, за демократию, за общечеловеческие ценности.

Вы, без сомнения, знаете, что журнал «Октябрь» зарегистрирован в качестве независимого издания России под номером один. В будущем году эту независимость нам предстоит отстаивать. Мы будем защищать обретенную свободу творчества, чтобы служить литературе и читателям. Ибо видим «Октябрь» печатным органом, подотчетным только истине. Наша независимость на деле есть прямая и высокая зависимость — от традиций русской и мировой культуры, от верности правде жизни, от ожиданий наших читателей. Ради такой зависимости стоило становиться независимыми!

Еще раз благодарим вас за доверие и поддержку.

Желаем в новом году вам и вашим близким мира, счастья и благополучия.

Редколлегия журнала «ОКТЯБРЬ»

Валентин ЕРАШОВ

Вольный Тимерган

РАССКАЗ

В мае сорок третьего я стал инструктором нашего сельского райкома комсомола. Теперь-то понимаю, что для этого поста вовсе не годился, хотя бы по возрасту: мне только что минуло шестнадцать. Но я, как выражаются аппаратчики, зарекомендовал себя на практической работе секретаря школьного комитета, положение же с кадрами было трудное, и меня взяли да и назначили. У меня хватило ума сдать вместе с ребятами за девятый класс, договориться в школе на будущее, на выпускные экзамены, если к тому времени не уйду в армию,— и я ретиво принялся за дела.

Начальник наш — Николай, а в обиходе Кеша — по случаю моего выдвижения вовсе не испытывал радости: уж больно у меня был несолидный вид, как я и сам догадывался.

Внешние данные я старался исправить всеми доступными средствами: обнаружив или скорее придумав едва заметную близорукость, купил на базаре-толкучке (там тьма всего продавалось) очки с малыми диоптриями, красивые и солидные; в Доме инвалидов Отечественной войны выменял отцовский, мне оставленный, когда отец ушел воевать, пиджак на линялую гимнастерку с ремнем, к огорчению, брезентовым, красноармейским. Я старался ходить неторопливо, говорить сдержанно, употреблять казенные слова и не пускать петуха. И еще я соображал, в кого бы срочно влюбиться, однако с влюбленностью что-то не получалось: наверное, от моей робости, от неумения подступиться к взрослым девчатам; бывшие же мои одноклассницы для этой цели не годились, они оставались школьницами, а я заделался районным начальством. Позже я намертво втюрился в десятиклассницу Натку, но это произошло вовсе независимо от моего желания и планов.

Недели три я входил в курс: изучал формы отчетности, помогал составлять всякую райкомовскую статистику, читал протоколы бюро и первичных организаций, время от времени по собственной инициативе или по указанию Кеши Горбунова посещал комсоргов, непременно выискивая в их работе кучу недостатков, истинных или мнимых,— мне казалось, что именно в этом и заключается суть инструкторской деятельности, а также источник моего авторитета. В деревню покуда не посылали,— я как бы проходил стажировку под непосредственным надзором Кеши, и я тому радовался, поскольку вырос хоть в районном, а все-таки городке и о сельских делах и заботах представление имел отдаленное.

В общем, пока все шло благополучно, я был собою вполне доволен, и Кеша Горбунов, кажется, отрешился от нездорового скепсиса по отношению ко мне.

Второй секретарь у нас — на диво всем, в войну-то! — ушла в декрет, попросту говоря, собиралась рожать; заведующую учетом от прямых обязанностей не отрывали, бумажек ей хватало по завязку, а больше нам штатных работников не полагалось.

Кеша восседал за столом, заваленный для пущей важности кипами старых газет и папками, он курил папиросу, вдвинув ее в солдатский, наборный из пуговиц, мундштук и даже предложил потянуть мне, видимо, подчеркивая особую важность момента: Кеша ни перед кем не раскрывал подаренный инвалидом фронтовой, из алюминия, портсигар с «беломором» из райкомовского закрытого распределителя. Горбунов был на четыре года старше меня и представлялся мне личностью крупного масштаба — не сам по себе, а по занимаемой должности. Он одевался, конечно, в гимнастерку, и не такую задрипанную, как у меня, а суконную, черную, с накладными карманами: Кеша подражал, как и прочие районные работники, первому секретарю парткома Чурмантаеву, а тот, в свою очередь, первому обкома, а вообще-то все, от мала до велика, заимствовали моду от Генерального, нашего вождя и учителя. И еще Горбунов имел хромовые сапоги и комиссарский ремень со звездою на пряжке. И — на зависть прочим комсомолятам — носил наган образца 1895 года в брезентовой кобуре. Кеша был строен и белобрыс, розовощек и одноглаз, по каковой причине списан с военного учета. Физический недостаток не мешал ему, однако, пользоваться успехом среди женской части населения района. Кеша это ценил и следил за внешностью, то и дело расчесывал чубчик гребешком, старательно продувая его и пряча в нагрудный карман: там у него хранилось и девчачье зеркальце, я видел ненароком, как он охорашивается. Он был самоуверен и красноречив — тем особым красноречием на звуках, каким отличались тогда — и только ли тогда? — комсомольские работники, способные в любую минуту толкануть речь о чем хочешь. Этой наукой уже владел — еще со школы — и я.

— Садись,— велел Горбунов, хотя приглашения не требовалось, и задвинул ящик стола, где не водилось ничего ценного, кроме пачки «беломора» и старых директив.— Важный разговор.

Он помедлил, повернул ключ, запирая свой ящик, а затем покосился на дверь. Кому понадобилось бы нас подслушивать, а тем более врываться и очищать письменный стол — ума не приложу. И через дощатую переборку в коридор проникало каждое слово.

— Значит, так,— сказал Горбунов Кеша.— Послезавтра по радио и в печати будет важнейшее постановление партии и правительства.

— Угу,— подтвердил я непочтительно.— Выпуск военного займа. Все говорят.

— Не займа, а заёма,— поправил Горбунов и спохватился, что до времени выдал государственную тайну, известную всему базару.— Какое будет постановление — завтра скажут на совещании актива. Узком совещании,— подчеркнул он значительно.— На, держи.

Он говорил так, что было совершенно ясно: уж он-то, первый секретарь, отлично знает о теме предстоящего постановления.

Быть может, глупо подумал я, именно потому, что совещание будет узким, и бумажка-оповещание была узкой, отпечатанной через один интервал на желтой бумаге, по истертой копирке, и там значилась вписанная от руки моя фамилия с двумя, не как-нибудь, инициалами — товарища Барташова И. К. обязывали явиться на совещание партийно-комсомольского и советско-хозяйственного актива, и я, понятно, возгордился тем, что причислен к когорте.

— Гляди, никому ни гугу, сам понимаешь, время военное, партия и правительство требуют от нас повышенной бдительности в условиях борьбы против озверелого врага,— наставлял Кеша, и я не чувствовал в словах его фальши, не испытывал неловкости, хотя изречены были эти слова не с трибуны, а тут, с глазу на глаз. Я только еще больше проникся пониманием оказанных мне чести и доверия и даже маме не похвастался, куда и зачем иду завтра, да мама и не оценила бы, пожалуй: она работала в школе и, думалось мне теперь, мало смыслила в наших государственных делах.

Я одолжил у соседей стоптанные сапоги, чтобы предстать в ряду актива подобным каждому из них. Я долго мазал сапоги тавотом, зеленоватым и жирным, пришивал подворотничок к гимнастерке, утюжил ее и затягивал армейским ремнем, и очки у меня были, как у большого, и я старательно пыжился, входя в приемную райкомпарта,— так называли в подражание старым временам, а нас именовали райкомолом.

— Заходите, товарищи,— то ли приглашала, то ли поторапливала, показывая власть, секретарша Санийя, коричневоглазая и с волосами цвета соломы; говорили, что красится перекисью водорода, чего у нас не делали дру-

гие женщины. Сания была резкая, сердитая, ее побаивались и обращались, как она требовала: Александра Федоровна, хотя на самом деле она была Сания Фикрятовна, да и по годам, пожалуй, еще не заслужила права на отчество.

Первый, или иначе — Хозяин, почти бегал у письменного стола, возле окон, загодя распахнутых. В отличие от Сании Наиль Курбангалиевич Чурмантаев не позволял перекраивать свое имя на русский манер и вообще всячески подчеркивал татарское происхождение. Он был невысокий, непривычно для татар кучерявый, но по-татарски смуглый лицом и по-татарски же подвижный, взрывчатый порой до бешенства. На гимнастерке сверкал орден Ленина, полученный недавно за перевыполнение хлебозаготовок и сдачи зерна в фонд обороны. К ордену Чурмантаев еще не привык, то и дело трогал его, как бы поправлял безо всякой необходимости.

— Все? — кинул Чурмантаев, никого не спрашивая определенно, и каждый подтвердил, что все; тогда Первый велел, как вчера мне Кеша Горбунов, что подражал и в мелочах Хозяину: — Садитесь, инташляр.

Разместились: члены бюро вдоль зеленого стола, прочие по стенкам. Я забился в уголок и содрогнулся от сладости: впервые присутствовал на таком ответственном, узком совещании.

По-русски Чурмантаев — я его слышал с трибун — говорил отлично и все-таки, стараясь завоевать дополнительный авторитет, сознательно подпускал родные слова, акцент, малость прикидывался, когда надо, этаким простачком... Впрочем, это я понял много позже, а тогда Чурмантаев был для меня образцом, я и сам того и гляди мог заговорить с татарским акцентом.

— Вот бит какое дело,— сказал Чурмантаев и умолк, чтобы все прониклись. Бит — это у татар такое присловье, вроде как у северян и сибиряков, в принципе оно обозначает «ведь».— Вот бит какое дело. Пустановление партии-правительства ожидаем завтра. Надо выпулнят.

Он прошелся вдоль стола — опять-таки я лишь теперь понимаю, что через многие инстанции эта манера передавалась в низы от кремлевского кабинета,— остановился, умерив почти неслышный шаг, обвел всех умными глазками, запрятанными под лоб, вздохнул и объявил:

— Пока только активу сообщаем. Будет нувый военный заём.

Чурмантаев отчего-то рассердился, швырнул холодный окурок на пол, по-крестьянски втер сапогом, будто в землю, сунул руки за поясной ремень, качнулся на пятках.

— Трудна будет,— сказал он.— Баба есть баба, говорит мнуга, дает мало.

Кто-то хихикнул тихонько.

А Чурмантаев, забыв о татарском произношении, велел:

— Товарищ Мухаметшин, докладывай активу об условиях заёма.

Вот почему Кеша так произносил: «заёма», догадался я и отогнал пустые мысли, потому что перед нами, передо мной, партийно-комсомольско-советско-хозяйственным активом выступал сейчас товарищ Мухаметшин, председатель райисполкома, облаченный, как и все, кроме женщин, в гимнастерку, в широкопузырное галифе, сапоги. Мухаметшин то и дело почесывал крылья носа, проводил рукою по веселой, в солнышке, лысине и дышал тяжело, а слова звучали странно как-то, будто говорил он одно, а думал совершенно другое или вообще не думал, только механически произносил давно затверженные фразы.

Я сидел, как говорят в наших местах, пришипившись, тихонечко этак сидел: мне уж больно было неловко среди взрослых, военкоматской бронею прикрытых или покалеченных мужчин и деловых женщин. Я в отличие от других слушал внимательно, прочие же только делали вид, будто записывают в блокноты,— им-то что, не впервой.

Контрольные цифры, оповещал Мухаметшин, таковы: для работающих на промышленных предприятиях и в учреждениях — два месячных оклада, но желательно три, для колхозников же система сложней, тут надо учитывать и размер приусадебного участка, и поголовье скота, включая кур и гусей, а также наличие трудоспособных и размер получаемого воинского аттестата. Словом, минимальная сумма подписки — полторы тысячи рублей с хозяйства. Закончить кампанию надо любой ценой в течение двух суток,

чтобы выйти в число передовых районов и занять ведущее место по сумме и срокам проведения...

— Вопросы есть? — спросил Чурмантаев, когда предрика в последний раз провел рукой по лысине и плюхнулся на место.— Нет вопросов, какие могут быть вопросы, не в первый раз проводим мероприятия государственной и оборонной важности. Хорошо. Удостоверения в приемной, там и список, кому куда. И завтра утром — по местам. Малейшее промедление с подпиской будем рассматривать как срыв задания партии и правительства со всей ответственностью по законам военного времени.

Он хорошо чесал по-русски, когда не прикидывался.

Потянулись к выходу, я пропускал вперед одного за другим, поскольку был моложе всех, и, когда замешкался, Чурмантаев окликнул:

— Погоди, мала́й.

Конечно, только меня он мог здесь так позвать — малай, мальчик,— я почувствовал, что сделался красным, и кто-то, кажется, засмеялся, но что поделаешь, я ведь не мог возразить или хотя бы вслух обидеться.

— У́тыр малай,— пригласил Чурмантаев почему-то по-татарски, то ли забыл, что я русский, то ли опять слегка подыгрывал. Я послушно опустился на жесткое кресло, еще недавно занятое самим председателем РИКа.— Отец пишет? — спросил Чурмантаев, и это показалось тоже обидным: спросил бы о нашем райкоме, а то разговаривает, как с маленьким, об отце. Но ведь Хозяин и в самом деле мог поинтересоваться: отец работал главным агрономом, рядышком с Чурмантаевым тянул упряжку... Я ответил: да, пишет, все в порядке, и добавил про награждение Красной Звездочкой.

— Якши, бик якши,— похвалил Первый, поправил рукой свой орден Ленина.— Так вот, Барташов-малай, районный комитет партии доверил тебе ответственное патриотическое дело. Поедешь...— Он перевернул бумажный лист, быстро поглядел.— В Вольный Тимерган, знаешь?

— Да, Наиль Курбангалиевич,— сказал я, это был мой служебный куст, и в Тимергане я успел однажды побывать.

— Для первого раза даем деревню маленькую,— объяснил Чурмантаев.— Восемнадцать хозяйств, знаешь?

— Знаю,— подтвердил я, но секретарь продолжал:

— Лесная деревня, темный народ. А на базаре торгуют, и в чулке денег много. Будут прибедняться — не верь, Барташов. Выжимать надо заём, люди несознательные, а фронт требует помощи для разгрома оголтелого врага.

И опять, как вчера с Горбуновым, я не испытывал неловкости, выслушивая эти фразы в личном разговоре.

— Председатель колхоза там Елхов,— продолжал объяснять Хозяин, я не понимал, для чего уделяет мне столько времени, после сообразил: ведь полагается проводить индивидуальную работу с кадрами, особенно молодыми; наверное, отпустив меня, поставит где-нибудь галочку.— Елхов — беспартийный мужик, не шибко грамотный, но линию проводить может, с ним вместе и действуй, понял?

— Понял, товарищ Чурмантаев,— подтвердил я, исполненный гордости оттого, что назначен уполномоченным для проведения важнейшей политической кампании, а также оттого, что со мной персонально беседует сам товарищ Чурмантаев, первый секретарь райкомпарта, член обкома, орденоносец, депутат Верховного Совета республики, и что я называю его, как принято между партийными,— товарищем, а не по имени-отчеству.

— Деревня русская,— еще прибавил он и обронил неожиданно: — Плохо...

Что — плохо? Деревня русская? Я не решился узнать — Чурмантаев после краткой паузы разъяснил сам:

— Плохо — татарского языка ты не знаешь. Надо знать язык коренного населения. А Горбунов, скажу тебе, не тянет, больше о бабах думает, прическу налаживает. Вот через год тебя сделали бы первым, а?

Ух ты! Первый секретарь! Кабинет, шерстяная гимнастерка, наган! Первый! Но я все-таки сказал честно:

— В армию на следующий год. Я в первый день войны добровольцем просился, тогда сказали — мал еще, а теперь добровольцев нет вообще, через год мой срок подоспеет.

— Ай! — Чурмантаев отмахнулся.— Может, война кончится. А не кончится, так с призывом — наша власть. Скажем — и не возьмут. Райвоенком — он что, не под райкомом ходит? Все под нами ходят. Ладно. Про этот наш разговор помалкивай. Иди, парень, старайся. Иди, у меня работы много.

И в самом деле глаза у него были красные, обведенные темным, и покашливал он, хотя на улице жара, и плечи сутулились теперь, когда в кабинете никого не было, и я пожалел Чурмантаева, хорошего и, видно, доброго, заботливого человека.

Вылетел я из райкомпарта словно бы на крылышках, хотелось орать от радости, но рассказать я никому не мог, даже маме — партийный секрет про займ, про з а ё м, и про мое вполне вероятное и не столь далекое выдвижение, я летел на крылышках, воспаряя все выше и выше, я в эти минуты забыл про армию, куда обязан был идти непременно, и, пока я мчался два квартала до райкома, успел вообразить себя чуть ли не секретарем ЦК ВЛКСМ — на партийную карьеру фантазия моя пока не распространялась.

Кажется, и теперь комсомольские работники на селе не больно-то избалованы всякими служебными и житейскими благами, а в ту пору и подавно — наш райком занимал три крохотных комнатенки в одноэтажном деревянном здании парткабинета: в одной восседал Кеша, в другой — сектор учета, в третьей были мы — второй секретарь и я, инструктор. О транспорте мы и не мечтали: в большинстве районных организаций держали лошадей, а нам и кобыленки не полагалось,— единственным средством передвижения у нас были собственные ноги да, если крупно повезет, попутная подвода. В данном случае ее не предвиделось: Вольный Тимерган располагался на отшибе, в лесу, и туда вела неезженая проселочная дорога.

Отправился спозаранок, чтобы без особой натуги одолеть двадцать шесть километров и прибыть к обеду. Сначала путь мой лежал через ржаное поле. Лошадей и машин давно уже не хватало, сеяли вразброс, и, конечно, сеяли неумело, от «севалок» давно поотвыкли, да и не женское это дело. Там и тут виднелись проплешины, заметные даже сейчас, когда хлеба сделались высокий, наливались. Потом дорога свернула на косогор, какое-то время тащилась по нему, спотыкаясь, пошла найзволок, и тут начинался лес, так и называемый Тимерганским.

Деревень же с этим именем было три: Татарский Тимерган, Русский, Вольный. Рассказывали, что Вольным его потому окрестили, что сюда, в лес, перебрались когда-то несколько семей, кому на родине малы были наделы, а здесь немеряна земля, отрезай, сколь душе угодно. И, задрав носы перед бывшими односельчанами, присвоили они себе горделивое прозвание — Вольный!

Как ни странно, а Чурмантаев, по-моему, что-то сказал не совсем так: будто народ там богатый, спекулируют на базаре, завязывают деньги в чулок. Базар — только в райцентре, не шибко-то натопаешься, да еще с грузом, да и молоко скиснет, покуда идешь, огородов же тимерганцы вроде не разводили, трудодни у них, слыхать, и до войны числились никудышные, так что откуда могли выкачивать богатство — я сообразить не умел, оставалось верить Хозяину на слово.

Однако, думал я, советские люди, тесно сплоченные и преданные, сознающие патриотический долг, подпишутся, конечно, с высоким энтузиазмом. Тут сомнений возникнуть не могло: я помнил, как в прошлом году сообщали газеты о высоких цифрах, публиковали восторженные речи, произнесенные при подписке...

Настроение — особенно после посулов Чурмантаева прекрасное — было подпорчено, в сущности, пустяком: больно казалась не по душе тимерганский комсомольский секретарь Стеша Соломатина.

Была Стеша перестарок: еще в прошлом году стукнуло двадцать восемь, и согласно уставу ей полагалось механически выбыть из рядов, но в примечании говорилось, что положение это не распространяется на тех, кто выбран в руководящие органы ВЛКСМ, а Стеша была секретарем несколько лет подряд.

Смущало меня и то, что по заведенному обыкновению мы, комсомольские работники, звали друг дружку просто по имени и на «ты»,— и Кешу Горбунова в том числе, как ни морщился он,— а к Соломатиной у меня язык на то поворачивался трудно: и возраст, и, главное, Стеша работала не в полеводстве, не дояркой, не почтарем, не секретарем сельсовета, как большинство наших кадров,— она учительствовала в начальной школе, и мне, вчерашнему девятикласснику, неловко было поучать педагога и обращаться запросто.

Я Стешу и побаивался: на язык востра, могла срезать в публичном выступлении, могла, по учительской привычке к собственной непререкаемости, чуть не выставить за дверь,— такое, говорили, случилось с моим предшественником.

И наконец, прямо-таки раздражала меня внешность Соломатиной, Я сравнивал ее с только что выпеченной сыроватой булкой; при всей банальности сравнение соответствовало. Соломатина была меня выше на полголовы, конопатая до неприличия, пышноволосая, пышнотелая, с той особенной белизной кожи, что присуща рыжим, и от Стеши неприятно пахло парным молоком.

Обо всем этом я думал и вспоминал, пыля по изухабленной дороге, она была скучна и томительна, потому и мысли в голову лезли такие.

Становилось жарковато, но я не расстегнул ворот гимнастерки, не снял ремень и очки, хотя без них вполне мог обойтись, я даже перед самим собой желал казаться мужественным, подтянутым, взрослым...

Потом я вступил в утренний лес, в зелень, еще не покоробленную зноем, тут было прохладно и тихо. Я вырезал хлыстик, поузорил ножиком по рукояти, я сшибал цветочные макушки, горланил песни. В колее блестела темная чистая вода, и, поскольку другой не предвиделось, я прилег и долго пил, пока не увидел недалеко, в той же воде, выпученные в страхе глаза лягушонка. Я сказал: «А ну, брысь!» — и он сиганул прочь.

Не встретив никого — ни человека, ни зверя,— к обеду, как и нацеливался, заявился я в Тимерган.

Деревня вынырнула сразу, восемнадцать дворов, по-заполошному скученных на лесной поляне. Почти все избы темны были, косы, присадисты, и ни единого звука не слышалось ни со дворов, ни в окошках, наглухо закрытых ставнями; я вошел в деревню как бы мертвую, как бы смертно диковатую, и ощущение не то жути, не то печали охватило меня.

Стеша квартировала, я помнил, в четвертом от околицы доме,— околицы, правда, здесь не было, так говорилось только. Изба предстала заброшенной и сирой, я торкнулся в кривую калитку, шатко ступил на крыльцо, взошел — сенцев не было — прямо в жилье. Там было тихо и пустынно, я спросил, покашляв для приличия:

— Хозяева дома ли?

Только дымчатый — драный, с обкусанным ухом — кот объявился навстречу, голодно возопил, сверканул одичалыми зиркалками, потерся о штанину, оставил шерстинки, я хотел пнуть полегоньку, но пожалел. А стоять в пустынном жилище было неловко.

Завернул к шабрам — узнать про Стешу, но и там не обнаружилось живой души, я постоял дурак дураком посередке деревни, откуда-то доносился невнятный гул, я отправился было туда, и тут навстречу со двора вымахнул пацан, волосья торчком, ноги в цыпках, ковырнул в носу, тараща гляделки, я спросил:

— Слушай, куда народ подевался?

— Хы,— ответил малец и опять ковырнул в носу.— Хы...

— А разговаривать можешь? — спросил я.

— Ага,— подтвердил он.— Чё не разговаривать? Гуляют все. На свадьбе. Слышь, орут. На свадьбе-то.

Тогда я и понял: с противоположного конца несся шум, чуть не рев, диковатый, хмельной. И, еще не зная, надо ли, я двинул туда.

Пятистенка того я не заметил в прошлый раз и подивился добротности, осанистости. Бревна — сейчас я бы сказал, циклопические, а тогда определения не сыскал — лежали плотными, тяжкими венцами, отливали по солнцу желтизной, пахли — чуешь издали, густо — смолою. И в пазах торчали еще не обтерханные клочья мха, и крыльцо возвышалось срубное, и рев раздавался отчетливо и резко в дрожливом жарком мареве. Я постоял немного и решился.

Окна были туго заторкнуты, как и полагается в деревенском быту, где

не знают распашных рам и форточек, берегут — даже в лесной местности — избяное тепло. И когда я расхлебянил неподатливую дверь, в меня ушибся тугой табачный пласт, обильно сдобренный вонью сивухи, человеческого пота и почему-то паленой шерсти. Я замялся у порога, в первые секунды никто не обратил внимания, и непонятно было: то ли стоять, покуда заметят, или же потихоньку сматываться.

Пока я размышлял, из-за печного кута прытко вышмыгнула горбатая, длиннополая, бойко хмельная старуха, приветила:

— Гостенечек, заходь, звать как тебя — не знаю, да ить не всякому по имени, а всякому — челом.

И тотчас, будто ждала приглашения старухи, выступила Стеша, пьяноватая и разволосая, объявила громко:

— Ай, представитель прибыл, как по форме, от районных властей. Бью хлебом, да солью, да третьей — любовью, милости просим к нашему шалашу.

Она лицом белая была, и оттого рыжина волос казалась еще ослепительней, и недопеченное лицо, всегда плоское, теперь обострилось, и в хмельной опухлости печально и остро глядели трезвые, жутковатые глаза, жалкие такие. Стеша притронулась к моему рукаву мокрыми пальцами, позвала:

— Втопыривайся за стол, инструктор, поглядишь, как престарелый комсомол гуляет.

— Слушай,— сказал я, насилуя себя в обращении на «ты».— Может, завтра потолкуем с тобой?

— А то сегодня, что ль? — почти крикнула она и прошлась в расхристанном полуплясе.— Пей, гуляй, однова живем, война все нам спишет, садись, инструктор, пей-гуляй, инструктор! Хозяин, посуду-то потревожь давай для гостенечка!

И загорлопанила:

— Ничево да никово,
А люблю я одново!

— Р-равнение на сред-дину! — скомандовали за столом.— Районному начальству — почет и уважение!

Я ошалел.

С табурета, грохотно его откинув, поднялся парень, а то и мужик, он ростом перекрывал меня, приблизился, опрокинул по швам кургузые, непонятные руки. Слюнявые волосы лепились ко лбу, парень тянулся передо мною и, ерничая, докладывал:

— Товарищ гвардии начальник! Сержант в отставке, командир минометного расчета, военный калека, теперича жених Юминов Гаврила сын Самойлов просит пожаловать к свадебному угощенью!

— Милка ты моя! — объяснила ему и остальным Стеша, поцеловала жениха в слюнявый лоб.— Милка ты моя желанная!

— Го-орько! — завопили сбоку, тогда я увидел почти всех, кто сидел за скобленым столом, там дымились положенные прямо на доску цигарки, несло квелым запахом прошлогодней капусты и самогонкой. Повинуясь, я занял почетное — под образами — место, передо мной тотчас засвербила изначально пространная, теперь наполовину порушенная ложками глазунья на сковороде, она плавала в масле и еще дышала, и давно забытый запах ее терзал меня, и еще сильно шибануло свекольным духом самогонки; фиолетово, по-ведьмачьи мерцали бутыли, четвертные, в таких на базаре торгуют молоком, и я углядел: жених самолично поднял споловиненную посудину розовыми, полосованными култышками, кистей не было у него напрочь, и культи, похожие на ребячьи пятки, плотно схватили отчаянно-фиолетовую посудину, креня к стакану; булькала жидкость, я хотел остановить, чтоб не дополна хоть, и тут жених сказал весело и горестно:

— Пей, инструктор, пока пацан, а то на фронт угодишь, могут и ухайдакать до смерти, мне дак вот посчастило, глянь.

На «пацана», конечно, я втихую обиделся и, чтоб доказать, вымахал до самого донышка и — для себя неожиданно — загорланил:

— Г-о-орько-о!

Тогда жених опять встал, обратился — хмельно и уважительно — ко всем:

— Кому горько, кому сладко, а все одно — выпить следовает, времечко самое, и потому прошу дорогих родичей и дорогих дружков-подружек наполнить хрустальные бокалы и чокнуться за доброе здоровье новобрачной и предбудущего наследника! Чок в бочок! Без него глаз видит, язык чует, палец шшупает, а с ним, с чоком, еще и уши слышат!

— Ах! — воскликнула Стеша, выпрыгнула вбок, прошлась по замызганным половицам, ситцевая юбка раздувалась, показывая короткие, городские трусики, Стеша стучала низкими каблучками по замызганному полу, дроби не выходило, но выплясывала она старательно, а запела не к месту вроде:

— Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет!

— Ух ты! — сказал тот, кто сидел напротив меня, голова у него впробель, а лежалые глаза нарюмились; он мигом встал, заслышав имя товарища Сталина, и закричал так, что все призатихли: — За непоколебимое здоровье Верьховного Командующего, вождя и учителя всех стран, непобедимого товарища Сталина!

Тут, понятно, и все поднялись, а жених Юминов нет, он сидел на отполированной задницами приставной скамейке и принялся барабанить по столешнице розовыми культями, получалось глухо: «Та-та-та, татата-ратата! Та-та-та, тра-тата», и я неожиданно уловил знакомое: «А если к нам нагрянет враг матерый, он будет бит повсюду и везде...» Я хотел было подтянуть, но застеснялся и хорошо сделал, потому что Гаврила-жених саданул култышками со всего размаха, из обрубка, розового и тугого, сиганула вверх веселая рубиновая кровь, она брызнула и потекла по культе, и моментом подскочила Стеша, ласковая, сказала:

— Родненький ты мой, желанный, да что ж ты это?..

— А то,— отвечал Гаврила,— а то, едрит твою за ногу, допелись... «Будет бит повсюду и везде», слышь... Тольки мы покудов его бить стали, дак он нам таких п......й навешал...

— Ну-ну! — прикрикнул тот, кто возглашал здравицу.— Ты ври, да не завирайся, не поглядим, что инвалид...

— Эко дело, страх какой,— сказал Гаврила трезво.— Сам бы помалкивал, засранец, укрылся за броней, что твой танк, ну, и помалкивай в тряпочку. А мне, слышь, не грози, я пужан и без того. В тюрягу, что ли, засодишь? Хрен тебе в зубы, не посодют, меня там кормить задарма надобно, а нонче овес-то доро-о-гу-ущий, сам знаешь, почем.

А кровь все текла, живая и веселая, а после, вытерев полотенцем, Юминов сидел тихий, и оранжевой полосой пересекало култышку йодное пятно. Все приумолкли, ко мне приблизилась Стеша, душно дохнула в затылок, позвала:

— Выдь на минуточку, Барташов.

Избяная дверь давно стояла нарастопашку, Соломатина из сеней поддала по двери ногой, и, словно выключили репродуктор, тумаша́ и гвалт прекратились.

В сенцах из неплотного горбыля пахло трухлястым деревом, сыромятиной, квашеной капустой, мышами, прелью, плесенцой и мочой — видно, кто-то не дотерпел на двор. Из волокового, почти под крышей, оконца пробивался луч, он освещал Стешу, и волосы ее казались впрямь соломенными. Стеша затолкала меня в угол, почти прижала большим рыхловатым телом — я даже испугался — и сказала четко и требовательно:

— Осуждаешь?

— Да ты что? — ответил я.— Мое-то какое дело?

— Ага,— с непонятной трезвой злобой сказала Стеша.— И твое какое дело, ихнее какое дело, а бухтить языком — всем до меня дело. А я чихала на всех, понятно? Нинка вон, почтарка, пятнадцатигодовалого в мужья взяла, ну, порасписаться не дозволили, вроде так, гражданским браком. А он, муженек-то молодой, на свадьбе рюмку опрокинул, его развезло, упрятался на полати. Гости разошлись, она его на руках в постелю, а он отмахивается — спать, мол, хочу. А проспался, молока полкринки выдул, лыжи подвязал да с ребятишками своими по зайцеву следу. Вот какая у нас зимой история была... А Гаврила — что Гаврила, рук нет — не в том соль. Мне ребетенка надо, мне все одно, парня или девку, и чтоб не в подоле принести, а по закону. Вот рожу, а после я этого Гаврилу выгоню, на кой мне он дьявол сдался...

Говорила она трезво и жестоко, я испугался неприкрытой такой, рас-

считанной жестокости, глянул, пересиливая себя, на Стешу и увидел: глаза ее по-прежнему печальны, влажны и вовсе не свирепы.

— Врешь ты все,—сказал я, и она откликнулась невпопад:

— Ох, как он моется, ты бы поглядел, страхи. Возьмет мыло в обрубки свои да прямо куском лицо и намазывает... А полотенце на обе культяпки накручивает, вроде вытирает, ох, страшно... Ничего себе сделать не может, штаны расстегнуть-застегнуть, и те...

Я промолчал. Я бы и теперь, наверное, в такой ситуации ничего толкового сказать не мог, а уж тогда, в шестнадцать, какой был с меня спрос. Но Стеша глядела в упор, чего-то выжидая, и я сказал:

— Неправда ведь... Любишь его, наверно...

— Любовь — она в книжках да в припевочках,— отбросила мои слова Стеша и, словно перед людьми, на виду, прошлась по сенцам, оттянув пальцами широкий подол, мелькали белые коленки, а волосы в тени стали коричневыми, и голос опять сделался надрывным, глухим:

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка,
Взамуж выйти — то не штука...

Хотелось убежать отсюда — не в избу и не на прокаленную улицу, а куда-то далеко, в лес, прозрачный и тихий, но я не смел удрать и знать не знал, что делать, что сказать, я таился в уголке, а Стеша крутанулась еще и упала на крышку пустого ларя, плечи дрогнули, вся она оплыла, оползла как-то. Опять расхлебянилась дверь, вытолкнув пьяный рев и дым, провонялый перегаром, и, со свету не видя нас, объявился Гаврила, позвал громко:

— Стеш!

Она молчала и молчала, Гаврила шагнул, увидел меня и спросил недобро:

— Чё утаился, начальничек? Стешка где?

И тут приметил ее и углядел, должно быть, как вздрагивают плечи, приказал:

— Дул бы ты в избу, начальничек-две-руки.

Я повиновался — с охотой. Место мое за столом оказалось занятым, но белесый, с лежалыми глазами, тот, что возглашал про товарища Сталина, подвинулся, освобождая угол, усадил, притянул за руку, склонился к уху — воняло самогоном,— шепнул:

— Чего ж сразу не признавался, уполномоченный? Я-то мерекал — ты по комсомолу только. Ну, будем знакомы, коли так. Председатель я, Елхов, Игнат Семеныч. Выпьем для приятного знакомства и пребудущие успехи, товарищ уполномоченный.

То ли насмехался — старый он, лет сорок, а я и впрямь ведь пацан еще,— то ли всерьез говорил; пить не хотелось, я боялся захмелеть вконец, набулдыриться, но Елхов настырно протягивал стакан, и, страшась и содрогаясь, я ульркнул самогонную отраву, быстро покидал в рот как бы тряпичную капусту, и, как ни чудно, после этой порции сделалось легче, голова не так плыла, мысли обретали определенность.

— Заем, значитца, будем проводить,— сказал Елхов громко, я толканул его под столом, помня про секретность, он же подморгнул, засипел в ухо: — Добровольно-принудительно, с высокой активностью, ага, понятное дело, по скольки на рыло нам определили?

— Завтра поговорим, утром,— ответил я, и Елхов, в свою очередь, ткнул меня в бок, похвалил:

— Понимаешь службу, товарищ районный представитель. Ну, коль так, тады пить давай. На свадьбе я давненько не гулял, а ты, поди, так и вовсе первый разик?

Пить мне больше нельзя было никак, но Елхов пристал: ишь, мол, какой непитуха, брезгаешь, что ль? — и я по слабости поддался, опять шибанула в голову, физии напротив сделались белыми лепешками, а потом и вовсе соединились в одно, протяженное, качкое, но жениха и невесту я выделил, однако. Они вошли, в обнимышки, кто-то возопил опять:

— Го-о-о-р-рь-ка!

Подхватили, даже мальчонки на полатях, все орали, все ерзали стаканами, пришлось отхлебнуть, я понимал, что, если притронусь еще,— будет скверно, и, однако, пил, пускай и помалу, вбивая в себя омерзительный, отдающий керосином самогон, и все вокруг то приближалось, то отдалялось, расплывалось и на мгновения обрисовывалось опять, я еще приметил, как виновато и счастливо улыбается Стеша, и смог еще подумать, что, наверно, и натужны, и несправедливы — для кого только и почему сказаны? — те, в сенцах, ее слова.

А дальше все обдернулось дымным, самогонным, головокружным и шатким туманом, в нем обрывками выплывало напоминание о том, что я инструктор райкома комсомола и уполномоченный райкома партии, что завтра мне предстоит какое-то —какое? — ответственное дело, ах да, заём, и вот этот белесый, ненажорный на выпивку, дошлый, как там его звать, он завтра будет проводить со мной вместе мероприятие, а Стеша ляжет с искромсанным войною Гаврилой, а мне-то какое дело до них, и кому какое дело, и вот стакан с керосином, и холодная, размазанная по сковороде яичница, она ускользает, никак не поймать ложкой, и чьи-то сазаньи белесые гляделки ухмыляются, и в избе жарко, хуже бани, почему так, если зима, или это гроза падает с небес, руша деревья, и она — кто? гроза, что ли? — вопит надсадно и рьяно: «Из-за остро-в-ва н-на сыт-ре-жынь! На! П-р-растор-р р-ряч-ной выл-ны!»

И еще я ковылял где-то задами, меж прясел огорожи, по картофельным посадкам, середь грядок, меня и качало, и мотало, и с одной стороны поддерживал — кого? да уполномоченного! — этот, как его, Ерохин, что ли, с другой же — что-то ситцевое, горячее и пьяное, оно тоже шаталось-моталось, это ситцевое, и лепилось ко мне липкими потными локтями, и, правда ведь, локти бывают потными, а то и не бывают, я не знаю...

Куда-то несло меня по реке, волнобойной и белопенной, и река была шершавой, пахла домотканой дерюгой, нестираной наволочкой и женскими волосами, я качался на волне, плывя и подныривая, запах женских волос загустел, и я на миг оклемался и услышал:

— Да чё ж ты, дак чё ж это, господи, ну, ну...

— Спать,— сказал я и окунулся в медленную, покачливую реку, но по мне шарили настырные, егозливые, нежные и наглые руки, я дрогнул от их прикосновений, однако не собрал силы проснуться, и я качался, качался по выдуманной, бредовой реке, что-то влажное, горячее, липкое обхватывало меня и незнакомо сладостным было высвобожденье, и ударил такой же требовательный, как и чужие настырные и ласковые руки, солнечный свет, и я обнаружился в нем, прохмельный, голый и стыдный.

— Маленький ты мой,— сказала женщина, она стояла перед прочной деревянной кроватью, где солома была набита не в тюфяк, а прямо в короб и прикрыта дерюгой, скомканной и брезготной. Холщаная рубаха, укороченная, как мужская майка, не просвечивала, но из-под нее видно было сокровенное, неназываемое, то, чего никто не должен видеть, я застыдился — нет, не за женщину, за себя,— попросил:

— Уйди, пожалуйста.

— Дурачок ты мой,— сказала она и опахнула запахом женщины, сунулась под вторую, сбитую в ноги жесткую дерюжку, я испугался и захлебнулся, я был счастлив, смешон и жалок и, должно быть, неумел, а она — опытна и настойчива.

Она сказала после:

— Ты хоть имячко запомни, желанный, меня Улькой, Ульяной то ись, кличут.

Я лежал на спине, и воздух плыл, покачиваясь, как река, и женское обмяклое тело со мною лежало рядом, и пахло волосами, нестираной наволочкой, пóтом, скобленым полом, и она — первая в моей жизни! — касалась меня скорее привычно, а не от потребности ласки, она должна была обозначить свершенное какими-то женскими, особенными словами любви и благодарности, и она повернула голову и шепнула:

— Слышь, миленок, ты заём-то мне скости, ладно?

Я не знал — плакать ли, засмеяться, кричать или садануть по ласковой отвратительной харе, я сказал:

— Вставать пора.

— Ясно дело,— ответила она, выпрыгнула из короба кровати,— рубашка задралась,— и в постель принесла чашку дурновонной самогонки, я отторгнул руку и встал голымя, натащил трусы и штаны, ополоснулся у брякот-

ливого рукомойника, пил вместо сивухи одухотворяющее молоко с погреба, а Ульяна мельтешила по избе в той же короткой рубашке, и не было сил глядеть спокойно, и не было возможности не глядеть. А она, конечно, понимала меня и крутилась в избе, то и дело пригинаясь без нужды, и мы опять оказались в коробчатой деревянной кровати.

Меня еще мутило и шатало — шатало, правда, не только со вчерашнего,— но деревней я прошагал чин чинарем и в колхозную контору явился достойно, входя в предназначенную роль.

Контора выглядела, как и подобные в других деревнях, я понавидался, когда перед войной ездил с отцом по району, да и теперь, за время инструкторской деятельности, кое-где побывал.

Курослепая, шаткополая изба, обтоптанная вся. Впродоль стенок, морщинистых и траченных грибком, тянулись лавки без причелин, а посередке, у окна, зыбился председательский стол, обляпанный чернилами и пустой, а сбоку еще столишко — для счетовода. Там, где полагалось висеть иконам, в красном куте, пластался плакат довоенной выделки: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!» Ниже лепилась карта России, утыканная синими флажками,— чья-то лиходейская рука присобачила их вплоть до самого Сталинграда... И еще водилось тут, разумеется, конское, уширенное кверху, ведро, и при нем жестяная кружка на цепи, обшарпанный голичок у порога, издрызганный половик, лохань с вонью, ошметки махорочного курева и растертая овечья говяшка. Понятно, что владела избою, сдавая внаем, какая-нибудь бабка, причем за дополнительную, трудоднями, плату служила тут и уборщицей, и сторожихой, и рассыльной. В общем, все тут было, как и всюду.

— Здравствуйте,— сказал я, и первой откликнулась невидимая бабка из-за печи, и Елхов сказал небрежно и покровительственно, помня вчерашнее:

— Привет, уполномоченный.

А Стеша опустила глаза и поздоровалась официально:

— Доброе утро, товарищ Барташов.

— Головушка-то как? — осведомился Елхов и подмигнул бабке, я весь передернулся, а Елхов был деловит и прохиндеист, на поданную поллитровку он глянул, как на свою невестушку, я сказал в отрез:

— Не буду, Игнат Семенович.

— Не хошь — как хошь,— ответствовал не опечаленный отказом Елхов, у него в горле булькануло, хрустнул прошлогодний, умело засоленный огурец, повеяло туманным перегаром, я замутился, вывертывать стало, и я — спасения ради, а заодно и лихости — скрутил махры, дыманул неумелой струей, сказал им обоим — Елхову и Соломатиной:

— Так в двенадцать ноль-ноль будут сообщение передавать, митинг проведем.

— Ну да уж,— лыбясь, отвергнул Елхов.— Только митинга и не хватало. Бабы, они тебе такой митинг закотют, родного батюшку-агронома не вспомянешь. Хрен ли нам тянуть. Под вечер, гли, Хозяин сводку затребовает, айда счас почнем, без агитации... Им, бабам, все одно: постановленье, без постановленья... Я тут сам по себе: хучь маленький, да Сталин... Ложь на стол деньгу — вот и агитация.

— Поменьше языком бухти, председатель,— сказала Соломатина.

— А че? — окрысился Елхов и опять налил.— Неправды, что ль?

— Если так,— сказал я и вытянул из гимнастерки вчетверо сложенный подписной лист.— Если так,— сказал я опять,— тогда товарищ Елхов, районный комитет партии обязывает вас как председателя сельхозартели показать пример труженикам в исполнении своего патриотического долга.

У меня заранее была проставлена в той ведомости цифра против фамилии Елхова — 2500, так велели в райкоме. Я протянул ведомость, он скособочился глазом, приподнялся, выдавил из себя:

— Мы, как и все советские люди...

Умокнул перо в чернильницу-непроливашку, нацелился было, но задержался.

— Антиресно только, товарищ уполномоченный, а ты, к примеру, на скольки там расписался?

Это было предусмотрено: Чурмантаев на совещании сказал, что партийно-советский и так далее актив подписывается по-прошлогоднему — на два месячных оклада, а желающих, сознательные,— на три. Ведомость в приемной, расписаться, когда будем получать удостоверения. Я, конечно, подписался на три, о чем и поведал сейчас.

— Да-да, шибко сзнательный,— протянул Елхов.— А ежели на деньги мерить — это скольки же получится?

Получалось не шибко, платили мне триста восемьдесят пять рублей в месяц.

— Сколько уж получится,— уклонился я.— Давай, Елхов, не тяни...

Он для чего-то подышал на перышко, вздохнул, сказал:

— Едрит твою мать...

Плеснул в стакан, выжрал, повторил выразительнее:

— .... твою мать.

И наконец расписался.

Тогда Стеша, поулыбываясь, протянула руку, вписала новую свою фамилию — Юминова, обозначила в скобках — «Соломатина», чтобы там, в районе, понятно было, и, не спросив ни о чем, поставила сумму: 4000.

— За двоих с мужем,— неумело произнеся насчет мужа, пояснила она, и говорить было нечего, все шло как надо, а Елхов снова матернулся, и Стеша сказала: — Не охальничал бы, если тяпнул с утра.

Елхов взамен ответа крикнул, повернувшись к печному куту:

— Слышь, Емельяновна, скликай людей сюды! Жив-ва! Одна нога здесь, остальная там. Тольки для начала сама давай покажи пример политической сознательности, поскольки ты у нас при конторе, вроде зампредседателя по общим вопросам.

— Уж покажу,— отвечала старуха, она была высока и тоща, лицо казалось вырезанным из сосновой коры, так оно было темно и трещиновато.— На три сотенных размахнусь, так и пиши.

— Ладно,— согласился Елхов, я саданул под столом, он ответно прищемил мою коленку: молчи, мол. И я увидел, как Елхов против фамилии старухи — Чигвинцева — вырисовал: 1200. Я хотел было возмутиться неприкрытым обманом: старуха наверняка неграмотная, подмахнет, не разобравшись, а если и грамотная, то полуслепая,—но Емельяновна, крепко шагнув, неумелыми пальцами взяла подписной листок, далеко отставила, вперилась древними очами, огласила:

— Тыща и две сотенных. Че-то маловато надбавил, председатель, круглил бы на две полных. Тыщи-то.

— Дак вить исправить недолго,— вроде смехом посулил Елхов.— Давай добавком впишу, а вот представитель про тебя статейку в районную газету пропечатает под заглавием «Передовик Емельяновна».

— Безлепый ты человек, балабон, сказать иначе,— необидно откликнулась бабка, взяла ручку, старательно, ровнехонько вывела: Чигвинцева П. Е.— Я так примеряла, что на полторы охмуришь, а ты, оказытся, еще не все человечье-то порастерял, махонька совесть осталась. Ладно, пойду народ заманивать. Хлебанете вы горюшка, начальники, так я вам скажу. С утра пораньше все колготятся, бают: двое против прошлогодняшнего дарить государствию велено.

— Иди, иди, знатная патриотка,— потормошил Елхов.— Да рот не раззявливай допрежь времени. Благородный почин сделала, теперя черед за широкими народными массами.

Мне стало совсем легко: дела катились, как под горку. На предупреждение бабки Емельяновны я никакого внимания, конечно, и не обратил: мелет старушенция по дурости, сама-то вон без разговоров подмахнула, и другие подмахнут, народ у нас и сознательный, и сплоченный, глядишь, через час, от силы два закруглимся, и Елхов на радостях и в облегчении с почетом отправит меня подводой,— у них, слыхать, аж две лошади остались,— и я первым в районе доложу об окончании подписки, товарищ Чурмантаев скажет весьма торжественные слова благодарности, запомнит свое обещание о выдвижении... Я закурил — теперь для пущей важности, втроем покалякали немного — так, ни о чем,— и тут, расшваркнув дверь, влетела в контору бабенка.

Ее иначе назвать никак не подходило, именно бабенка — на диво по военному времени круглобокая и кругломордая, в цветастом платке с кистями

(по такой-то жарыни!), в колокольчиком, городской, юбке, в шелковых чулках на мясных, перетяжками, икрах. Она всем телом и лицом играла, как молодая кобылешка, и каблучки постукивали, точно копытца.

— Руководству — пламенный привет! — выпалила она и протянула руку сперва Елхову, потом мне и, наконец, помедлив, Стеше.— Не опоздала часом? Значит, так, товарищ уважаемый представитель районy, записывайте в красивой тетрадке: «Как я есть сознательная и передовая гражданка и желаю внести свой посильный вклад в разгром озверелого кровопийца фашистского Гитлера, то и подписуюсь на два месячных жалованья — шестьсот девяносто рублей пятьдесят копеек. Труженик советского прилавка беспартейная большевичка Мыльникова Евдокея Федоровна». Складно получается, ага?

И она засмеялась, задробила смехом, будто каблучками своими пристукивала.

Я покосился на Елхова: вносить, что ли, в подписную ведомость? Председатель прихлопнул тертый листок, выставил Мыльниковой крупный грязноватый кукиш.

— Шесть, говоришь, сотен и девять червонцев? Да ишшо полтинник? Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты, гли, какая у нас Евдокия для Советской власти размашистая. И полтинника не жалко.

— Округляй,— быстренько сказала Мыльникова.— Семь.

— Да ну? — изумился Елхов.— Щас на крылечко выду, на всюё деревню базлать стану про сознательну Дуську.

— Тыща,— сказала Евдокия, вытерла рот кончиком платка, она дышала теперь тяжело и жарко.— Тыща, сказано. Пиши.

— А ху-ху не хо-хо? Сколь за неделю наворовываешь, на сэстоль и пишешь, так понимать? А може, на месячную сумму покражи подпишешься? На четыре косых? Писать, что ль?

— Гра-абют! — по-дурному заверещала Дуська.— Люди!

— Так и прибегли,— сказал с прищуром Елхов.— Прям разбежались круг Евдокии оборону держать. Да их силком в контору тянуть... Ну, писать на четыре? Не обедняешь.

— А ты мои деньги считал? — вдруг спокойно сказала Мыльникова.— Считал ты, черт облезлый?

— Я не считал, надо будет — милиция сочтет,— лениво ответил Елхов.— Ладно, сбавим тебе до поры до времени — на прошлогодняшний уровень. Три тыщи безо всяких полтинников. Давай, честная гражданка, ставь свою жуликову подпись. Да чтоб деньги сразу на бочку. И мотай.

— А и ладно,— вдруг согласилась Евдокия и, не отворотясь даже, размахнула кофту, выказав половину грудей, полезла куда-то вглубь, извлекла пачку червонцев.— Могишь не считать, ровнехонько три, знала, как меня об...... станешь. А в газетке про меня, товарищ молодой уполномоченный, пропишите все, интересно мне в районной газетке «Сталинский путь» про Евдокею, про себя то ись...

— Сиськи убери,— сказал Елхов, глядя заинтересованно.— Напишем про тебя, напишем ужо. Только гляди, как бы раз там тебя не пропечатали под заглавием «Из зала суда»...

— Так уж, дожидай,— сказала Евдокия.— Не пальцем делана, председатель. Будьте хорошо здоровеньки, начальство. Заходьте, водочкой угощу задарма и закуску поставлю.

— От-т, б...,— восхищенно сказал Елхов, когда еще и дверь не успела прикрыться наплотно.— В Большом Тимергане торгует,— пояснил мне.— А числится у нас, на избу погляди, какие хоромы воздвигнула, б...ка.

— Не лайся ты,— сказала Стеша.— Распустил слюни.

— Че, не слыхала таких слов, ай? — огрызнулся председатель.— Правды говорю. Вот как нам план прибавят, по заёму-то, с нее еще две тыщи стребую, суки.

— Укороти язык! — велела Соломатина.— Стороннего постыдился бы.

— Баба он, что ль? — сказал Елхов и подмигнул мне.

Я глядел на председателя с уважением: скажи на милость, невзглядный такой мужичонка, и впрямь облезлый какой-то, и грамоты, наверно, четыре класса от силы, а как ловко управляется, мне, похоже, тут и делать нечего. Я бы обязательно про фронт и победу, а он во как заворачивает.

— Арап ты,— сказала Стеша, видно, думала о том же, что и я. А Елхов только хмыкнул.

Дринькнул звонок телефона, прибитого к стенке, председатель уважительно снял трубку, дунул в нее.

— Ага, Вольный... Елхов я. Ага, счас позову... Из райкома требуют,— шепнул он, протягивая трубку, и я услышал голос Сании, секретарши Чурмантаева.

— Здравствуйте, товарищ Барташов,— сказала она, было приятно слышать такое обращение, всегда звала Игорем, а то Игорьком.— Ну, как у вас? Радио слушали?

— Так ведь...— заикнулся было я и пошарил глазами, репродуктора не увидел.

— Нету радива,— тихонько подсказал Елхов, он слышал разговор.— Нету и не требоватся нам, скажи.

— Здесь нет радио,— объяснил я в трубку.— Мы и так...

— Сама знаю, что нет,— обидчиво сказала Сания.— Постановление партии и правительства передано, можете начинать...

— А мы...— Я опять осекся: может, не следовало, ведь подписку мы начали до ее официального объявления.— Понятно, Александра Федоровна.

— Между прочим,— сказала она,— кое-кто уже половину охватил, имейте в виду. Хорошо. В шесть вечера будет перекличка по телефону, готовьтесь доложить товарищу Чурмантаеву о завершении, у вас деревня маленькая, надо управиться, в обком доложим, что вы первые, там не знают, большая, маленькая, важно, что деревня целиком...

— Да мы раньше,— оповестил я радостно.— Мы через...

Елхов наступил на ботинок, сделал страшными снулые свои глаза, я умолк, и, похоже, Сания не расслышала моей похвальбы, повторила:

— В шесть часов быть на месте, вызовем.

— Не хвались, едучи до рати, а хвались, идучи с рати,— непонятно к чему сказал Елхов.— Молодой ты еще, инструктор, не клевал тебя в задницу жареный петух.

В окошко я видел, как тянутся к избе конторы тимерганцы — всё женщины, иные с ребятишками, они цеплялись за подолы, а одна — с грудняком даже, и еще одна, вовсе уж диковинно — брюхатая.

— Чапают, дисциплинку знают у меня,— удоволенно сказал Елхов и прибавил: — Очередно станем вызывать. Как это говорится? Дивидальная агитация.

Закурил, присоветовал:

— Ты с политикой не встревай, никаких тралей-валей.

И приказал вернувшейся Емельяновне:

— Давай запускай. Первую — Лушку Сальникову.

Я думал, Лушка, поскольку названа по имени, окажется разбитной молодайкой вроде продавщицы Евдокии, а вошла пожилая, по моей мерке, так и вовсе уж старуха, низенькая, в черном платке, от нее пахло чем-то сладковатым, чуждым.

— Здравствуй, Игнат Семенович,— сказала она старательно и поклонилась.— Здравствуйте, люди добрые,— сказала мне и Стеше, опять поклон.— Готовая я, сколько скажете.

— Полторы! — рубанул Елхов, и женщина кивнула, и все в минуту завершилось.

— Лихо работаешь, председатель,— одобрила Стеша, я не понял иронии, Елхов пояснил:

— Монашенка она. Бывшая, понятно. А у них как? Дескать, всякая власть — от Бога, значится, что Бог велит, то и власти требуют, то и делай...

— Побирается она, христарадничает,— сказала Стеша,— и работать вовсе не может. Ох, Елхов, Елхов, нету в тебе совести.

— А у меня где совесть, там выросло,— щерясь, объяснил председатель.

Так — еще и еще — проследовали восемь человек, а после случился вот какой разговор.

— На полторы пиши, как и протчих,— потребовала женщина, одноглазая, по-нашему, кривая, она была умученная вся, возле ног держался паца-

ненок, не понять, мальчишка, девчонка ли.— Как и всех,— повторила она, и Елхов сказал тихо:

— Поля, тебе не надо бы. Давай пять сотенных.

— Нет,— упрямилась она.— Полторы тыщи, как все.

— Брось, Поля,— попросил Елхов,— ты брось это, расхорошая...

И — для меня, конечно,— добавил:

— Мужика ты потеряла, и братов двоих, и сеструху, а ребятенков у тебя пятеро по лавкам, мал мала меньше, куда ты подымешь полторы! Скостим под личную мою ответственность.

— Мне поблажек не требовается,— сказала Полина.— Потому и говорю «полторы», ежели Гитлерюга поганый и мужиков, и родную сестру сгубил. Я, как все. Пиши.

— Ну,— согласился Елхов и обозначил пятьсот.— Расписывайся.

— Гляди,— предупредила она.— Влепят, Семеныч, тебе по перво число. Да и на себя охулки не хочу.

— На меня охулка,— сказал Елхов.— Люди — они че, нелюди, что ль? Ты погляди, как остатние бунтоваться начнут. А для разгрома фашистского Гитлера твоя семья и так боле всякой меры положила.

— Мамк,— проверещало дитя, пацан, пацанка ли,— мамк, айда, обедать скоро?

— Скоро,— посулила Полина,— скоро, нажручу вам заварихи горшок, да разом и стрескаете.

— Иди, Полюшка,— сказал Елхов.— Иди, мать.

— Нет, однако, не совсем ты сволочь,— одобрила Стеша, она в дело не ввязывалась, сидела осторонь, да и вообще дирижировал Елхов.

— Вот чего скажу,— заявил он.— И нам обедать впору. Самые заядлые стервы остались, кашу с ними нескоро сладишь. Потому, представитель, выпьем-закусим для разгона и примемся за отсталый элемент. Слышь, молодоженка, ты бы к себе позвала, у тебя осталось, поди?

— А и что,— согласилась Стеша,— осталось, понятно, как вам, мужикам, на похмелку не оставить.

И тут вломился муж, Юминов Гаврила, он был хмелен и разгонист, он протянул Елхову локоть, выставленный углом, Елхов привычно коснулся вместо рукопожатия, то же сделал и я.

— Баб обдираете? — спросил Юминов.— Объ.....те православных, начальнички. Катайте-валяйте, ваше дело такое. И ты, богом данная моя, в том посильное участие принимаешь?

— Выпить бы лучче позвал,— прекратил его речи Елхов.— Сам, небось, похмелился без людей.

— А ты нет? — сказал Юминов и потянул воздух.— Не твое лакаю, моя судьба инвалидская.

— Ступай, Гаврюша,— попросила Стеша.— Иди, нечего тебе тут делать. Мы сейчас к нам обедать придем. Ступай пока, пускай мама стол приготовит.

— Не-а, подивиться хочу, как простые советские бабоньки патриотический долг выполняют,— сказал Юминов и грохнулся на лавку.— Вызывай следующую, председатель, я речугу толкну про боевые подвиги и про советский патриотизьм.

— Осмыслись,— уговаривал Елхов.— Осмыслись ты, Гаврик.

— Я те не гаврик,— отвечал тот.— Когда укромсали, тогда я и осмыслился. Давай, показывай свою постановку.

— Пьяный ты и есть пьяный,— завистливо сказал Елхов, будто сам не принял с утра полбутылки,— чего с тебя взять?

— Да уж много не возьмешь, точно,— подтвердил Юминов.— И так с меня взяли, во,— и показал култышки.— Айда, председатель, и ты, инструктор, приглашаю на стакашку с прицепом.

— Нельзя нам счас,— неведомо с чего передумал Елхов.— Вечерком, Гаврюша, заглянем. А покуда поснедаем у меня, тихо-мирно, как в детских яслях, молочком запьем.

На крыльце председатель объявил:

— Дорогие бабоньки, а также девоньки, обеденный перерыв. Прошу припожаловать через один час ноль минут по московскому времени отдать свои голоса кандидатам сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Наверно, хлебнул-таки из остатка в бутылке, перепутал события.

А мне втолковал: у Гаврилы пить пока нельзя, по деревне мигом раскалякают, в райком донести не поленятся, от греха подале — до вечера.

После обеда пророчества Елхова как будто не сбывались — первая из вызванных женщин сама взялась за ручку, начертала: 1500. Елхов кивнул, отпустил с миром, глянул в окошко и предсказал:

— Держись, будет комедь, Сонька надвигается.

Теперь мы сидели вдвоем: Стеша осталась дома, прибраться и приготовить к вечеру.

— Комедь будет,— повторил Елхов.— Она такое учудит, инструктор, что и не вздумаешь заране, чего вотчебучит.

Сонька оказалась востроносенькая, вострoглазенькая, тонконогая, обута в линялые, без галошного блеска, резиновые ботики на босу, видать, ногу, а на груди, впалой и дряблой, болталась — с засаленной ленточкой — медаль ВСХВ *.

— Валяй: мильён,— затарахтела она с ходу, не здороваясь, поскольку, вероятно, мы уже виделись давеча на крылечке.— Пиши, комсомольский бог: мильён рублей от колхозницы Соньки, по фамилии Реутова. Потому как меня серебряным двугривенным на зеленой ленточке удостоили, так мне за этую почесть и мильёна вот нисколечки не жалко.

— Садись ты, Сонька,— велел Елхов,— и не гоношись, говори ладком: на полторы ты сразу согласная, али уговаривать надо?

— Не согласная на полторы,— быстренько прострекотала она.— Мильён — сказано, и ни копья меньше. Коровушку продам, избенышку продам, бывши лаковы сапожки вот, курицу не пожалею и горшок битый, ребятишек продам в рабство африканское, а мильён государству пожертвую...

— Не бухти,— сказал Елхов, поднимая голос.— Не бухти, дурища, кому говорено! Подписуйся! Полторы!

Он проставил в ведомости.

— Ну?

— А не запрёг, так и не понукай,— отрезала Сонька и распрямилась.— Виш, нукат, нукат, тоже мне, командир засранный. Не хошь на мильён писать? Самому товарищу Сталину, тилеграму отобью, на все Сесесер тебя ославлю, как ты супротив почину знатной колхозницы прешь, вражина.

— Знаешь че,— сказал Елхов.— Поди, морду в колоду укуни, поостынь, тогда объявишься. И помни: полторы тыщи, рублем не отступлю, хоть обоссысь.

— А тута и мы поглядим, чия возьмет,— сказала Сонька.— Мое слово — последнее: али мильён, али хрен тебе в нос твой сопливый, понял?

— ....,— высказался Елхов вослед.

И тотчас перед нами появилась очередная патриотка.

Она молча вдавила в стол три истрепанных червонца и сказала без наших вопросов:

— Сама-то за палочки работаю, представитель, как и остальные прочие, а это — солдатское мужнино жалованье за два, слышь, месяца. От него получено, ему и отдаю для пользы войны.

— Лена,— сказал Елхов,— ты ради чего шебаршишь, знаешь ить, на полторы положено.

— И то,— согласилась она,— дак иде ж их взять, Игнат Семенович? Скажи, я возьму.

— Надо, Лена,— попросил тот.— У всех одна беда.

— Ты меня, Елхов, не уговаривай,— сказала она.— Помнишь, в тридцатые-то годы сама избачом была, сама такие дела проводила. А дать мне больше нечего — вот и весь тебе сказ. В тюрьму посодишь? Сажай, там пайку дают.

— Ладно,— сказал Елхов.— Значит, я за тебя добавлю. От ребяток своих оторву, а за тебя добавлю.

— Не добавишь, а коли впрямь надумал бы — мне милостыня не в надобность! — отрезала Лена.— Я сколько могу, столько и вношу государству от полной души, от пустого кошелька.

* Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, ныне ВДНХ.

— Дак вить все одно уломаем,— честно посулил Елхов.— Ночи спать не будем, завтра цельный день с отказчицами долдонить станем, а всех на полную норму оформим, сама понимаешь.

— Попробуй, товарищ Елхов,— сказала Лена.— Поглядим. А покуда — бери, наличными, вишь, вношу, добровольно.

— Свободна пока,— разрешил Елхов.— К твоему вопросу мы еще вернемся. Свободная ты, Лена. Там, гляди, Никитишна рвется, аж пыль из-под копыт.

— Не баба, а конь с яйцами,— вразумил меня Елхов про Никитишну.— Не тушуйся, парень, она такое примется выкаблучивать, мне и то зазорно. Ты не смейся только да не покрасней, не то сразу поймет, сучонка, что ее взяла.

Определил я Никитишне лет этак тридцать пять и удивился, почему величают по батюшке, это привилегия пожилых. Никитишна выглядела хоть куда, вроде Евдокии-продавщицы: полномясая, розоволикая, нос как бы прятался между щек, и глазешки еле проглядывали.

— Цветешь, как майская роза,— определил Елхов почти одобрительно.— По скольки с ваикуированных на базаре за яички-то лупишь? Глянь, морду-то нахряпала. Тебе сейчас мужика бы хорошего, не так бы ишшо расцвела.

— Это уж да,— согласилась Никитишна и уселась, не обдернув подол.— Тольки где ж его взять, не тебя же, сморчка, тебя и на свою бабу, поди, не хватат.

— Ты это брось! — Елхов обиделся.— С тобой и пошутить нельзя, в некультурность кидаешься. Давай ближе к делу. На сколь положено, знашь?

— Говорили бабы, как не знать! — откликнулась Никитишна.— На полторы тысчонки. А че, бери, коли надо.

— Молодчага,— сказал Елхов, заметно удивляясь и подмаргивая мне, потянулся к чернильнице.— Молодчага ты, Никитишна,— повторил он, вольня, видно, для всякого случая.— А я-то, грешным делом, про тебя неладно подумал и представителю, вишь, сказал, а ты, глянь, у нас передовик. Так писать, ага?

— А че ж? — сказала Никитишна мирно.— Че ж, пиши, писатель, ты грамотный. Пиши.

И она встала и неторопливо, будто собиралась в одиночестве на покой, взялась за подол и задрала юбку кверху, сказала спокойненько:

— Стриги, дорогой председатель, и сдавай государству в счет первого взносу. Не боись, к зиме опять вырастут, новый взнос исделаю.

Я отвел глаза, меня осекло воспоминаньем о сегодняшней ночи, об утре, а Елхов не дрогнул, он сказал:

— Эт-то я, душенька, в прошлом годе у тебя видал, нисколечки не переменилась твоя........ Кончай базар, иди к столу да расписывайся.

— Ха, вот-те на! Даю натурой — бери, не хошь — тебе, дураку, плешь переедят а вот этому, молодому-красивому. Поглядел? Не нравится? Тогда у своей лахундры гляди задарма.

— Ты мою жену трогать не смей! Катись отсюда! — заорал негаданно Елхов, мне показалось, не так уж он взбесился, напустил на себя скорее, и похоже, я угадал, потому что, когда остались вдвоем, Елхов заржал: — А ничего-го бабец!

Он вздохнул.

— Помурыжит она, Барташов, нас, завтра полдня будем ее кино глядеть, помяни мое слово. Че ж, поглядим. Ну, яра́р. Тут еще одна с пузом осталась да Улька твоя напоследок.

Слово т в о я Елхов не выделил, но я услышал явственно и теперь уж наверняка покраснел, хотелось уйти под любым предлогом, хотя бы до ветру, но дезертировать не годилось, пускай моя роль, как выяснилось, была тут совсем не из главных.

Ту, что с пузом, Елхов даже по имени-фамилии называть не стал, а ткнул пальцем в табуретку, чиркнул пером в усталой ведомости, распорядился:

— Ставь роспись.

— Не буду,— сразу откликнулась она.— На полторы и думать не моги,

и, не понужай. Не видишь, что ли, тяжелая, через месяц опростаюсь, чем я дитенка прокормлю, твоими, что ли, облигациями?

— А где нагуляла? — вызверился Елхов.— Мужа нет, а брюха надутая?

— Твоя какая забота? — сказала женщина.— Не тебе приданое ладить да алименты платить.

— А такая моя забота,— вразумил Елхов,— что я есть председатель артели, отвечаю за твой полный аморальный облик. Не подпишешь — жениху твоему сообщу, какая ты обрисовалась курва.

— И то,— согласилась она.— Сообчи. И печать шлепни, скорей поверит, я ему писала, дак он все отнекивается, ври больше, он говорит.

— Точка! — Елхов шарахнул кулаком.— Некогды нам тут с вами, сучками, размудыхиваться, скоро сам товарищ Чурмантаев отчет стребовает. Пиши, сказано, и телись, сколь влезет, черт с тобой, хучь трех роди, мне дак насрать.

— Ори, орило, раз такой зевластый,— ответила она и двинулась к двери.

Елхов позвал:

— Верк, послушай добром. Он еще, гляди, мертвый у тебя вылезет, че ж заране тревожиться про кормежку? Счас кто запузател, многи мертвяков рожают, потому питания не та...

— Да ты ополоумел! — не помня себя, крикнул я Елхову, я впервые поднял голос, и председатель, изумившись, бормотнул невнятное, я позвал:— Вера, погодите, пожалуйста. Сколько можете, столько и согласитесь...

Опять мы остались с глазу на глаз, Елхов, покривясь, облупал меня линялыми глазами, пригрозил:

— Учти, Барташов, о том райкому станет известно, как ты отсталому элементу потачку даешь... У нас народ такой...

Это почти совпадало со словами Чурмантаева, и я скукожился и смолк, дал зарок молчать — пускай и дальше распоряжается, расправляется Елхов, ему козыри в руки, ему отвечать, ведь мы проводим важнейшую политическую кампанию в помощь и фронту, и обороне страны и здесь не место жалости, обывательскому слюнтяйству, всяким сентиментальным настроениям...

И тогда вплыла н о ч н а я Улька, она выступала павой, она почудилась мне красивей, чем утром, или я спьяну не разглядел ее как следует, она поздоровалась с Елховым и со мной тоже как ни в чем не бывало, и я, подурацки заискивая, ответил:

— Здравствуйте.

Улька ощерилась еле заметно, скромненько притулилась на лавке, возле простенка,— и опять вел душеспасительную беседу Елхов, а я помалкивал, в данном случае имея к тому основания.

— На две тыщи тянешь, Ульяна,— прикинул Елхов, обозрев ее, будто самое оценивал.— Постоялая изба, продукты для уполномоченных какие ни на есть, а выписываю со склада, и тут сама кормишься, и деньгу они тебя плотят, и все такое прочее. Две тыщи с тебя.

— Ну-к, что ж,— согласилась Улька, и заключалось в ее поспешности что-то неладное, и председатель загодя осатанел:

— Будешь, как та... Никитишна, свою... показывать?

— Пошто? — лениво опровергла Ульяна.— Ты частенько видал, он нонче тожеть испробовал. Давай, бери с меня же магарыч за мою обслугу, Елхов.

— Сильна́! — Елхов озадачился, почесал затылок, поглядел на меня, а Улька сама потянулась к мятому листку, сотворила этакий с загогулиной росчерк, проткнула меня взором, объявила внятно:

— Говнюк ты.

«Как смеешь!» — хотелось мне завопить, но я удержался, за меня откликнулся Елхов:

— Язык у тебя, Улька, что коровье ботало. Дура ты, вот я как тебе объясняю.

— Може, дура, може, нет! — Улька засмеялась.— Подумаешь, общелкали, да плевала я на ваши две тыщи, у меня их на книжке, считай, сто лежит.

— А вот мы и проверим,— оправившись, пригрозил Елхов.

— Так и разбежался,— ответила Улька.— Тайна вкладов охраняется го-

сударством. Прощевайте, начальники. А спать его,— она показала на меня,— ты к своей бабе сёдни клади. Как вы сообча трудились на благо.

— Не тушуйся,— успокоил меня Елхов после.— По деревне трепать языком не станет.

Я не знал, куда мне деваться, никогда еще не испытывал такого липкого стыда, но что делать — только напускать удаль: дескать, нам не впервой... Так я и сыграл перед Елховым.

— Будем подбивать бабки,— оповестил председатель.— Остался ишшо Максим-хрен-Сергеич, наш уважаемый наркомфин, счетовод то исть. Этого я нарошно домой отпустил с утра, чтобы обедню не портил. Толковать с ним проку нет: скажет — пятьсот и не отступится, хоть кол на башке, хоть убей. Его не припугнешь, помощником прокурора был, за взятки выперли, законы — все наперечет и досконально, говорить с ним — что против ветра струю пускать. Дьявол с ним, процентов двести тридцать к плану мы с тобой наколотим, на среднем уровне, в стахановцы не вылезти, деревня лесная, базар далеко. Будем считать, остались не охвачены трое: Сонька Реутова, Елена да Никитишна. Завтра их с утра примемся уделывать сурьезно, а пока на севодни — точка. Гляди, скоро шесть, на перекличку будут выволакивать. Рапортуй: одна баба осталась неохваченной.

— Врать не стану,— сказал я.— С какой радости? Завтра завершим и доложим честно.

— Гляди, с тебя спрос,— сказал, усмехаясь, Елхов.— Я-то вить так, доброволец-помощник. Тольки не вломил бы тебе хозяин, другие-то врать ох как станут.

— А чего ж тут врать? — Я удивился.— Из восемнадцати хозяйств четыре не охвачено, да и то, сам говоришь, счетовода можно считать подписанным, значит, всего трое, одна шестая часть.

— Так-то оно так,— промямлил Елхов.— Тебе виднее, инструктор, понужать не могу. Айда, на крылечке подымим, воздухом подышим божьим.

С крыльца мы тотчас убрались — там еще палило,— и сели на трухлявое бревно у ворот, в тенечке. Пыльная улица глядела пусто, и пусто, голодно зияли окна, и редкие дымки над трубами не пахли настоящей едой.

— Бедует народ,— высказывался Елхов.— Сам посуди: в сороковом и то за палочки работали, хреновая у нас почва, нам бы не хлебопашеством заняться, а промыслом каким ни на есть, да мужики-то и до войны еще разбеглись кто куда, кто помоложе да пошустрей, а прочих война умела́ всех. Да промыслом и не велят нам промышлять, хучь по камню, да сей... Жалко мне их, баб, троих тольки не жалею: продавщицу ту блядешку, да Никитишну, да вот Ульяну твою — подстилка для кажного, всё вкусу да выгоды ищет... Ну, с Дуськой и Улькой управились... К Никитишне — мильтона завтра натравлю, будто имущество описывать, она еще раз ему свою кино покажет, а опосля дрогнет... Ленка, она грамотная, ее не обдуришь, я другим шугану: дров, мол, из лесу не дам и, лошедь не дам, угород пахать, и с животноводства сыму, на поле кину, там и молочка не прихлебнешь, и на себе таскать борону станешь. Неохота мне Ленку стращать, да что поделаешь, Барташов... Вот с Сонькой, с Реутихой — беды́, ребятишек у ней, слыхал, пять штук, да мужик погибнул, и уж она сама такая баба трудящая, прям тебе обскажу, однако и ее надобно прижать, чтоб прочим неповадно. Я про медаль ей шарахну. Она хоть ту медальку двухгривенным обзыват, а уж сама такая ей радая, такая радая, спасу нет. Прошлогод ей, ковды заём отрабатывали, посулил: отымем, дескать, медаль, аж самому Михал Иванычу товарищу Калинину отпишем прошение. Она, знаешь, как трухнула. И нынче согнется, я этот козырь напослед приберег. А жалко Соньку мне, честно тебе сказываю, парень...

Из оставленного нараспах окошка услышалось, как взыграл телефон. Елхов спешно поднялся, и я вскочил.

Древний аппарат, называемый «эриксон»,— у отца был в кабинете такой,— из когда-то полированного, а теперь похожего на пенек дерева, нервно подрыгивал на стенке, я, опередив Елхова,— м е н я ведь вызывают на перекличку,— сорвал трубку и принялся улавливать далекие голоса, перебитые шорохами, треском, писком.

Раздался голос Чурмантаева.

— Все у аппаратов? Перекличку начинаем. Вызываю по алфа́виту населенных пунктов. Указания райкома — в конце. Алга́, докладывай о результатах. Подготовиться — Байля́ры.

Я немного, если по-нашенски выразиться, оту́добел: до меня далеко, Тимерган почти в конце списка, послушаю, что и как другие докладывают, сориентируюсь.

Алга́ докладывала чьим-то знакомым баском: сто процентов охвата, сумма — двести семьдесят процентов к плану.

— Якши,— похвалил Чурмантаев.— Мог и триста натянуть. Ну, якши. Давай Байляры.

— Двести семьдесят два процента. Полностью завершено,— сообщили Байляры, кажется, докладывала Нюра Тихановская, зав. общим отделом РИКа.

— Хорош,— сказал Чурмантаев. И вдруг перескочил с алфавита ни с того, ни с сего: — Комсомол послушаем. Горбунов, ты где? Докладывай, парень.

— В Кичнарате, товарищ Чурмантаев,— отрапортовал Кеша.— Порядок. Сделали.

— Что значит сделали? — рассердился Первый и выругался по-татарски.— Кункретно, бит, давай.

— Триста двадцать восемь процентов,— торжествующе высказался Горбунов.— Сильно бились, но добились, Наиль Курбангалиевич.

Он вовсе ошалел от радости, забыл даже, что х о з я е в полагалось звать только по фамилии, так завел товарищ Сталин. Однако довольный Чурмантаев замечания не сделал.

— Молодец, Горбунов, хорошо, бит, парень, работаешь,—похвалил Чурмантаев.— Теперь твоего инструктора послушаем. Докладывай, Барташов. Вольный Тимерган, да?

У меня перехватило горло, я впервые был на телефонной перекличке, я медлил, Елхов подсунул бумажку, на ней скоренько выведено «100 пр. 240 план», я отодвинул писульку и сказал, окунаясь в неизбежность:

— Товарищ первый секретарь, пока план идет на сто восемьдесят, из восемнадцати хозяйств не охвачено четыре...

Кто-то явственно хохотнул на телефонной линии, и грозовыми разрядами потрескивала трубка, и голос Чурмантаева показался мне гласом с небеси, это я сейчас определяю столь выспренне, а тогда я струсил и молчал.

— Аннан сыгаим! — выругался Чурмантаев, и женщины у аппаратов не воспротивились и не захихикали.— Пацан! — загремел Хозяин на весь район.— Пацан! Пуслали на свой шею. Елхова на провод!

— Елхов слушает! — отрапортовал м о й председатель, и Первый громыхнул:

— Райкум не спит сегодня, обкум не спит сегодня, туварищ Сталин, наверно, не спит, и вам не дрыхнуть, едри вашу в качель, чтуб утром всю расхлебать, пунятно? Район тормозите, область тормозите, вся страна подводите. С председателей летать хутел, Елхов? На фрунт захутел? Мы, бит, это тебе устроим, военком, слышишь?

— Слушаюсь, товарищ Чурмантаев,— лепетал Елхов.— Не поспим, конечно. Сделаем, конечно, товарищ первый секретарь...

— А этому пацану...— начал Чурмантаев, но удержался все-таки.— А инструктору райкомола ты, Елхов, помоги, ты человек зрелый, пускай и беспартийный большевик. А не сделаешь — бронь снимем, воевать пойдешь, Елхов. Понял, парень?

— Так точно, товарищ Чурмантаев,— говорил Елхов, зеленея.— Так точно...

— Валеево, докладывай,— перебил Хозяин.— Ага, слышу, двести шестьдесят. Кончай к утру. Следующий кто?

— Тебе хорошо,— сказал Елхов, когда перекличка наконец завершилась.— Молодой, неженатый, пойдешь, повоюешь, может, и возвернешься. А мне бронь как председателю, и жена хворая, и пацаны полон двор. А ты и меня подвел, едрена корень.

Я смолчал. Я не жалел ни Елхова, ни его больную жену, ни тех бабе-

нок, что у нас остались неохваченными, я думал только: ну как завтра покажусь в городе, ведь все районные работники, все председатели, совхозные директора, секретари партийных и комсомольских организаций слышали, как меня обозвал пацаном сам Первый, и как мне дальше жить и работать... А я-то, дурак, еще думал о повышении после того разговора с Хозяином...

Тусклела усеченная луна, Елхов смяк малость, успокоил — меня и, наверное, себя:

— Не вяньгай. Завтра выколотим. Придавлю, аж из-под ногтей брызнет. Айда пока к Стешке, дернем у нее и ко мне, спать, а как солнышко подымется, обладим.

— К утру велено доложить,— напомнил я.

— Ай, верно! — спохватился Елхов.— Ты посиди тут, я в Большой звякну, мильтона стребую на подмогу, Никитишну пужать. Мы им покажем, сучонкам, как свободу любить.

Пока он в конторе трезвонил, довольно времени прошло, и на бревешке не сиделось что-то, я побрел сонной, голодной деревней и вскоре увидел: у своей калитки, тоже на бревешке, сидит Стеша, облитая лунным подзаревом.

— Перекурить вышла? — глупо спросил я, остановился и мигом углядел опухлое, страшное лицо.

— Перекурить,— сказала она.— Да. Перекурить. Барташов, ты послушай только. Вот не могу я, третью ночь не могу. Как он меня своими обрубками тронет — не могу, и только. Сволочь я последняя, Барташов, ты понял? Я ведь его люблю. Вот. А — не могу. А дитенка бы мне, дитенка...

Выла на соседнем дворе собака; мерзко кривилась щербатая луна, я не умел сказать Соломатиной ничего, я постоял немного и выдавил:

— Можно, я пойду?

— Иди выколачивай,— отозвалась учительница Стеша на мой школярский вопрос, и опухлое лицо ее сделалось большим и круглым.

Я вернулся в освещенную коптилкой контору, Елхов оповестил:

— Мильтон сейчас прибудет, верхи. Займемся...

Занялись — и к рассвету закончили. Напоследок мы с Елховым и милиционером Санькой, демобилизованным по ранению, выпили опять свекольного самогона, и я отправился восвояси — не пешедралом, а на председательской одноколке, пружинно выстеленной свежей травой. Рядом тулилась назначенная в кучера Сонька, медаль ее поблескивала в первых лучах, и Сонька чему-то посмеивалась, она легкая была, отходчивая.

Мы тарахтели вдоль еще сонных домов, и только у самой околицы выскочила моя — моя! — Улька и нам вослед завопила истошно и весело:

— Говнюк ты!

А с упряжной дуги, вырезанный из газеты, прилепленный и спереди, и сзади, равнодушно и величаво смотрел на меня, на Соньку, на деревню Вольный Тимерган и на всю землю — товарищ Сталин в полувоенной форме.

1968 г.

Юнна МОРИЦ

Скульптура ока

Водяное

...стены плачут,
вниз текут,
путь мой начат,
сырой закут,
окна — в лед,
за льдом — льет,
идут боты
с ночной работы,
штаны из ваты,
сапожник Фима
пришит к дощечке,
и едет мимо
его дощечка,
облита кожей, —
ее за лямку
везет пригожий
горбун Трофимов
с очами лани, —
исполни, Боже,
мое желанье:
пускай меня
украдут цыганки!..
Расту в подвале,
как лук в банке.

1975

* * *

Все чаще, к сожаленью,
грядущему явленью
могу я предсказать
не только номер года,
но день и час прихода...
От близи отвязать
глаза — и астронавтом
гляди, чего там завтра
проглотит жадный вал,
кого он перемесит,
портреты чьи развесит,
кого помчит на бал
он в тыкве на колесах,
кому вручит он посох
пустынника, слепца,
глядящего без дрожи,
как здесь одно и то же
творится без конца.

1990

Молитва

В эти страшные, черные дни,
в дни разбоя, насилья, резни,
Матерь Божья, армян сохрани
И Армению.

В эти дни кровожадных побед,
о, великий Пророк Магомет,
ниспошли милосердия свет,

примиряющий Азербайджан
и Армению.

В эти страшные, черные дни,
христианский Господь, сохрани,
мусульманский Господь, сохрани
от разбоя, насилья, резни
богоравные Азербайджан и Армению.

Богоравные
Азербайджан и Армению,
мусульманский Господь, сохрани,
христианский Господь, сохрани.

1988

Документальное кино

Трибуны, трибуналы, требуха
трубящих гибель. Помпа кинохроник.
Орущих масс огромная уха,
где водевильно скачет славный конник,
рукой в перчатке взяв под козырек
и маршу в такт подыгрывая задом:
концертный, уморительный зверек,
паяц вождей, заведующих адом,
где труповозы чистят рай земной
от нечисти, рожденной матерями,
и Беломор кровавою волной
наполнен, как Россия лагерями.
От этой мощи — глаз не оторвать,
захватывает дух!.. И соглядатай
премного счастлив, что, ложась в кровать,
он сыт по горло злобой дня проклятой.

1990

АНГЕЛ С БЕЛЫМ КРЫЛОМ И С КРЫЛОМ ПОМРАЧЕННЫМ

Вечер осенний, о Господи, сколько тоски натекло,
за калитку не выйти,
земля налилась и хлюпает, хлюпает,
яблоки плавают в луже,
а яблони бьет колотун, — уж топится печь, да согреться не можем,
так сыро, так зябко...

Ангел с белым крылом и с крылом помраченным играет на лютне,
обидой соленые губы дрожат и воспаленные веки соленые,
однако — смиренье и кротость,
поникшей главы сияет стожок золотистый.

Коптит на кленовом столе керосинная лампа.
Две чашки, два пряника, хлеб бородинский, «Ахейская Греция»,
банка китайской тушенки, Четьи Минеи, будильник, Гораций:
«Был бы лишь книг хороший запас да в житнице хлеба на год, —
не жить на авось, не висеть меж надеждой и страхом».

Да как же, любезный Гораций, нам не висеть
меж надеждой и страхом?..
А волны свободно плавающей тревоги?
А переживанья стихийного тела?
А способность любить прекрасное
самым постыдным образом?..

— Прости, — говорит мой ангел, щекой прислоняясь к лютне, —
у меня отвращенье к жизни. Не ко всей. Лишь к моей единственной.
Упасая тебя от скорби, я так долго терпел эту пытку,
что воля моя истлела... Пусть мои прекратятся чувства.
Знаешь, я так устроен, что все мои чувства —
поток непрерывный видений, созвучий, картин,
раскаленно вонзаемых в мозг — наподобие терний.
Сделай меня инаким, не то я кончусь... —

Руки мои струятся, — и ангел спит, вздрагивая, как в лоне.
Веки мои струятся, губы мои струятся. Я ему навеваю:
— Мой ангел, прекрасный ликом, Богом хранимый ангел,
да отвратятся страхи, мраки твои, тревоги,
да отпадут терзанья, порча и преткновенья,
да отворятся светы, да утолятся жажды
всякого жизнеспособия, всякого жизнедействия,
да восприимешь сияние Божьего благолепия,
всеобъятного милосердия. Да пребудут с тобою
Вера, Надежда, Любовь и София, сама себя создающая
и все — из себя самой.

Ложусь на дощатый пол, распластываюсь, удлиняюсь до
бесконечности,
до — сквозь рощу ночную, где плещутся ветер и дождь.
О, иудейско-славянское таинство, наподобие терний,
пригвождающих нас к провороту видений, картин и созвучий
обыденной жизни, где, вечно смешон и унижен,
висишь меж надеждой и страхом.

1989

* * *

Когда сказал он это в первый раз,
меня от смерти ангел еле спас.
Когда сказал он это во второй —
ребенок спас, голодный и сырой.
А в третий раз когда сказал он это, —
меня спасла в потемках сигарета,
летучий дым, целованный в ночи,
где, прикурив однажды от свечи,
плывущей на ветру в ладье ладоней,
взрастишь дитя и станешь посторонней,
мешая пух и перья примерять.
Зато, когда и от него впервые
услышишь это, — дни как таковые
уж сочтены, не страшно умирать.

1990

* * *

В корыстной дружбе — много скверны,
но кто, однако, в черный час
не жил ее подмогой верной,
себя от худшего не спас?..

Все на земле неоднозначно:
и бескорыстье, и корысть.
И божьим детям — плачь не плачь, но
пришлось науку эту грызть.

1985

Разъятый плод

Внутри абрикоса, под косточкой — мякоть глазная, заглазная,
розово теплится ткань на просвет — вынутость, выемка,
две-три нитки живые оборваны, ими прежде пришитое разное —
шероховато, неразгрызаемо, на нем костяная дымка,
оно — по волнам приплывшее, самофракийское, издалекое,
или родосское, или — еще оттуда откуда-то...
если косточку в эту внутренность — происходит скульптура ока,
мрамор Фидия, вора золота, древнегрека по части блуда,
без которого бледен облик обладающего единственной
жизнью плоти, жадно подглядывающей за выкрутасами грешников,
за — что из чего растет в этой гуще мясной и лиственной,
за обменом веществ Орфея в тени олив и орешников,
где уже напились вакханки и похотью рыщут, празднуя,
кого бы разъять на такие куски, чтоб — вынутость, выемка,
две-три нитки живые оборваны, и чтоб ими пришитое разное
брызнуло в мякоть глазную, где Гомера заглазная дымка
всасывает мелкое, жалкое, оскольчатое, скользкое, бросовое,
жилками сновидений сращивая в бреду, разъятом на брызги,
где так чудовищно, чудно все преломляется, и косточка абрикосовая
работает органом зренья в упавшем на стол огрызке.

1979

* * *

Меня ненавидит мой нежный
и смерти желает моей.
Над городом сумрак безбрежный
и жар новогодних огней.

Я скатерть ищу, погибая
от мыслей, рыдающих плоть.
Над елкой звезда голубая —
мой светоч последний, Господь.

Любви нескончаема пытка,
и спрашивать мне ли: за что?..
Стеклянное горло напитка
торчит из кармана пальто.

Сейчас я напьюсь одиноко
и пьяную песню спою,
причалив плавучее око
к судьбе, где над бездной стою.

1989

* * *

Мне недоступна сладость униженья,
пленительная, ласковая грязь.
Совсем другой игрой воображенья
я одержима, благорастворясь, —
когда ничто не требует усилий
и стебель мой струится сквозь волну,
где озеро таких же белых лилий
в зашептанную дышит глубину.

1984

* * *

Природа кончилась. Обои
нам заменяют кругозор,
но с ними тоже перебои, —
какой-то мусорный узор,
листвы лохмотья, небо серо
от нашей копоти, ручьи
с корабликами пионера
до дыр повытерлись, грачи
исписаны тщетой бездонной —
густой цифирью телефонной,
столбцами скук, имен и дат.
Пора бы со стены картонной
содрать подгнивший листопад.
И это, в общем, нам по силам.
Природа кончилась. Но мы
с обоев, моющихся мылом,
подышим свежестью зимы.

1989

* * *

Не готовься к плохим временам,
потому что они наступают
раньше всех для того, кто готов.
К черным дням никогда не готовься,
потому что они наступают
раньше всех для того, кто готов.
Прочь, проклятая дрожь, замиранье,
камень, в горле застрявший тоскливо,
обруч ужаса, вдавленный в череп. —
я расплавлю вас пламенем звездным,
раздавлю золотой колесницей
восходящего звонкого солнца.
Непреложно сбываются с нами
все кошмары ночные, все бреды,
все ужасные вещи, в которых
дикий страх человеческой массы
копошится, копается тайно,
как разбойник в могиле чумной.
Спите, ужасы, спите, кошмары,
сладко спите, как звери в берлогах,
сладко спите, как спят шелкопряды,
сладко спите, как мак в погремушках,
сладко спите, как хмель в ячмене,
сладко спите, как бабочки в щелках,
сладко спите, как птицы в скорлупках,
сладко спите, как спит кислород
в родниковой воде и речной.
Потому что, однажды проснувшись,
никогда вы не будете сыты,
все сожрете, сожрете друг друга
и впадете от голода в сон.
Спите сладко под заговор этот,
спите вечно под заговор этот,
спите, страхи, под заговор этот,
спите, ужасы, спите, кошмары...
Просыпайтесь, отвага и честь!

1980

* * *

...только любовь и вода —
слаще труда.
Любовь — когда молода.
Вода — когда сахар в крови.
Труд — когда молодая вода
льется на мельницу горькой любви.
А все остальное и прочее — кисло,
набило оскомину здравого смысла...

1985

Александр ЗИНОВЬЕВ

Зияющие высоты

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

СИЯЮЩАЯ ВЫСОТА СЛОВЕСНОСТИ

О сатирико-дифирамбическом, трагико-комическом, эпико-лирическом и художественно-научном повествовании «Зияющие высоты» и о его авторе Александре Александровиче ЗИНОВЬЕВЕ.

Все, что связано с этой книгой, невероятно—и сама она, и то, кем и когда она была написана, и как, в каких условиях писалась, и где впервые была напечатана, и какое впечатление она произвела на родине и за рубежом, и какими последствиями обернулась ее первая публикация для автора. Я употребляю слово «невероятно» не как вялый эвфемизм салонного «превосходно», а в его буквальном значении, ибо вероятность появления такой книги, такого автора была действительно близка к нулю. Книга возникла наперекор всем социальным, житейским, даже возрастным противодействиям и ограничениям, всем детерминациям и вероятностям, ибо вероятность есть также форма закономерности. Она явилась утверждением свободы не как осознанной необходимости, но как осознанного преодоления необходимости, по крайней мере социальной, в творчестве и в жизненной практике.

Невероятным было уже то, что «Зияющие высоты» явились литературным дебютом пятидесятичетырехлетнего автора, что он не был ни профессиональным писателем, ни человеком литературной среды. Казалось, жизненный путь Александра Зиновьева определился счастливо. И дело не в том, что он давно уже был доктором философских наук и профессором, заведовал сектором в Институте философии АН СССР и кафедрой на философском факультете МГУ, был членом редакционной коллегии журнала «Вопросы философии»,— его судьбу я называю счастливой, потому что он занимался тем, чем хотел, что философия была для него не средством заработка и социального престижа, а призванием, и в ней он достиг замечательных успехов на зависть осыпанных наградами и почестями маститых философских прислужников идеологии. Зиновьев разработал самостоятельную систему многозначной логики, создал свою научную школу. Западные специалисты зачислили его в десятку крупнейших логиков мира. К нему тянулось все живое, что было в нашей философии. Из брошенных им мимоходом идей — в разговорах, на конференциях — изустные плагиаторы «делали» оригинальные статьи. Отдельные главы кандидатской диссертации А. Зиновьева его ученики — из наиболее одаренных — развернули в книги.

Что же заставило А. Зиновьева столь круто повернуть свою судьбу?

Ответ на этот вопрос содержится в «Зияющих высотах» и почти в тридцати на сегодняшний день других его книгах (так что его поздний литературный «дебют» не стал, как многие ожидали, его «эндшпилем»). Я же, близко знающий Александра Зиновьева более сорока лет, остановлюсь лишь на некоторых фактах его биографии и отмечу некоторые черты «З. В.», что, может быть, окажется небесполезным для постижения «феномена Зиновьева». А то, что он почти чудесный человеческий феномен, я понял в первые же дни нашего знакомства на философском факультете в 1947 году. Еще в сельской школе Саша поразил своего учителя неуемной любознательностью и одинаковым пристрастием к литературе и математике. Напутствуемый этим добрым человеком, поверившим, что его воспитанник — новый Ломоносов, Саша поехал учиться в Москву и здесь, среди столичных ребят, быстро выделился не только медалями на математических олимпиадах и талантливым подражанием Чехову (первый рассказ «Ванька»), но и таким пониманием социальной действительности, какая оказалась недоступной многим даже умудренным опытом взрослым.

Ребенком переживший коллективизацию в родной деревне под Чухломой и позднее, приезжая каждое лето в колхоз помогать матери, в Москве живший в сыром подвале «в холоде, голоде и наготе», Александр видел чудовищный разрыв между идеалами и действительностью. Разрыв, особенно нестерпимый потому, что эти идеалы объявлялись уже воплощенными в жизнь. «Социализм в нашей стране в основном уже построен»,— провозгласил вождь всех времен и народов. Ложь была преднамеренной, всенародной и, казалось бы, очевидной. Московские соученики Александра — да и только ли они одни! — поверили обману. Саша стал рассказывать своим школьным друзьям о подлинном положении деревни. Опечаленные одноклассники, которые очень любили Сашу, — заводилу, весельчака, отличника, написали на него донос в КГБ, прося повлиять на своего товарища, помочь ему избавиться от заблуждений. Так состоялось первое знакомство Александра Зиновьева с органами, так он впервые узнал, что такое искренняя дружба в понимании полностью социализированных и идеологизированных советских юношей и девушек. («Новая советская мораль»).

По сравнению с жизнью в московских подвалах («Бесконечный голод. Грязь. Поношенная одежда»), в тюрьме оказалось даже лучше: «В первый раз у меня была своя койка и я ел три раза в день из собственной миски». Когда он рассказал об этом в одном из своих интервью на Западе, ему не поверили. А некоторые обвинили в апологии сталинских тюрем. «Все, что я попытался сказать,— пояснял им Александр Александрович,— заключалось в следующем: как тяжелы были условия жизни свободного человека, если даже тюрьма казалась ему благом». О колхозе в той же автобиографии писателя сказано: «Условия жизни и труда там мало чем отличались от концентрационных лагерей». И тем не менее, предпочитая свободу любым материальным «благам», предоставлять свое тело и душу «воспитателям» из тогдашней живодерни Александр не собирался. Когда два гебиста выводили его из здания на Лубянке, чтобы доставить в Бутырки, Александр воспользовался привычным доверием палачей к своей жертве: «Минутку подождите» — и был таков. Объявили всесоюзный розыск. Напрасно. Александр не вернулся ни в московский подвал, ни в деревню. Стал скитаться по стране. Год спустя, не дожидаясь срока призыва, где-то далеко от Москвы записался добровольцем в Красную Армию. А потом была Отечественная война. Воевал и кавалеристом, и танкистом, и, пройдя ускоренный курс обучения в авиаучилище, летчиком-истребителем. Получал боевые награды. Не надеялся вернуться с войны живым. Себя не жалел. И тем не менее после колхозной, военная страда не показалась особенно тяжелой. «Социалистические отношения» в армии, на фронте были слегка поколеблены, но в общем-то сохранились. Это было и благом, и бедой, причиной побед, и поражений. В училище и на фронте, когда передышки затягивались, Александр «гусарил». В армии он стал чем-то вроде Теркина, только шутки его были иные, не столь безобидные. Он сочинял эпиграммы, сатирические стихи, песенки, поговорки, анекдоты, в которых высмеивал не только противников, «фрицев», но и своих, «иванов»,— всю изнанку фронтовой, армейской жизни. Таких, как Теркин, в армии было немало. Но, пожалуй, еще больше таких шутников, как Зиновьев. Он был лишь одним из тысяч создателей армейского, фронтового фольклора — не только героического, но и сатирического, безоглядно смелого, высмеивающего святыни официальной идеологии. Фольклора нецензурного, к сожалению, до сих пор не собранного, а между тем содержащего такую правду о войне, об армии, а стало быть, и о нашем строе вообще, какую не сыщешь ни во фронтовых документах, ни в художественной литературе о войне, ни в мемуарах военачальников. Зиновьев понимал ценность армейского фольклора и насытил им свои книги.

Войну Александр Зиновьев закончил в городе Моцарта — Вене. (Один из исследователей творчества автора «З. В.» назвал его «Моцартом социологии».) Из Австрии Зиновьев привез чемодан, набитый рукописями. Одну из них, повесть о войне, он показал двум известным писателям — Константину Симонову и другому, который из «самых лучших побуждений», конечно (как когда-то его школьные товарищи), донес на него в те же инстанции. К счастью, К. Симонов был первым читателем. Ему повесть настолько понравилась, что он посоветовал ее уничтожить немедленно вместе со всем остальным, написанным в этом роде. Поэтому, когда пришли к Зиновьеву с обыском, найти ничего не смогли. Но на заметку взяли. Мы можем жалеть об уничтоженных рукописях. Сам же Зиновьев о них не жалеет. Он, представьте, рад, что не стал профессиональным писателем. На писательстве он поставил крест, как ему казалось, навсегда, тем более что страсть к познанию не уступала писательской. Из привлекавших его факультетов (филологический, математический) он предпочел философский, чтобы разобраться самому в основах мироустройства, понять, что такое человеческое общество вообще и в частности то, в котором мы живем. Он успел уже к этому времени создать свои собственные «правила жития», подчиняя материальные интересы интересам духовным, отказываясь от любой социальной ангажированности. Еще в университете он исследовал теорию Маркса, подвергая ее сомнению, впрочем, как это делал и Маркс по отношению к любым авторитетам. Я уже не говорю о его сатирическом

отношении к тем трудам Ленина и Сталина, философская нищета которых ему была совершенно ясна. Студент, он уже тогда имел учеников — и среди студентов, и среди аспирантов. Самым его любимым занятием были беседы с друзьями на социологические, философские и литературные темы. Мы бродили с ним до утра по пустынным улицам Москвы. И говорили, говорили. Больше — он. Я слушал.

Умер Сталин. Пробудились надежды. Но не у Саши. «Передерутся, как пауки в банке»,— сказал он мне о ближайших соратниках. Скоро так и произошло. Потом наступила «оттепель». Самые бессовестные культисты стали витиями антисталинизма. Как по команде. У Саши это вызывало презрение.

Пока «внезапные свободомыслы» из философов растрачивали себя в эйфории антикультовской болтовни, оставаясь по существу пленниками все той же, слегка перелицованной идеологии, Александр Зиновьев продолжал исследование самых основ общества, с неизбежностью порождающего «культ» в тоталитарной или либеральной форме. Он объяснял отличие идеологии от науки, идеологического камуфляжа социальной действительности от ее научного познания. Методологического инструментария для этой работы не существовало. Он создал его сам, осуществив критическую реконструкцию логической структуры «Капитала» Маркса — задачу фантастически сложную, решение которой до той поры оказалось непосильной никому ни на Западе, ни у нас.

Восторженные ученики А. Зиновьева говорили, что он прочитал «Капитал» четырнадцать раз, чтобы выявить его логическую структуру. Зиновьев сам подсмеивался над такими преувеличениями; ради «розыгрыша» он говаривал, что вообще «не читал» ни этой, ни других книг основоположника. Что касается всех других, не знаю, но «Капитал» он проштудировал столь основательно, что его логическую структуру описал так, как, может быть, не сумел бы сделать и сам автор «Капитала». В этом нет ничего сверхъестественного. Истинный критик становится как бы соавтором писателя и, стремясь уяснить для себя, каким способом создавалась книга, объясняет на уровне вторичной рефлексии первичную рефлексию писателя, удивляя последнего тем, что тот сам в себе и не подозревал.

А. Зиновьев отвлекался от собственно политэкономического содержания «Капитала», его не интересовали ни истмат, ни борьба труда и капитала, ни доказательство неизбежности перехода от капитализма к социализму, то есть все то, из чего последователи гениального мыслителя скроили идеологию, от которой он сам успел отмежеваться («Что касается меня,— говорил Маркс,— то я не марксист»).

Зиновьева интересовала только логика (она же диалектика, она же теория познания) «Капитала». Выявив, реконструировав ее, Зиновьев совершил выдающееся научное открытие. Затем, оперируя логикой Маркса как инструментом познания, он первый (не единственный ли?) вывел теорию «реального коммунизма», утвердившегося в нашей стране (но имеющего корни во всех странах). Диалектика «Капитала» сокрушала все догмы «марксистско-ленинской идеологии», показывая ее принципиальную противоположность науке. К счастью для А. Зиновьева, это не поняли сразу, хотя и почувствовали нечто опасное, когда в 1954 году он представил на защиту свою кандидатскую диссертацию «Метод восхождения от абстрактного к конкретному», впервые представив в стройной системе категорий диалектическую логику. Диссертацию трижды «заваливали» мастодонты Ученого совета, и трижды все они были посрамлены соискателем при дружном и радостном одобрении студентов и аспирантов, до небывалой тесноты заполнивших зал «защиты». Это, по существу, было первое открытое выступление против господствующей идеологии, осуществленное на столь высоком теоретическом уровне, на который не сумели подняться ее противники даже в нынешнюю пору беспредельной свободы критики. Степень А. Зиновьеву все-таки присудили (дело шло к XX съезду), но — увы! — диссертацию не напечатали. Зато она стала первым произведением советского самиздата. Ее перепечатывали на тонкой папиросной бумаге в десятках экземплярах, ее изучали на закрытых (а порой и открытых) семинарах философов, методологов во многих аудиториях страны. На ее идеях сложилось несколько методологических школ. Историкам самиздата следовало бы знать об этом факте...

Можно ли А. Зиновьева назвать «шестидесятником»? Ожидал ли он, чтобы от «сна разума» его разбудил «роландов рог» Хрущева? Нет. он сам проснулся и не в шестидесятые, а в конце тридцатых годов. И в то время как многие «шестидесятники», не успев по-настоящему «продрать глаза», провозгласили «свое» смелое несогласие с тем, что было, приняв безоговорочно то, что настало, чтобы потом снова впасть в «полудрему», А. Зиновьев и в шестидесятые, и в восьмидесятые оставался верен себе, своему ясному взгляду на действительность, как и в сороковые (!), не меняя одни иллюзии на другие. Он не был ни «за» и ни «против» существующего режима, не собирался его изменять. Он был лишь «за» истину и «против» лжи: страсть к познанию мира, общества, человека, его духовного творчества в религии, философии, морали, науке, искусстве была и осталась его всепоглощающей страстью. Он был диссидентом в интеллектуальном и экзистенциальном, но не в политическом смысле слова. Это привело к тому, что

его выталкивала и среда властей предержащих, и среда действительной оппозиции, и среда либералов с «фигой в кармане». Он был обречен быть непонятым, неоцененным и в этом смысле одиноким. Эти жизненные и духовные коллизии нашли отражение в «З. В.» и в других литературных произведениях Зиновьева.

Обычно, совершив крупное открытие, ученый всю остальную жизнь посвящает его разработке; Зиновьев же предоставил другим осваивать открытый им «материк». Таков был его жизненный принцип. Он мог бы сказать подобно Маяковскому: «Следующую вещь напишу, только переступив через самого себя». Его следующей вещью была логика, уже мало общего имевшая с логикой «Капитала». Так продолжалось двадцать лет. Исследования, статьи, книги, занятия с аспирантами и студентами, научные конференции. Для ученого мира он был и остался логиком, а тем временем он продолжал изучение общества «реального», а потом и «развитого социализма», используя свою собственную методологию. Об этой «подспудной» деятельности мало кто догадывался, даже из близко знавших его. Зиновьев чувствовал, что его присутствие в среде коллег, осваивающих (и присваивающих) его новые логические идеи, затянулось. Надзор ГБ за его поведением, не только не содержащим в себе ничего политически враждебного, но даже примерно лояльным, запреты на творческие командировки за границу, куда пачками ездили бездари и сексоты, допекали. Наступила пора еще раз «перешагнуть через себя». Так, после тридцатилетнего перерыва он вернулся к литературе и стал автором крамольнейшей книги — «Зияющие высоты». Писалась она в экстремальных условиях. Сексоты вызнали, что Зиновьев что-то этакое пишет, хотели узнать, «застукать». Приходилось спешить. Рукопись в 600 страниц, на которую следовало, по расчетам специалистов, затратить годы и годы, была написана в полгода. На Западе книга вышла в 1976 году. Она произвела там ошеломляющее впечатление, которого, пожалуй, не ожидал и сам автор. О «З. В.» писали как о фундаментальном сатирико-социологическом исследовании советского общества, называли «дарвиновской эпопеей навыворот» (в которой происходит систематический отбор посредственностей), «гигантской притчей», «лабиринтом нового платоновского государства». Поздравляли Россию с появлением, наконец, ее собственного Свифта. Сравнивали автора также с Вольтером, Салтыковым-Щедриным и — что я считаю наиболее соответствующим дарованию автора «З. В.» — с Франсуа Рабле. «Зияющие высоты» были провозглашены «первой книгой XXI века». Прошло еще некоторое время, и книга была переведена на десяток европейских языков, стала бестселлером. Ею зачитывались в Старом и Новом Свете. Литература о «З. В.» превысила ее собственный объем. Вслед за «З. В.» на Западе были опубликованы другие книги А. Зиновьева: «Записки ночного сторожа», «Светлое будущее», «В преддверии рая», «Желтый дом», социологическое исследование «Коммунизм как реальность» и многие другие. О них должен быть разговор особый, хотя все они выросли из могучего ствола «З. В.», с корневой системой, уходящей глубоко в российскую советскую почву.

Известность и слава А. Зиновьева ширилась на Западе. Эжен Ионеско назвал его крупнейшим современным писателем; по представлению выдающегося социолога Франции Раймона Арона Александру Зиновьеву была присуждена премия великого Алексиса де Токвиля. Не приняли его лишь некоторые из российской эмиграции. Его обвинили даже в русофобии. На это он ответил достойнейшей отповедью: «Признаюсь, я не испытываю чувства любви к русскому народу. Но я не испытываю к нему и ненависти. Мое отношение к нему иного качества: я принадлежу к этому народу и разделяю его судьбу. Я часть его. Я озабочен его судьбой. И потому я беспощаден в его описании,— я не хочу обманывать самого себя и моих соплеменников. Лишь те, кто оторвался от своего народа или знает о нем из вторых и третьих рук, могут позволить себе лицемерные эмоции, именуемые любовью к народу, к которому они фактически не принадлежат... Я родился и вырос в самых глубинах русского народа. Я провел в нем почти всю свою долгую жизнь. Я вместе с ним и в нем голодал, мерз, работал, воевал. Я был колхозником, студентом, солдатом, офицером, землекопом, учителем, грузчиком, лаборантом, научным работником, профессором. Я знаю этот народ и несу его в себе самом. Я отдал ему все свои силы и способности, не требуя почти ничего взамен. И, если бы мои книги могли свободно распространяться по России, русский народ ни на мгновение не усомнился бы в том, что я каждой клеточкой своего тела и своей души есть человек глубоко русский. И я очень сомневаюсь в том, что русский народ принял бы за своих всех тех, кто создает и распространяет клевету обо мне как о русофобе». («Мы и Запад». Лозанна, 1981 г., с. 39).

Слава Богу, книги Зиновьева вот-вот появятся в России, но его статьи и интервью, которые уже появились в некоторых наших газетах (например, в «Московском литераторе»), урезают и искажают его мысли. Одни стремятся перетянуть его на сторону «правых», другие, прогрессисты, спешат «разочароваться», пытаются представить его как «правого». А он не «правый», не «левый» и не «центрист», он сам свое «направление», «партия» и даже «суверенное государство», как он сам называет себя. И сегодня им не движут никакие иные соображения, кроме озабоченности судьбой России.

Но мы забежали вперед. Вернемся к прерванному рассказу. Несколько экземпляров «З. В.» тогда же, в 1976 году, попали на родину. Власти взъярились. М. Суслов назвал А. А. Зиновьева врагом советской власти страшнее А. И. Солженицына, ибо Солженицын раскрыл тайну ужасов ГУЛАГа, а Зиновьев показал, изображая н о р м а л ь н у ю повседневную жизнь в н е ГУЛАГа как такую, в которой ГУЛАГ естественен, по крайней мере на этапе рождения и становления «реального коммунизма», после чего, в период наступившей «зрелости» этого общества, с той же естественностью изобретаются несколько иные, более «гуманные» приемы подавления инакомыслов.

Пока высшие власти решали, как наказать «взбунтовавшегося» профессора, сикофанты-сотрудники академического института уже спешили от него отмежеваться. Начался позорный фарс осуждения и предания остракизму в его собственной философской среде.

Сегодня благодаря сохранившимся стенограммам мы знаем, как трусливо или подло вели себя многие именитые писатели, исключая из Союза Б. Пастернака, А. Солженицына. Точно так же вели себя братья-философы, хотя протоколы «допросов» Зиновьева, кажется, вообще не велись. Его, разумеется, изгнали из института и закрыли доступ к любой другой работе. Увы, от него отвернулись не только «консерваторы», но и его «либеральные» друзья. В романе они увидели родовые черты либералов, обиделись, полагая, что эта сатира затрагивает п е р с о н а л ь н о их. И совершенно напрасно. Зиновьева интересовало социальное явление, а не конкретные лица, и он никого не хотел оскорбить. Ну, а что касается самого социального явления, то он с поразительной точностью предугадал — теперь это очевидно — эволюцию «философского либерализма».

Прогноз, надо сказать, был малопривлекательный, и либеральные друзья смертельно обиделись, порвав с ним всякие отношения (время было для этого ведь самое подходящее!).

Два года Зиновьев фактически находился под домашним арестом, ожидая решения своей судьбы: что предстоит? Лагерь? Ссылка? Тем не менее оставался бодр, продолжал работать, написал еще две книги.

А тем временем книгу читали, она становилась известной. Воспринималась по-разному: удивляла всех, как, наверное, удивила бы «летающая тарелка», если бы действительно села на Землю. От души хохотали, радовались одни, иные «тонкие ценители» искусства, прилагающие ко всему новому «меру» затверженных некогда эстетических норм и правил,— отвергали за «непохожесть», нагромождение «курьезов», за «грубость», «цинизм», за погруженность в сферу материально-телесного низа». (За это же самое М. Бахтин возвеличил Рабле, а А. Лосев назвал его «гадким».)

Были читатели, которых захватила не только сатира на общество, на лжеученых и поэтов, но и трагический голос гения, обкарканного пигмеями. Среди них академик П. Л. Капица и Н. Я. Мандельштам, которая пришла к Зиновьеву и, прижимая «З. В.» к груди, сказала: «Это м о я книга, я ее так долго ждала и думала уже не дождусь. Слава Богу!»

Более всего Зиновьев боялся, что его выгонят из России. Произошло именно это. Трусливая высылка, ибо Указ Брежнева о лишении его гражданства, боевых наград и научных степеней и званий, заготовленный заранее, был обнародован лишь после того, как он прилетел в Мюнхен с советским паспортом прочесть (по приглашению) курс лекций по логике.

Прошло 12 лет, как он живет в столице Баварии, тепло принявшей бывшего русского фронтовика. Стоит ли говорить, что то, что он испытывает по отношению к Родине,— это не просто ностальгия. Недавно указом Президента М. С. Горбачева ему было возвращено советское гражданство. И опять-таки радость Зиновьева была омрачена тем, что его согласия не спросили, перед ним не извинились. Как отобрали, так и вернули, как будто сам он тут ни при чем, как будто речь идет не о человеке — о вещи.

Теперь немного о самом произведении. Почему я назвал его сияющей высотой словесности? Под словесностью я мыслю безымянное народное творчество, вплетенное в жизненный процесс. Это фундамент литературы. Вырастая из нее, литература «порывает» с культом и бытом, становится их познанием, концентрацией и хранительницей религиозных, моральных, поэтических смыслов человеческого существования. Словесность, фольклор — искусство в н у т р и ж и з н е н н о е, литература — а в т о н о м н о е, с а м о з а к о н н о е. Приобретая независимость от общенародных, массовых форм жизнедеятельности, становясь творчеством свободного индивида, литература в то же время вынуждена подчиниться условностям, правилам, канонам, стилевым требованиям, культурным традициям определенной эпохи. В XX столетии литература претерпевает изменения самые радикальные за всю ее историю: она как бы возвращается в жизнь, сливается с устным словесные творчеством. «Зияющие высоты» — пример такого слияния. Зиновьев выступает здесь в двух ипостасях: и как анонимный современный «сказитель», и как индивидуальный автор литературного текста. Каждый свой разговор, на бытовую или научную тему, Зиновьев превращал в словесный шедевр, в котором перемешивалось высокое и низкое, серьезное и смешное. В живом общении он сочинил и «исполнил» многое из того, что потом вошло в «З. В.».

Словесная постройка гигантского повествования воздвигается непрерывными разговорами, громоздящимися друг на друга.

Перебранки, треп, болтовня, споры, прения, полемики, дознания образуют разговорный каркас социальной организации. Они создают иллюзию гибкости, подвижности структуры, структуры на самом деле жесткой и неизменной. Им противостоит ДИАЛОГ — свободный обмен идеями, а не мнениями, духовное взаимообогащение собеседников, поиск, а иногда и обретение истины.

По самооценке А. Зиновьева «З. В.» — с о ц и о л о г и ч е с к и й роман (не путать с социальным), поскольку в нем органически слиты научно-социологическое и художественное познания. Действительными героями книги, по утверждению автора, являются не люди, а социальные законы — грязные и жестокие ничтожества. А персонажи романа, которым автор взамен имен присвоил названия по их социальной роли (как она воспринимается средой), используются всего лишь как материал, из которого «лепят» разнообразные лики социальности. Особенностью «З. В.» является также видовая, жанровая, стилевая полифония (проза и поэзия, раешник и элегия, натурализм и сюрреализм, н а у ч н ы й с т и л ь х у д о ж е с т в е н н о г о м ы ш л е н и я — по-моему, нововведение автора—и абсурдизм).

И все-таки, как мне кажется, художник в Зиновьеве берет верх над ученым. Хряк, Заибан, Мыслитель, Претендент, Социолог, Неврастеник, Брат и особенно Шизофреник, Клеветник, Болтун и Мазила — не только социальные маски, но и живые лица, хотя и предстают перед читателем всего лишь как «система фраз».

«Зияющие высоты» — не только сатира, но и трагедия. Сатира — это об обществе, о том в людях (пусть самых достойных), что принадлежит социальности; трагедия — о человеке, сущность которого не исчерпывается совокупностью общественных отношений.

Главная проблема «З. В.» — проблема личности, ее свободы. Она — движущая сила сюжетостроения.

Если на известной картине Делакруа библейский Иаков боролся с самим Иеговой в образе ангела и победил, то положительный герой «З. В.» — «богоподобный» человек — борется с Дьяволом Социальности и терпит поражение: он стоит в очереди — в крематорий, надпись над которым гласит: уходя, забери урну со своим прахом с собой.

Ибанск — символ общества, враждебного личности, ее свободе.

«Чего хочу? Какую нить я рву?
Куда иду? Какую радость рушу?
Свобода — шаг от камеры ко рву.
Бессмертье — червь, в мою ползущий душу».

Гибель гения есть не эпизод, а суть этого общества — последнее, что пришло ему в голову». («З. В.», Лозанна, 1976, с. 533).

В «З. В.» А. Зиновьев создал образ нового трагического героя, который выступает перед читателем то как Шизофреник, то как Клеветник, то как Болтун, то как Крикун; иногда его черты обнаруживаются в других, даже второстепенных персонажах, например, в Посетителе мастерской Мазилы. Читатель сам синтезирует их в одно лицо — в человека универсальной одаренности.

Этого «распятеренного» главного героя «З. В.» можно было бы назвать «лишним человеком» и тем пополнить череду «лишних людей» русской литературы. Он действительно таков, правда, с приметным отличием от своих предшественников первой половины XIX в.; те — богатые натуры — не знали, куда себя деть, томились бездельем, им не к чему было приложить свои силы, и, презирая общество, они все-таки нуждались в нем. Герой Зиновьева, напротив, разносторонне деятелен, он поглощен исследованием общества, открывает законы, управляющие социумом. Герой Зиновьева мог бы быть полезен обществу. Но именно за это общество выталкивает его в никуда. Тут достигнут предел взаимоотчуждения: «лишний человек» — с одной стороны и «лишнее общество» — с другой.

И все же без новых «лишних людей», без этих пасынков и изгоев, это общество не могло бы существовать, и, слава Богу, они возникают в нем снова и снова.

Трагедия индивида не как бытовая, семейная, а как общесоциальная, метафизическая и космическая нигде не была изображена с такой достоверностью, с такой болью и состраданием, как в великой русской литературе XIX и XX столетий. И это, как правило, сопровождалось трагедией ее творцов. Александр Зиновьев — один из них.

Карл КАНТОР

Предисловие к данной публикации

Книга «Зияющие высоты» была написана в 1974—1975 годах. Опубликована в Швейцарии в 1976 году. Имела огромный успех как литературное произведение. Была удостоена многочисленных премий и переведена на многие языки. Отрывки для данной публикации я отобрал так, чтобы читатель получил представление об особенностях моего литературного творчества. Поэтому здесь выпал сюжетный аспект, а также многое такое, что явилось предвосхищением перестройки.

Прошу текст печатать именно в таком виде, ни в коем случае не редактировать!

А. Зиновьев

Мюнхен, февраль 1990.

Эта книга составлена из обрывков рукописи, найденных случайно, т. е. без ведома начальства, на недавно открывшейся и вскоре заброшенной мусорной свалке. На торжественном открытии свалки присутствовал Заведующий с расположенными в алфавитном порядке Заместителями. Заведующий зачитал историческую речь, в которой заявил, что вековая мечта человечества вот-вот сбудется, так как на горизонте уже видны зияющие высоты социзма. Социзм есть вымышленный строй общества, который сложился бы, если бы в обществе индивиды совершали поступки друг по отношению к другу исключительно по социальным законам, но который на самом деле невозможен в силу ложности исходных допущений. Как всякая внеисторическая нелепость, социзм имеет свою ошибочную теорию и неправильную практику, но что здесь есть теория и что есть практика, установить невозможно как теоретически, так и практически. Ибанск есть никем не населенный населенный пункт, которого нет в действительности. А если бы он даже случайно был, он был бы чистым вымыслом. Во всяком случае, если он где-то возможен, то только не у нас, в Ибанске. Хотя описываемые в рукописи события и идеи являются, судя по всему, вымышленными, они представляют интерес как свидетельство ошибочных представлений древних предков ибанцев о человеке и человеческом обществе.

Ибанск, 1974 г.

БАЛЛАДА О НЕУДАЧНИКАХ

ШКХБЧЛСМП

Как утверждают все наши и признают многие не наши ученые, жители Ибанска на голову выше остальных, за исключением тех, кто последовал их примеру. Выше не по реакционной биологической природе (с этой точки зрения они одинаковы), а благодаря прогрессивным историческим условиям, правильной теории, проверенной на их же собственной шкуре, и мудрому руководству, которое на этом деле собаку съело. По этой причине жители Ибанска не живут в том пошлом устарелом смысле, в каком доживают последние дни на Западе, а осуществляют исторические мероприятия. Они осуществляют эти мероприятия даже тогда, когда о них ничего не знают и в них не участвуют. И даже тогда, когда мероприятия вообще не проводятся. Исследованию одного такого мероприятия и посвящается данный труд.

Полностью книга выйдет в 1991 г. в издательстве ПИК.

Исследуемое мероприятие называется ШКХБЧЛСМП. Составил название Сотрудник, а в науку впервые ввел Мыслитель, опубликовавший по этому поводу цикл статей на другую, более актуальную тему. Статьи были написаны на высоком идейно-теоретическом уровне, так что их не читал никто, но все одобрили. После этого термин ШКХБЧЛСМП стал общепринятым и вышел из употребления.

Мероприятие было придумано Институтом Профилактики Дурных Намерений, проводилось под надзором Лаборатории Промывания Мозгов при участии Установочного Журнала и было подхвачено инициативой снизу. Мероприятие было одобрено Заведующим, Заместителями, Помощниками и всеми остальными, за исключением немногих, чье мнение ошибочно. Цель мероприятия — обнаружить тех, кто не одобряет его проведения, и принять меры.

В мероприятии участвовали две группы: испытаемая и испытающая. Эти группы состояли из одних и тех же лиц. Испытаемые знали, что за ними ведется наблюдение. Испытающие знали о том, что испытаемым это известно. Испытаемые знали о том, что испытающие знали о том, что это им известно. И так до конца. При этом испытающая и испытаемая группы были автономны и не оказывали друг на друга влияния. Между ними не было никаких информационных контактов, благодаря чему было достигнуто полное взаимопонимание. Испытаемые руководствовались такими принципами: 1) а что поделаешь; 2) а что изменится, если; 3) наплевать. Как доказал Сотрудник, из этих принципов логически следуют производные принципы: 4) все равно этого не избежать; 5) в конце концов пора; 6) пусть они катятся в. Испытающие, напротив, придерживались таких принципов: 1) все равно никуда не денутся; 2) сами все выложат; 3) сами все прикончат. Упомянутый Сотрудник вывел из них производный принцип: 4) сами во всем сознаются. Вопрос о том, доказуем в этой системе принцип «сами все придумают» или нет, остался до сих пор нерешенным. Но он в принципе не принципиален, ибо выдумывается все само собой, так как выдумывать нечего, ибо и без того все есть. Благодаря изложенным принципам удалось увеличить приток ненужной информации и сократить сроки. Мероприятие стало полностью самонеуправляемым и, как всякое хорошо задуманное и последовательно проведенное мероприятие, кончилось ничем.

После упомянутого мероприятия поселок Ибанск преобразился. Бывшее здание Школы передали под филиал Института. Сортир надстроили и одели в сталь и стекло. Теперь со смотровой площадки туристы, неудержимым потоком хлынувшие в Ибанск, могут воочию убедиться в том, что просочившиеся к ним ложные слухи суть клевета. Назначили нового Заведующего. Старого после этого за ненадобностью где-то спрятали. Новый был такой же старый, как и старый, но зато не менее прогрессивный и начитанный. Рядом с сортиром построили гостиницу, в которой разместили Лабораторию. Чтобы туристам было что посмотреть в свободное от посещений образцовых предприятий время, вокруг гостиницы воздвигли десять новеньких живописных церквей десятого века и ранее. Стены церквей древними фресками разукрасил сам Художник, создавший портрет Заведующего на передовой позиции и удостоенный за это премии, награды и звания. Художник изобразил трудовой героизм свободолюбивых потомков, их боевые будни и выдающихся деятелей культа той далекой, но начисто позабытой эпохи. На главной фреске Художник изобразил Заведующего и его Заместителей, которые за это были удостоены премии, а сам Заведующий — дважды: один раз за то, другой раз за это. В результате цены на продукты были снижены, и потому они выросли только вдвое, а не на пять процентов, как там у них. Речку Ибанючку вдоль и поперек перегородили. Она потекла вспять, затопила картофельное поле, бывшее гордостью ибанчан, и образовала море, ставшее гордостью ибанчан. За это все жители, за исключением некоторых, были награждены. Заведующий зачитал по этому поводу доклад, в котором дал анализ всему и обрисовал все. В заключение он с уверенностью сказал: погодите, еще не то будет. Доклад подготовил Претендент с большой группой сотрудников. Это обстоя-

тельство осталось в тени, поскольку оно было известно всем, кроме Заведующего, который был за это награжден и потом был удостоен награды за то, что был награжден за это.

На том берегу вырос новый район из домов, одинаковых по форме, но неразличимых по содержимому. Случайно получивший в этом районе отчасти изолированную смежную комнату Болтун говорил, что тут настолько все одинаково, что у него никогда нет полной уверенности в том, что он у себя дома и что он есть именно он, а не кто-то другой. Полемизировавший с ним Член утверждал, однако, что это есть признак прогресса, отрицать который могут только сумасшедшие и враги, ибо разнообразие рождает естественное неравенство. Погодите немного, говорил он, построят тут продовольственные и другие культурно-просветительные учреждения, и тогда вас отсюда палкой не выгонишь.

В центре нового района раскинулся старый пустырь. На нем сначала хотели соорудить пантеон, потом решили построить озеро и населить его паюсной икрой. Построили молочный Ларек. Ларек завоевал огромную популярность. Около него всегда собирается много народу независимо от того, есть в Ларьке пиво (что бывает редко) или нет (что тоже бывает редко). Выпивку приносят с собой. Располагаются группами на бочках, ящиках и кучах мусора. Группы складываются на более или менее длительное время. Некоторые сохраняются месяцами и даже годами. Недавно одна из них отметила пятидесятилетний юбилей. За это все посетители Ларька были удостоены награды, а сам Заведующий дважды: один раз за непричастность, другой раз за участие.

Начало

Однажды Сотрудник, давший себе задание выявить и устранить, оказался в районе Ларька. Имея полное право брать без очереди все то, что есть, и брать все то, чего нигде нет, он к удивлению собравшихся встал в длинную очередь и прислушался. Разговаривающие выглядели людьми интеллигентными, но обращались друг к другу почему-то на «вы» и не употребляли нецензурных (в старом смысле) слов, беседуя на нецензурную (в новом смысле) тему. Очереди, дефицит продуктов, халтура, хамство и все такое прочее отрицать бессмысленно, говорил Член. Это факт. Но это же бытовые мелочи, не вытекающие из сущности нашего изма. При полном изме этого не будет. Он как раз и задуман лучшими людьми для того, чтобы ничего подобного не было. Вы правы, сказал Болтун. Но изм — это не только торжественные заседания и шествия, это есть и определенная форма организации и воспроизводства быта. Остальное — разговорчики для слепоглухонемоглупых. Сотрудник сказал, что он с ними обоими согласен, и рассказал общеизвестный анекдот о том, что полный изм можно построить в одном поселке, но жить лучше в другом. Член сказал, что в его время за такие анекдоты по головке не гладили. Сотрудник сказал, что теперь не ваше, а наше время. Болтун сказал, что не видит принципиальной разницы.

Место для выпивки нашли на краю пустыря в уютной мусорной яме. Член произнес обличительную речь и занялся уборкой. Сотрудник укатил от Ларька бочку, заодно договорившись с продавщицей о встрече. Болтун увел у кого-то ящик. На ящик заявил права Карьерист, уходивший повторить пятую кружку. Но был осмеян Сотрудником и примкнул к группе. Член вытащил из бокового кармана чекушку. Болтун проронил слезу и сказал, что он никогда не терял веры в Человека. После третьей кружки наступил момент, ради которого человечество готово примириться с вытрезвителем. Болтун выложил все, что думал о своем секторе. Ваши жалобы — детские игрушки, сказал на это Сотрудник. Подумаешь, у них в секторе десять паразитов, пять склочников, три стукача и два параноика. Считайте, что вам крупно повезло. У меня в отделе двести сотрудников. Работают мало-мальски прилично двое. Один по глупости, другой по привычке. Остальные — паразит на паразите и паразитом погоняет. Бездарность вопиющая. Грызня. Доносы. Разносы. Подсиживание. Только и думают о том, чтобы побольше урвать. Вон там, видите, присосался тип с гнусной рожей? Наш. Инструктор. Предупреждаю, редкостная сволочь. И к тому же выдающийся кретин. Даже в самых примитивных случаях не может толком различить, что наше и что антинаше. Болтун сказал, что это не так уж плохо, что у них работают плохо, так как если бы у них работали хорошо, то было бы совсем плохо. Карьерист сказал, что все равно хуже не бывает. Сотрудник по сему поводу вспомнил старый общеизвестный анекдот об оптимистах и пессимистах и уличил Карьериста в пессимизме. Можно подумать, сказал Карьерист, что у вас там коллекционируют анекдоты. Впрочем, сказал Болтун через пару кружек, в каком-то смысле не так уж хорошо, что у них плохо, и было бы лучше, если бы у них было лучше. А вообще говоря, закончил он мысль еще через пару кружек, это не играет роли. Никто не знает, что хорошо и что плохо. Кроме Литератора, может быть. Карьерист сказал, что везде одно и то же. Сломалась как-то у нас одна хреновина. Дело у нас сверхважное и сверхсрочное. Зеленая улица. Звоню главному, так, мол, и так. Говорит, пустяк, позвоню в соответствующий отдел, мигом сделают. Вечером звоню в отдел. Говорят, первый раз слышим. Утром звоню главному. Занят, совещание. А дело стоит. На другой день иду к главному. Жду два часа. Говорит, не волнуйся. Дело сверхважное и сверхсрочное. Сейчас все проверяем. Вызывает начальника отдела и приказывает при мне немедленно сделать. Прошло два дня. Ничего нет. Только через неделю после письменного распоряжения изготовили чертежи, разработали технологию, произвели расчеты. Через пару недель хреновина была готова. Но совсем не та и не так. Иду к главному. Ничего, говорит, поделать не могу. Сам видишь. Руки опускаются. Выкрутись как-нибудь сам. Купил пол-литра, пошел к слесарям, говорю, выручайте, братцы, сделаете, еще пол-литра подкину. Через полчаса сделали отличную хреновину. И еще пару штук про запас. Начальнику отдела потом премию за это дали. Болтун спросил, как же они с такой великолепной организацией дела ухитрились сотворить то самое дело. Карьерист пожал плечами. Сотрудник сказал, что это тривиально. Неограниченные средства. Неограниченные полномочия. Заинтересованность. Деловые люди. В общем, нестандартная ситуация. Потом это стало обычным массовым делом, выгодным для паразитов и проходимцев. Член сказал, что в его время ничего подобного не было. Болтун сказал, что в то время просто еще не было ничего такого, из-за чего могло бы быть нечто подобное. Сотрудник сказал, что всегда и везде так. Хорошо только там, где нас нету. Болтун сказал, что это верно, хорошо там, где их нету. Сотрудник сказал, что ему пора, плюнул в недопитую кружку, сказал, что не понимает, как такую гадость пьют люди, и ушел по своим делам. Большой человек, подумал Член, и решил через Сотрудника переслать вверх материал, обличающий и предлагающий меры по исправлению.

Шизофреник

В свободное от вынужденного безделья время Шизофреник сочинял социологический трактат. Писать он не любил и не хотел. Ему приходилось делать невероятные усилия, чтобы хватать исчезающие с молниеносной быстротой беспорядочные мысли и приколачивать к бумаге. Кроме того, он был убежден в том, что об этом рано или поздно узнают все и ему опять придется отправляться в Лабораторию. И от этого становилось тоскливо. Но и не писать он уже не мог. Им овладело смутное ощущение тайны, известной только ему одному или, во всяком случае, очень немногим, и он не мог окончить свою бесплодную жизнь, не сделав последней попытки сообщить эту тайну людям. Он знал, что людям его тайна глубоко безразлична. Но это уже не играло роли. Он чувствовал моральный долг не перед людьми, людям он не должен абсолютно ничего, а перед самим собой.

Когда в Институте стало известно, что Шизофреник опять начал сочинять, из архива достали его старый трактат и поручили Инструктору докопаться до его скрытой сути. Инструктор спьяну перемешал листы обоих трактатов, и в таком шизофреническом виде сочинение Шизофреника попало в ибанский «Срамиздат». Начиналось оно с описания возникновения гауптвахты в Ибанской Военной Авиационной Школе Пилотов (ИВАШП).

О терминологии

Вместо принятого в мировой гауптвахтологии термина «гауптвахта» я буду употреблять термин «губа». Во-первых, потому что он короче и удобнее для произношения не только на ибанском, но и на любом другом языке. Во-вторых, для этого имеются принципиальные соображения. Термин «гауптвахта» звучит подозрительно интеллигентски. Термин «губа» глубоко народен. Термин «гауптвахта» выражает нечто холодное и отчужденное. Термин «губа» выражает что-то ласковое и духовно близкое, в общем — свое, родное. Он более соответствует до сих пор еще таинственной ибанской душе и потому точнее с научной точки зрения. А поскольку ибанская душа становится неотразимым примером для подражания у всех народов, за временным исключением некоторых, термин «губа» имеет неизмеримо более перспективные переспективы, чем его западноевропейский конкурент. Термин «переспективы» обозначает то же самое, что и термин «перспективы», но отличается от последнего более высоким социальным рангом употребляющего его. Еще более высоким рангом обладает термин «преспективы». На употребление его нужно особое разрешение высоких инстанций.

Об одной ошибочной гипотезе

Недавно вышла в свет неопубликованная книга известного за рубежом нашего структуралиста Ибанова «Корни современного испокон веков ибанского языка». В ней утверждается, что слово «губа» возникло независимо от западноевропейского слова «гауптвахта». Оно произошло от татаро-монгольского слова «гебе» («губить»). От него в свою очередь образовалось слово «губерния». Путем анализа выражения «пошла писать губерния» с помощью Электронных Вычислительных Машин в Институте Прикладной Губотерапии вычислили, что слово «губерния» сначала обозначало множество умеющих писать, находящихся в сфере внимания губы, и лишь потом, когда под контролем губы оказались все прочие стороны социального бытия людей, губерния стала территориальной единицей. На этом основании зарубежный и по определению реакционный социолог Ибанов высказал оригинальную, но далеко не новую гипотезу относительно преодоления татаро-монгольского ига и ликвидации его последствий. Согласно этой гипотезе дело обстояло не так, будто мы уничтожили и изгнали татаро-монгол, а как раз наоборот, татаро-монголы уничтожили и изгнали нас и навсегда остались на нашем месте. Дав автору этой, с позволения сказать, гипотезы достойную отповедь, наш сотрудник Ибанов лишний раз подтвердил, что губа возникла вместе с семьей и частной собственностью.

О хронологии

О времени возникновения губы в ИВАШП высказывались различные точки зрения. И, как это принято в серьезной современной науке, ни одна из них не соответствует действительности. Так, в пятитомном труде крупнейшего нашего губоведа Ибанова «Генезис губы и ее влияние на последующую демократизацию общества» утверждается, что собственная губа в ИВАШП возникла лишь в конце января. Но один временно уцелевший Сослуживец лично провел на этой губе десять суток еще в декабре. Причем, когда он на нее прибыл, там уже содержалась группа арестантов, успевшая обрести все признаки спонтанной первичной социальной ячейки. Как установила наша недавно разрешенная в разумных масштабах и в нужном направлении конкретная социология (смотри, например, книгу Ибанова и Ибанова «Робкое и с разрешения начальства допущенное введение в так называемую конкретную социологию»), формирование такой социальной ячейки начинается с выделения Лидера, на что требуется по крайней мере неделя, и завершается тем, что один из членов ячейки, которого на первых порах трудно заподозрить в этом, незаметно для прочих членов ячейки и главным образом незаметно для самого себя присваивает функции

Стукача (в переводе на русский — информатора) и тем самым включает социальную ячейку рассматриваемого типа в организм общества в целом. А на это требуется еще по крайней мере неделя. Так что к моменту прибытия Сослуживца на губу она уже функционировала не менее двух недель. Здесь нельзя согласиться с Ибановым, который в удостоенной премии монографии «Стукачи на службе социальной кибернетики» сокращает этот срок до недели на том основании, что на губу был посажен официальный стукач Литератор, который не мог не выполнять привычные функции. Дело в том, что выдвижение индивида на роль стукача в официальных и спонтанных социальных объединениях происходит по принципиально различным законам. В частности, как показал Ибанов в статье «Математические модели в теории классификации стука», в официальных социальных ячейках стукач назначается, а в спонтанных зарождается самопроизвольно. Кроме того, на губе с самого начала было известно, что Литератор есть официальный стукач, и потому он не мог быть имманентным стукачом данной социальной ячейки. Кстати сказать, личность последнего не установлена до сих пор с полной достоверностью. Мнение Ибанова, будто имманентным стукачом был Патриот, не лишено оснований, но его нельзя считать доказанным. Сам Патриот, опубликовавший большую статью в сборнике Жертв, намекает на Мазилу и даже на самого Уклониста. Наконец, сидевший на губе Литератор был специалистом по словам и делам (по портянкам, самоволкам, анекдотам), тогда как имманентный стукач явно специализировался по мыслям и намерениям. Об этом свидетельствуют такие факты. Похищение арестантами самой большой кастрюли «Фердинанд» с шрапнелью (кашей из цельносваренного овса) осталось нераскрытым, тогда как часовой, принявший участие в дискуссии об объективной истине и изложивший свои размышления о караульной службе, вскоре был отчислен из школы в неизвестном направлении. Недоразумение со сроками возникновения губы в ИВАШП связано, надо полагать, с тем, что в январе она была передислоцирована из комнаты рядом с кухней в подвал под караульным помещением. Письменные свидетельства о существовании губы до этого перевода не сохранились вследствие побелки стен, и историки ошибочно приняли время перевода за время возникновения. Впрочем, ошибка эта является одним из достоинств нашего общего принципа историзма в подходе к проблемам.

Здание школы

Общепризнано, что здание ИВАШП самое красивое и величественное во всем поселке городского типа Ибанске. Марки с его изображением можно видеть даже в странах Латинской Америки и Черной Африки. Оно было заново построено из бывшей полуразрушенной дворянской усадьбы, недостроенного кулеческого особняка и синагоги незадолго до войны и прочно вошло в золотой фонд нашего зодчества. Более пятисот административно-хозяйственных работников, местных военачальников и приезжих писателей были удостоены за него премии, а сам товарищ Ибанов — дважды (первый раз за запрещение, а второй раз за разрешение). Буржуазный модернист Корбюзье, увидев это здание воочию, сказал, что теперь ему у нас делать больше нечего, и убрался восвояси. Ведущий искусствовед Ибанов в статье «Почему я не модернист» написал по этому поводу, что туда ему и дорога. Особенность здания ИВАШП состоит в том, что оно имеет два фасада: один сзади — главный, другой спереди — запасной. Фасады построены в настолько различных стилях, что иностранные туристы и гости и даже старожилы поселка до сих пор считают их различными зданиями. Перед войной поселковое руководство по этой причине отдало здание в распоряжение сразу двум организациям — Аэроклубу и Мясо-Молочному Комбинату. Возникла конфликтная ситуация. Начальники упомянутых организаций подготовили друг на друга критические материалы, и их обоих взяли. Вскоре кончилось сырье для одной из конфликтующих организаций, и конфликт был разрешен в полном соответствии с теорией. Философ Ибанов в книге «Единство и борьба противоположностей в поселке Ибанске и его окрестностях» привел этот случай как характерный пример того, что у нас, в отличие от прочих, противоречия не превращаются в антагонизмы, а разрешаются путем преодоления. Если встать лицом к главному фасаду здания

ИВАШП и, следовательно, задом к главной водной артерии, речке Ибанючке, и проектируемой ГЭС, то вы сразу поймете, насколько прав был Заведующий Ибанов, который при открытии здания сказал, что вот в таких прекрасных дворцах будут жить все трудящиеся в недавно наступившем светлом будущем. Фасад здания украшают девятьсот колонн всех известных в мировой архитектуре ордеров, а на крыше устремляются в небо и образуют с ним как бы единое целое многочисленные башни, в точности воспризводящие неповторимые купола Храма Ибана Блаженного. Будучи потрясен этой красотой, всемерно известный инженер человеческих душ Ибанов сказал в редакции ежеполугодника «Заря Северо-Востока» следующую крылатую фразу: «Перед такой неземной красотой хочется замереть по стойке «смирно» и снять шляпу». Его однофамилец курсант запасной роты Ибанов, случайно обративший внимание на эстетический аспект этого, по его ошибочному мнению, совершенно непригодного для нормальной человеческой жизни сарая, шепнул своему старому приятелю курсанту Ибанову, с опаской поглядывая на трехэтажную статую Вождя: «По числу колонн на душу населения мы обставили даже греков. Теперь мы ведущая колонниальная держава Мира». Приятель сообщил об этом куда следует, и судьба клеветника была решена еще до отбоя. Как сказано в «Балладе»:

И кляня свою судьбу,
Он собрался на губу.

На гарнизонную губу, ибо своей губы в ИВАШП пока еще не было. Указанное происшествие зародило в сознании Начальства Школы пока еще смутную идею. Сотрудник в связи с этим был откомандирован на Курсы Повышения Квалификации и снова засел за изучение Первоисточников.

Сортир

При строительстве здания ИВАШП было сделано незначительное упущение, сыгравшее заметную роль в развитии литературы сортирного реализма, а именно — архитекторы забыли спроектировать сортиры. На следствии выяснилось, что они это сделали злоумышленно, так как придерживались ошибочной теории Ибанова, согласно которой сортиры должны отмереть уже на первом этапе. Писатель Ибанов произнес тогда по этому поводу другую свою ставшую также крылатой фразу: «Если кто-нибудь попадется, его уничтожают». Упущение заметили лишь тогда, когда зданием единолично завладел Аэроклуб. Пришлось в глубине двора на значительном расстоянии от здания найти участок, сравнительно меньше других заваленный всякого рода хламом, и построить сортир типа «нужник». В распорядке для курсантов пришлось специально учесть два часа на походы в сортир из расчета три раза в день по десять минут на человека при наличии пятнадцати безопасно действующих посадочных мест. Впрочем, расчета в собственном смысле не было. Упомянутая величина была сначала найдена чисто эмпирически, и лишь постфактум ей было дано теоретическое обоснование с применением мощных средств современной таблицы умножения. Местный философ Ибанов использовал это в книге «Диалектика общего и отдельного в поселке Ибанске и его окрестностях» как блестящий пример чисто теоретического предсказания эмпирического факта, сопоставимый по своим последствиям для развития науки с открытием позитрона. С наступлением темноты хождение в сортир было связано с риском для обмундирования, и потому курсанты избегали пользоваться сортиром даже днем. Пришлось прорубить к сортиру дорогу. Но было уже поздно. Курсанты привыкли использовать для этой цели уютные закутки мусорной свалки — двора, а сортиром стали пользоваться только подозрительные одиночки интеллигенты, желающие показать свое «Я». За ними было установлено наблюдение.

О бесполъзе информации

По дороге к Ларьку Болтун прихватил Шизофреника. Сотрудник и Член были уже на месте. Член пытался всунуть Сотруднику тетрадку со своими соображениями по поводу переустройства. Вы должны понять, умолял он

непреклонного Сотрудника, что нелепо держать в тайне наводнения, землетрясения и прочие события, за которые руководство не несет никакой ответственности. Это же стихийные природные явления или статистические факты, неизбежные во всяком сложном процессе. Слухи же все равно распространяются. Сотрудник предпринял попытку отделаться анекдотами. Но у Члена как у типичного случайно уцелевшего представителя той эпохи было начисто ампутировано чувство юмора и выработан бессрочный иммунитет против смеха. Глядя с тоской на осатаневшего правдоборца, Сотрудник говорил себе: так тебе и надо, кретин несчастный. Давно пора кончать с этими вонючими идеями и переходить на фарцовщиков. Платят больше, а ответственности меньше. И публика приличнее. Возьмите теперь, не унимался Член, последнее понижение цен. Почему нельзя честно и прямо сказать людям, что урожай слишком хороший, что производительность труда повысилась выше намеченной, а себестоимость снизилась ниже установленной. Народ поймет и сам проявит инициативу. Болтун и Шизофреник с хода включились в дискуссию. Сотрудник попытался переключить разговор на другую тему, кивая на Инструктора, но Болтун сказал, что на это наплевать, пусть слушает, за это ему денежки платят. Если Сотруднику это не нравится, пусть катится ко всем чертям. Держать не будем. Шизофреник сказал, что претензии Члена лишены смысла, так как информация не может быть правдивой и полной по определению самого термина «информация». Для нормального функционирования общества никакой информации вообще не нужно, и начальство поступает инстинктивно правильно, раздувая нудные пустяки, замалчивая важные события, переосмысливая для нас с вами все на свете. И даже не столько правильно, сколько естественным для себя образом. Может быть, оно бы и радо было поступать иначе, но не может. Болтун сказал, что здоровому обществу, как и человеку, сведения о состоянии его здоровья не нужны, а умирающему бесполезны. Член запищал о болезнях и диагностике. Болтун возразил, что для общества болезнь есть нормальное состояние, общества не лечат, врачей таких нет, а тех, кто ставит диагнозы и выписывает рецепты, надо давить, как клопов. Суть дела не в этом, сказал Сотрудник. Надо солгать так, чтобы было верно, и сказать правду так, чтобы было вранье. И Сотрудник рассказал общеизвестный анекдот о том, как наш игрок продул ихнему, а у нас сообщили, что наш был вторым, а ихний — предпоследним. В конце концов радио, телевидение и газеты не вытекают из самой сути изма. Шизофреник сказал, что в той мере, в какой правду допускают в силу необходимости, она общедоступна и не нуждается в том, чтобы ее открывали. Потому люди предпочитают заблуждения и бросаются из одной грандиозной лжи в другую. Ложь всегда есть открытие. И потом можно кое-что оправдать сложностью бытия и неизбежностью искренних заблуждений. Болтун сказал, что есть какие-то объективные законы дезинформации вроде законов тяготения, и Шизофреник, наверняка, что-то придумал на этот счет. Шизофреник сказал, что такие законы есть. Например — тенденция свести к минимуму сведения о плохом и раздуть до максимума сведения о хорошем. А если такового нет, его следует выдумать. Врут не по злому умыслу и не по глупости, а потому, что обман есть наиболее выгодная форма социального поведения. Закон работает сугубо формально и на любом материале. Потому врут даже тогда, когда в этом нет никакой надобности, и даже тогда, когда это вредно, ибо иначе не умеют. Член сказал, что эта теория не объясняет искажений истории. Наоборот, сказал Сотрудник. Людям надо внушать, что раньше всегда и везде было еще хуже. Потому какой-нибудь правдивый пустячок может обнаружить более высокий уровень жизни. Член сказал, что правду о прошлом скрыть нельзя. Есть же неоспоримые материальные свидетельства. Болтун сказал, что это утешение для идиотов. Люди сначала усиленно скрывают правду, а потом не могут узнать ее даже при желании. Единственной опорой памяти о прошлом становятся битые черепки и объедки от мамонтов. А разве это история! История не оставляет следов. Она оставляет лишь последствия, которые не похожи на породившие их обстоятельства.

Монумент вождя

Перед главным фасадом здания ИВАШП была воздвигнута статуя Вождя в ненатуральную величину на гранитном пьедестале с мощными цепями, которые долгое время считались декоративными. По причине непредвиденного оседания фундамента Статуя наклонилась вперед больше, чем было установлено высшими инстанциями, так что казалось, что Вождь вот-вот клюнет могучим носом речку Ибанючку и разнесет вдребезги запланированную поблизости ГЭС. В отношении скульптора были приняты меры. Приехавший из столицы Сотрудник выяснил, однако, что в таком положении Статуя стала еще устойчивее. А прибывшее для вручения поселку медали Лицо заметило, что Статуя внушает чувство вины и страха быть раздавленным за это, что вполне соответствует известному всему Миру гуманизму Вождя. Но воскресить скульптора было уже невозможно, наука научилась это делать много позднее. А если бы и воскресили, то не было бы полной уверенности в том, что это — тот самый. Статуя была расположена так, что куда бы курсант ни направлялся, он сталкивался с ней лицом к лицу. Действовало это неотразимо. Сослуживец, однажды собравшись в самоволку и узрев знакомый профиль на фоне мрачного неба, в ужасе повернул обратно. Потом он ходил в самоволку, перелезая через забор около сортира, хотя этот путь был опаснее. Когда разоблачили культ личности и ликвидировали все его последствия, Статую до поры, до времени куда-то спрятали, на место ее поставили обнаженный торс Ибанова. Но на это никто уже не обратил внимания. А за десять лет до этого Сотрудник увидел пророческий сон, будто Статуя закачалась и начала падать. Сотрудник сначала обрадовался и закричал «Наконец-то!», но потом увидел, что Статуя падает прямо на него, и содрогнулся. Он бросился ее поддержать, но сил не хватило, и она рухнула совсем в другую сторону. И никто не знает до сих пор, в какую именно. За это Сотрудник был избран в Академию.

Баллада

«Баллада о неизвестном курсанте» была первый и последний раз опубликована на стенках старого сортира в ИВАШП. Предполагаемый автор ее курсант Ибанов за что-то был отчислен из Школы на фронт и вскоре стал неизвестным. Начиналась «Баллада» так:

Я, ребята, не поэт.
У меня таланту нет.
Стих в печать не посылаю.
Гонорар не получаю.
И, по совести сказать,
Не люблю совсем писать.
Исключительно со скуки
Карандаш беру я в руки.
И по случаю наряда
Сочинить хочу балладу.

В январе старый сортир был разрушен. На его месте соорудили новый с более высоким коэффициентом полезного действия и с более низкой себестоимостью выпускаемой продукции. В Школе после этого стали различать две эпохи: эпохи старого и нового сортира. Первой стали приписывать все наилучшие качества цивилизации, и она стала легендарной. Стенки нового сортира с поразительной быстротой покрылись рисунками, стихами и афоризмами преимущественно эротического содержания. Однако ничего равного «Балладе» создано не было. И сбылось пророчество Уклониста: время шедевров кончилось, началась эпоха массового производства посредственности. Поскольку «Баллада» в другой форме не была опубликована, а память человеческая недолговечна и ненадежна, то это выдающееся произведение настенного искусства, по всей вероятности, можно считать безвозвратно потерянным. Деградация искусства, однако, компенсировалась прогрессом научной мысли. Принимавший участие в строительстве нового сортира Патриот обнаружил два качественно различных слоя экскрементов и высказал идею измерять калорийность пищи калорийностью отходов, образующихся в результате ее поедания рядовым курсантом. Упомянутые две эпохи резко различаются и с точки зрения эмоционального

отношения к Миру. Достаточно, например, сравнить такие строки из «Баллады»:

Мы селедку получали
И на спирт ее меняли

с лучшими стихами новосортирной эпохи, допустим — с такими:

Я здесь сидел
И горько плакал.
Я мало ел,
Но много какал,

чтобы увидеть переход от жизнелюбивых мотивов в духе запоздалого Ренессанса к мрачному Декадансу. Замполит, как-то по случаю заглянувший в новый сортир, сделал из этого вывод о необходимости усилить политподготовку. Результаты не замедлили сказаться. Рядом с упомянутыми стихами появились новые:

Я битый час тут проторчал
И до упаду хохотал.
Шрапнели порцию сожрал,
А яму полную наклал.

Но трудно сказать, были они проявлением оптимизма или тонкой апологетикой.

Первые арестанты

В декабре курсант Ибанов, совершая учебный полет по маршруту, выпрыгнул из самолета с парашютом. Он объяснил это тем, что якобы загорелся мотор. Самолет, врезавшись в землю, не загорелся. Экспертная комиссия обнаружила в моторе остатки обгоревшей тряпки, но не придала этому значения. Она рассуждала так: раз самолет не загорелся даже при ударе о землю, то угрозы пожара в воздухе, очевидно, никакой не было. Курсант Ибанов по этому поводу заявил, что суждения о прошлом, которые кажутся истинными теперь, не обязательно истинны в прошлом и что он хотел бы поглядеть, какое заключение сделали бы эксперты в тот момент, когда заметили бы пламя в моторе, находясь в этот самый момент в самолете. Сотрудник, окончивший до войны по этим делам аспирантуру и чуть было не получивший степень кандидата гуманитарных наук, разоблачил это заявление как попытку подменить диалектику схоластической буржуазной формальной логикой. Поступок курсанта Ибанова был расценен как намерение уклониться путем умышленного уничтожения ценной военной техники. И курсант Ибанов (отныне — Уклонист) присоединился к Клеветнику.

Боже, боже! Я пропал!
Отдадут под трибунал!

(Из «Баллады»)

В декабре курсант запасной роты Ибанов, находясь в самовольной отлучке, самодельным ножом ранил в левую ягодицу гражданку Ибанову. На следствии курсант Ибанов показал, что он страстно любил гражданку Ибанову и собирался на ней жениться, но что она коварно изменила ему, польстившись на продукты питания, приносимые Интендантской Крысой, и стала сожительствовать также и с ним. Сотрудник, осмотрев орудие преступления и осуществив следственный эксперимент на правой ягодице гражданки Ибановой, не мог понять, как курсант Ибанов таким тупым ножиком ухитрился проколоть дубленую шкуру гражданки Ибановой, и заподозрил неладное. При составлении акта никто из присутствовавших не смог назвать научного или хотя бы литературного эквивалента для обозначения женского зада. Курсант Ибанов предложил употребляемое здесь слово «ягодица», на что Сотрудник сказал, что ему теперь все ясно. И курсант Ибанов (отныне — Убийца) поселился в Красном уголке запасной роты вместе с Уклонистом и Клеветником в ожидании отправки на гарнизонную губу. Гражданка Ибанова потом приходила навестить Убийцу. Увидев ее из окна, Убийца пришел в ужас. Как сказано в «Балладе»:

И во всем я мире, боже,
Не видал подобной рожи.

Клеветник спросил Убийцу, неужели он, в самом деле, мог жениться. Тот ответил, что вполне возможно. Во-первых, он ее видел только в темноте. Во-вторых, это у него первая (и может быть, и последняя) баба в жизни. А в-третьих, в ней что-то есть.

Доклад для заведующего

Что вас так давно не было, спросил Член. Дела, сказал Болтун. Пишем доклад для Заведующего, который хочет сделать этот доклад лично для нас. О чем же доклад, полюбопытствовал Член. Не знаю, сказал Болтун. Услышим — узнаем. Член сказал, что в его время Сам сочинял свои речи сам. Болтун сказал, что Сам вообще писать не умел. Просто докладов было меньше, а их составители не сохранились по тем или иным причинам. Чаще по тем. Ладно, сказал Член, а если без шуток? Без шуток, сказал Болтун, дело обстоит так. Мы сами заметили, что нас пора поправить и направить. Сообщили об этом выше. Там решили, что нас пора поправить и направить. И сообщили об этом куда следует. И так вплоть до Заместителей. Поскольку у Заведующего назрела потребность во что-нибудь вмешаться, ему сообщили подходящий повод. Он дал указанне Заместителям подготовить доклад часа на четыре. Заместители дали указание Помощникам, те — Начальникам и Директорам. И так вплоть до вашего покорного слуги. Мы как аристократы духа таким делом, разумеется, заниматься не будем. Потому мы возложили задачу подготовки доклада на самых посредственных, невежественных и готовых на любую пакость Исполнителей, рвущихся делать карьеру любыми средствами или отчаявшихся сделать какую бы то ни было карьеру. Они сочинят водянистую дребедень с дутыми цифрами, нелепыми ссылками и искаженными чужими мыслями, и поток этой совершенно бессодержательной трепотни двинется вверх. На каждом этапе он будет усовершенствоваться путем выбрасывания фраз, которые можно было бы истолковать иначе, добавления фраз, которые невозможно истолковать ни так ни иначе, замены острых формулировок более обтекаемыми, округления цифр. Огромная армия всякого рода деятелей с большими и малыми окладами разъедется по закрытым дачам, санаториям и командировкам. Полгода минимум материалы будут ходить вверх и вниз на доработку и после доработки. Наконец отпечатанный большими буквами и с расставленными ударениями текст ляжет на стол Заведующего. Референты при этом приложат текст замечаний, которые Заведующий должен сделать по докладу, и после санкции Заведующего текст доклада двинется опять вниз на доработку. Правда, на сей раз просто его выкинут, так как окончательный вариант доклада с учетом замечаний Заведующего, уже подготовленный для прочтения, давно лежит в соседней комнате у Помощника по этой линии. Когда представится подходящий случай, Заведующий после нескольких репетиций зачитает доклад, перепутав все ударения и исказив многочисленные иностранные слова. И доклад станет документом величайшей исторической важности. Он будет издан в трех томах с иллюстрациями и комментариями. В журнале напечатают статьи с разъяснениями, откликами, восторгами, обещаниями и, разумеется, с критикой тех, кто ошибается и не понимает. Претендент напишет передовицу со ссылками на Заведующего, Заместителей и Помощников в пропорции 50-10-1 на каждой странице. Нас заставят изучать доклад в созданной для этого сети. И тогда мы поймем, что мы сделали, что должны сделать и что не должны делать ни в коем случае. Член сказал, что это, конечно, фельетон. Даже он пишет свои работы сам. Болтун сказал, что потому Член и получает регулярно по мозгам. Если бы он последовал примеру Заведующего, то его брошюры можно было бы массовым тиражом обнаружить в любом сортире. Шизофреник сказал, что в схеме Болтуна нет ничего фельетонного, ибо в массовом исполнении величайшая мудрость совпадает с величайшей глупостью. Так что с точки зрения конечного результата совершенно безразлично, будут сочинять доклад выдающиеся умы или выдающиеся дегенераты. А так как последние по ряду известных всем причин предпочтительнее первых, то пишут доклады именно они, и потому доклады получаются более умными, чем если бы их сочиняли выдающиеся умы.

Завтрак у претендента

Вечером состоялся завтрак у Претендента, сыгравший выдающуюся незаметную роль в ибанской истории. На завтраке присутствовали Социолог с Супругой и Мыслитель без супруги, которую он бросил сразу же после того, как обнаружил хлопотность и суетность семейной жизни. Претендент брал сочные куски чуть зажаренного кровавого мяса из закрытого распределителя, кидал их в широко разверстую пасть и жрал с видимым наслаждением. Претендент разглагольствовал. Причем с таким расчетом, чтобы его слышали все желающие слушать и подслушивать и не могли не слышать не желающие это делать и даже желающие это не делать. Свои речи он заливал заграничными винами, приобретенными во время многочисленных командировок и в виде подарков по принципу необычности и яркости для ибанского глаза бутылок, содержащих противную жидкость, которую Претендент не любил и вместо которой наедине со своей страшной женой и нечистой совестью предпочитал обыкновенный «сучок». С этими мерзавцами и негодяями пора кончать, орал Претендент, а то эти невежды и реакционеры снова установят свои порядочки. Наш долг. Мы обязаны. Возглавить деловых и мыслящих. Социолог хватал сочные хорошо прожаренные куски мяса из закрытого распределителя, запихивал их в широко разверстую пасть, путаясь в бороде, и жевал с видимым пренебрежением. Он сам любил разглагольствовать на передовые темы и не терпел, когда ему в этом препятствовали. Потому он мучительно переживал невозможность высказаться, ибо Претендент пресекал всякие попытки собеседников вставить в разговор хотя бы одно словцо. Он с видом знатока разглядывал вычурные бутылки на свет, щелкал языком и пил в невероятном количестве и в любых комбинациях. Этот мальчик далеко пойдет, думал он о Претенденте. Хватка волчья. Я знаю, куда он метит! Что же, шансы у него, несомненно, есть. Если ему помочь, то позиции левой мыслящей ибанской интеллигенции сильно укрепятся. И Социолог согласно кивал головой. Супруга брезгливо брала пухлыми короткими пальчиками с острыми когтями средне поджаренные куски мяса из закрытого распределителя, аккуратно опускала их в широко разверстую пасть и стремительно пожирала. Она больше Социолога и Претендента любила разглагольствовать и имела на это полное право, ибо превосходила силой интеллекта всех присутствующих, кроме Мыслителя, в чем она последнее время после защиты своей диссертации стала сильно сомневаться. И потому она больше всех страдала от нахальства Претендента, который ее просто игнорировал как глупую гусыню. Претендент, думала она, хам и невежда. Но в нем есть целеустремленность и понимание ситуации. И связи. Он, конечно, начитан. И, в общем, он на голову выше тех исчадий прошлого. Те — просто уголовники. Лучшей кандидатуры, чем Претендент, пожалуй, у нас нет. И главное — он Наш. Мыслитель брал почти сырые куски мяса из закрытого распределителя мощной волосатой лапой с грязными ногтями, отправлял их в широко разверстую пасть и неторопливо жевал его с видом человека, делающего всем одолжение. Мыслитель был невероятно умный человек и понимал, что Социолога и Супругу лучше не перебивать, так как они несут обычно чушь, а с Претендентом надо разговаривать жестами. Он всей своей могучей лысиной источал полное понимание мыслей Претендента и согласие с ними. Этот подонок недурно устроился, думал Он. Что же, такова жизнь. В этом мире только бездари и проходимцы процветают. Кстати, не забыть у него пару сотен занять. Мыслитель давно был должен Претенденту кучу денег, но сегодня ему деньги нужны позарезу. Надо отдать сто рублей за икону, которую он подарит итальянке, которая привезла ему в подарок вельветовые штаны и с которой он рассчитывал переспать, и отдать сто рублей за икону, которую он подарит француженке, которая привезла ему носки и которая рассчитывала переспать с ним. Великолепное мясо, сказал Мыслитель, когда Претендент умолк на мгновение, чтобы всунуть указательный палец между зубами и выковырять застрявший кусок. Претендент сказал, что ему это положено. Кстати, он говорил с Помощником. Мыслителя возьмут т м на полставки. Распределитель у них не хуже. Ты не смотри, что у них вывеска неприличная. Там умнейшие люди сидят. Там тебе разрешат говорить такое, за что в любом другом месте дадут по

шапке. Они же готовят людей не для нас, а для них. И уровень, само собой разумеется, должен быть выше. Зато ездить будешь. Они всех сотрудников с языками посылают лекции читать. Я думаю, перескочил Претендент на прерванную тему, надо привлечь чистоплюев. Для пользы дела. Прежде всего, Клеветника. За ним целая школа тянется. Человек он, конечно, себе на уме, но все-таки фигура. Надо будет его выдвинуть в академики. Супруга сказала, что Клеветник заслужил. Но не надо забывать о том, что есть и другие. Не хуже. А может быть, и получше. И помоложе. Вот у Мыслителя статью перевели. У меня брошюра выходит. Хотя брошюра считается популярной, мне удалось в ней провести ряд интересных мыслей по диалектике общего и отдельного и здорово зацепить Секретаря. Социолог перебил Супругу. В конце концов что такого особенного Клеветник? Если бы сделал что-то значительное, об этом все бы знали и ссылались. Но никто же ничего не знает и не понимает. Да и ссылок не так уж много. И, судя по всему, они идут на спад. Мыслитель сказал, что Клеветник не так уж наивен и бескорыстен в житейских делах. За переводы его книг ему валюту шлют. Все они только прикидываются овечками, сказал Претендент, а на самом деле рвут, где могут. Я тут совершенно случайно узнал, что он попытался пропихнуть в Издательстве очередную книжонку. За гонорар, конечно. Если бы не случай, могла бы проскочить. Хотя все знали, что в этом Издательстве гонорар не платят, все наперебой стали вычислять гонорар, который мог бы отхватить Клеветник за ненужную и непонятную книжонку.

Перед уходом Мыслитель небрежно попросил у Претендента триста рублей до получки. Знаем мы эту получку, подумал Претендент. Но деньги дал и тем самым зажал Мыслителя в кулак на три сотни крепче. Лежа в кровати, Претендент говорил своей жене, что с идеей выдвижения Клеветника он поторопился. Клеветник — фигура, время сейчас неопределенное, вдруг проскочит. Тогда-то он с нами церемониться не будет. Всем шею свернет. Он всех нас считает дураками и проходимцами. Нет, нас не проведешь. Надо поговорить с Академиком. Этот хитрый маразматик подыхает от зависти к Клеветнику. Он провалит его в два счета.

Социальные законы

Принято думать, писал Шизофреник, что человеческое общество есть одно из самых сложных явлений и что по этой причине его изучение сопряжено с необычайными трудностями. Это заблуждение. На самом деле с чисто познавательной точки зрения общество есть наиболее легкое для изучения явление, а законы общества примитивны и общедоступны. Если бы это было не так, общественная жизнь вообще была бы невозможна, ибо люди живут в обществе по этим законам и по необходимости осознают их. Трудности в изучении общества, разумеется, есть. Но они далеко не академической природы. Главное в понимании общества — понять, что оно просто в деталях и сложно лишь как нагромождение их огромного числа, решиться сказать по этому поводу правду, признаться в банальности своих мыслей, сбросить сложившуюся систему предрассудков и ухитриться сделать свои мысли широко известными. Есть одна трудность познавательного порядка. Это — невозможность дедукции из-за избытка информации, из-за обилия исходных понятий и допущений, из-за ничтожного числа выводимых следствий, из-за практической ненадобности дедукции. Это действует удручающе на современного ученого человека, которому голову забили идеями математизации, формализации, моделирования. И самые примитивные из законов общества — законы социальные.

Когда говорят о социальных законах, обычно говорят о государстве, праве, морали, религии, идеологии и прочих общественных институтах, регулирующих поведение людей и скрепляющих их в целостное общество. Однако социальные законы не зависят в своем происхождении от упомянутых институтов и не касаются их взаимоотношений и функционирования. Они лежат совсем в ином разрезе общественной жизни. Для них совершенно безразлично, что объединяет людей в общество. Они так или иначе действуют, раз люди на достаточно длительное время объединяются в достаточно большие группы. Упомянутые выше институты сами живут в соответствии с социальными законами, а не наоборот.

Социальные законы суть определенные правила поведения (действия, поступков) людей друг по отношению к другу. Основу для них образует исторически сложившееся и постоянно воспроизводящееся стремление людей и групп людей к самосохранению и улучшению условий своего существования в ситуации социального бытия. Примеры таких правил: меньше дать и больше взять; меньше риска и больше выгоды; меньше ответственности и больше почета; меньше зависимости от других; больше зависимости других от тебя.

Социальные законы не фиксируют явно вроде правил морали, права и т. п. по причинам, о которых нетрудно догадаться и о которых специально скажу дальше. Но они и без этого общеизвестны и общедоступны. Легкость, с какой люди открывают их для себя и усваивают, поразительна. Это объясняется тем, что они естественны, отвечают исторически сложившейся природе человека и человеческих групп. Нужны исключительные условия, чтобы тот или иной человек выработал в себе способность уклоняться от их власти и поступать вопреки им. Нужна длительная кровавая история, чтобы в каком-то фрагменте человечества выработалась способность противостоять им в достаточно ощутимых масштабах.

Социальным правилам поведения люди обучаются. Делают они это на собственном опыте, глядя на других, в процессе воспитания их другими людьми, благодаря образованию, экспериментам. Они напрашиваются сами собой. У людей хватает ума открыть их для себя, а общество поставляет людям гигантские возможности для тренировок. В большинстве случаев люди даже не отдают себе отчета в том, что они проходят систематическую практику на роль социальных индивидов, осуществляя обычные с их точки зрения житейские поступки. И они не могут этого избежать, ибо, не обучившись социальным правилам, они не могут быть жизнеспособными.

Хотя социальные законы соответствуют природе человека и групп людей (естественны), люди предпочитают о них помалкивать или даже скрывают их (подобно тому, как они прячут грязное белье и закрываются в туалете, справляя свои естественные потребности). Почему? Да потому, что прогресс общества в значительной мере происходил как процесс изобретения средств, ограничивающих и регулирующих действие социальных законов. Мораль, право, искусство, религия, пресса, гласность, публичность, общественное мнение изобретались людьми в значительной мере (но не полностью, конечно) как средства такого рода. И хотя они, становясь массовыми организациями людей, сами подпадали под действие социальных законов, они так или иначе выполняли и выполняют (там, где они есть) антисоциальную роль. Социальный прогресс общества был прежде всего прогрессом антисоциальности. Людей веками приучали облекать свое поведение в формы, приемлемые с точки зрения морали, религии, права, обычаев, или скрывать от внешнего наблюдения как нечто предосудительное. И неудивительно, что социальные правила поведения представляются им как нечто по меньшей мере неприличное, а порой даже как преступное. Более того, люди индивидуально формируются так, что социальные правила для них самих выступают лишь как возможности, которых могло и не быть. Если человек совершает поступки по этим правилам и осознает это, то очень часто он при этом проходит через психологические конфликты и колебания и переживает происходящее как духовную драму. Примеры людей, которые оказались способными пойти наперекор социальным законам и благодаря этому стали предметом величайшего уважения граждан, еще более укрепляют в мысли о том, что эти законы отвратительны, а точнее говоря — что это вовсе не законы, а что-то противозаконное. Наконец, примеры обществ, в которых социальные законы в силу разрешения морали, религии, правовых норм, гласности приобретали ужасающую роль, довершают мистификацию реального положения дела и воздвигают непреодолимую преграду истине — поразительный пример зла, творимого людьми из лучших побуждений. Впрочем, и здесь лучшими побуждениями прикрываются, как правило, негодяи.

Социальные законы всегда на виду, и здесь бессмысленно ожидать

открытий вроде открытия микрочастиц, хромосом. Открытием здесь может быть лишь фиксирование очевидного и общеизвестного в некоторой системе понятий и утверждений и умение показать, как такие тривиальности выполняют роль законов бытия людей, — показать, что нашей общественной жизнью управляют не благородные титаны, а грязные ничтожества. В этом основная трудность познания последней.

Когда все же говорят о тех или иных социальных законах, то их, как правило, лишают статуса общечеловеческих законов и рассматривают в качестве бесчеловечных законов какого-то изма. Полагают при этом, что в каком-то другом благородном изме им нет места. Но это — ошибочно. Во-первых, в них нет абсолютно ничего бесчеловечного. Они просто таковы на самом деле. Они ничуть не бесчеловечнее, чем законы содружества, взаимопомощи, уважения. Противопоставление концепции злых и добрых социальных законов вообще с научной точки зрения лишено смысла, ибо они суть зеркальные отображения друг друга, изоморфны по структуре и эквивалентны по следствиям. Возьмем, например, принцип концепции злых социальных законов «Всякий человек А стремится ослабить социальные позиции другого человека В (при прочих постоянных условиях)». Эквивалентным ему является принцип концепции добрых социальных законов. «Всякий человек В стремится усилить социальные позиции другого человека А». Только при условии смешанных концепций можно избежать этого эффекта. Но смешанные концепции исключают здесь возможность научного подхода и построения теорий. Другими словами, примем мы концепцию, согласно которой зло необходимо, а добро случайно, или противоположную концепцию, согласно которой добро необходимо, а зло случайно, мы тем самым не решаем вопроса о том, что чаще встречается, зло или добро, а указанные концепции сами по себе обе не объясняют ни того, ни другого, а значит, в равной степени могут быть использованы для объяснения того и другого. А во-вторых, человечный или бесчеловечный изм сложится в какой-то стране, зависит не от социальных законов как таковых, а от сложного стечения исторических обстоятельств, и в том числе — от того, сумеет или нет население данной страны развить институты, противостоящие социальным законам (нравственные принципы, правовые учреждения, общественное мнение, гласность, публичность, прессу, оппозиционные организации). Лишь в том случае, если ничего подобного в обществе нет или это развито слабо, социальные законы могут приобрести огромную силу и будут определять всю физиономию общества, в том числе — определять характер организаций, по идее призванных ограждать людей от них. И тогда сложится особый тип общества, в котором будут процветать лицемерие, насилие, коррупция, бесхозяйственность, обезличка, безответственность, халтура, хамство, лень, дезинформация, обман, серость, система служебных привилегий. Здесь утверждается искаженная оценка личности — превозносятся ничтожества, унижаются значительные личности. Наиболее нравственные граждане подвергаются гонениям, наиболее талантливые и деловые низводятся до уровня посредственности и средней бестолковости. Причем не обязательно власти делают это. Сами коллеги, друзья, сослуживцы, соседи прилагают все усилия к тому, чтобы талантливый человек не имел возможности раскрыть свою индивидуальность, а деловой человек — выдвинуться. Это принимает массовый характер и охватывает все сферы жизни, и в первую очередь — творческие и управленческие. Над обществом начинает довлеть угроза превращения в казарму. Она определяет психическое состояние граждан. Воцаряются скука, тоска, постоянное ожидание худшего. Общество такого типа обречено на застой и на хроническое гниение, если оно не найдет в себе сил, способных противостоять этой тенденции. Причем это состояние может длиться века. Я знаю одного девяностолетнего туберкулезника и язвенника, но его не назовешь здоровым человеком на том основании, что он прожил девяносто лет, а его одногодки-здоровяки давно загнулись. И если мне придется закончить свой жизненный путь, не прожив и половины возраста этого человека, его жизни я все равно не позавидую.

Начало

Группа арестантов, состоящая из Клеветника, Уклониста и Убийцы, возглавляемая Старшиной и замыкаемая двумя караульными с учебными винтовками, в которых были просверлены дырки, чтобы из них нельзя было стрелять, двинулась в путь на гарнизонную губу. Маршрут пролегал через площадь Вождя, по улицам его выдающихся соратников, затем по улицам его великих предшественников, наконец, по улице самого Вождя, которая упиралась прямо в здание губы. По дороге состоялась беседа, которая заслуживает упоминания как памятник духовной жизни интеллигенции той эпохи. Клеветник сказал, что он только пошутил, Уклонист сказал, что и не за такие шутки к стенке ставят. Убийца сказал, что рано или поздно все там будем и еще неизвестно, что лучше, рано или поздно. Один караульный сказал, что прежде, чем болтать, думать надо. Уклонист сказал, что думать не надо и прежде, ибо если человек думает, то он обязательно болтает. Другой караульный сказал, что выпендриваются тут всякие, а потом из-за них другим попадает. Убийца сказал, что попадает всегда другим, но караульный может не беспокоиться, так как он не другой, а именно тот самый, что нужно. На губе мест свободных не оказалось. И в силу необходимости смутная идея создать собственную губу превратилась в актуальную проблему — факт, лишний раз подтверждающий старую философскую истину: даже у нас ничто не происходит без достаточного основания. Кто первый публично высказал эту идею, теперь невозможно установить, ибо она, как и всякая великая идея, выражающая назревшие потребности общества, носилась в воздухе. Начальник Школы сказал, что мы не хуже других. Сотрудник дал этой идее всестороннее научное обоснование. Воплощение идеи в жизнь возложили на Старшину. Тот произнес по этому поводу длинную речь, состоящую в основном из идиоматических выражений на тему, где он вам возьмет помещение и людей для нового поста. Уклонист сказал, что речь Старшины — чистая риторика, ибо в здании Школы можно разместить не один десяток гауптвахт и полностью укомплектовать их арестантами и караульными. Убийца добавил, что человечество, как учит история, никогда не испытывало принципиальных затруднений при организации тюрем. В обсуждение проблемы помещения для губы включился весь личный состав Школы. Школа раскололась на два непримиримых лагеря — Курортников и Каторжников. Курортники настаивали на том, чтобы разместить губу в теплой, сухой, светлой и просторной комнате рядом с кухней. Каторжники придерживались диаметрально противоположной точки зрения и кивали на залитый водой подвал под караульным помещением. Убийца привел аргумент, решивший спор в пользу Курортников: губа — надстройка общества, и помещать ее в подвал — грубая идеологическая ошибка. Старшина примкнул к Курортникам, первый и последний раз в жизни впав в гнилой буржуазный гуманизм великих французских просветителей восемнадцатого века. Осознав, он захотел исправиться. Но благодаря тому, что у нас легче (но нелегко) сделать заново, чем переделать сделанное (в особенности — плохо сделанное), губу организовали в соответствии с чаяниями Курортников. Комнату очистили от новых моторов для старых машин, снятых с вооружения за десять лет до поступления их в Школу, но еще не рассекреченных, сколотили нары и поставили «буржуйки». На открытие губы прибыли чины Школы и Гарнизона, а также вольнонаемные работники кухни. Командир Гарнизонной Бани произнес речь, которую никто не слушал, но все запомнили. Потом присели на нары, как полагается перед дальней дорогой. Захватив в Красном уголке табуретку и подшивку газет, Клеветник, Уклонист и Убийца отправились на вновь открытую губу. Сотрудник поздравил их с новосельем. Губа начала свое историческое бытие. После ухода начальства Убийца запер дверь ножкой от табуретки, остатки которой вместе с подшивкой тут же сожгли в буржуйке.

Углы альфа, углы бета.
На черта теперь все это!

(Из «Баллады»)

Новое пополнение

Возникнув как проявление исторической необходимости, гауптвахта стала оказывать обратное воздействие на жизнь Школы. Она стала мощным орудием воспитания нового человека. Едва Убийца успел всунуть ножку табуретки в скобку, как в дверь постучали и на губе появился Патриот, отличник боевой и политической подготовки курсант Ибанов. Он с порога доложил, что получил десять суток за рапорт об отправке на фронт, но не видит в этом никакой логики, так как из Школы отчисляют на фронт пятьдесят человек, не имеющих к тому никакого желания. Уклонист заметил, что в этом как раз и проявляется железная логика законов общества, ибо по этим законам судьбой Патриота заведует высшее начальство, а не он сам, и, подавая рапорт, Патриот выступил против этого закона, проявив намерение распорядиться своей судьбой по своей воле, и получил по заслугам. Но, продолжал Уклонист, Патриот принес жертву не зря. В глазах начальства он засвидетельствовал себя истинным патриотом. И теперь он может спокойно отсиживаться в тылу. Совесть его чиста — он, можно сказать, почти что побывал на фронте. И на фронт его теперь пошлют лишь в крайнем случае, когда посылать туда будет уже некого. Патриот выслушал речь Уклониста с полным презрением фронтовика к Тыловой Крысе, и через пять минут он уже дрыхнул на нарах, отравляя атмосферу с такой ужасающей силой, что не оставалось никаких сомнений: он только что сменился из кухонного наряда. Как сказано в «Балладе»:

Горе тем, кто ляжет рядом
С нашим кухонным нарядом.
С громом пушечным и свистом
Будет заживо обдристан.

Вслед за Патриотом пришел Пораженец — курсант Ибанов, поднявший по дороге на аэродром листовку, которую сбросил бог весть как залетевший в такой глубокий тыл вражеский самолет. Пораженец был в невменяемом состоянии и тупо твердил, что он сделал это чисто механически и листовку не читал. На это Убийца заметил, что необдуманные импульсивные поступки выражают скрытую сущность личности и что Специальному Отделу и тем более Трибуналу это отлично известно. Пораженец наделал в штаны и без сознания упал рядом с Патриотом. Клеветник сказал, что стремление хватать есть самое изначальное и фундаментальное качество человека. У этого парня, очевидно, очень высокий коэффициент хватки. Не произойди этот идиотский случай с листовкой, он мог бы сделать завидную карьеру. Вряд ли, сказал Уклонист. В общественной карьере больше преимуществ дает средняя норма абсолютно во всем, а не ее превышение. У нас командир взвода был блестящий строевик. Начальство в глубине души считало его пижоном и дало прозвище «Балерун». Именно поэтому его не назначили на вакантную должность командира роты.

И тут же прибыл Паникер — курсант Ибанов, прославившийся на всю Школу тем, что сначала говорил, а потом не думал. Во время политинформации, на которой сообщили о том, что наши войска, понеся огромные потери противнику, с боями оставили города А, Б, В, Г... он ляпнул нечто крайне невразумительное: «Ура! Противник в панике бежит за нами». Смысла фразы никто не понял, хотя смеялись все. Политрук, вытерев выступившие от смеха слезы и сказав «Вот хохмач!», на всякий случай, впредь до выяснения, отправил Паникера на своевременно открывшуюся губу. Старшина выделил трех человек караулить губу. Все они вместе с Паникером завалились на нары. Дверь опять заперли, но уже штыком, так как ножку от табуретки по неосторожности сожгли.

Достоинства и недостатки губы

Лишь начнут глаза слипаться,
Как уж нужно подниматься.
В коридоре свет потух.
И дневальный, как петух,
Прокричал «Подъем!»

(Из «Баллады»)

Услыхав вопль дневального запасной роты «Подъем!», арестанты проснулись, но, вспомнив о своем привилегированном положении, продолжали добирать. Обнаруживались преимущества губного образа жизни. Подтверждалась философская истина о взаимопереходах и взаимопревращениях свободы и несвободы. Несвобода, как и должно быть в подлинной исторической драме начиналась с облегчения и соблазна. Во-первых, не нужно заправлять койку, ибо койки нет. Во-вторых, не нужно бежать на физзарядку на улицу в любую погоду. В-третьих, не нужно идти в Учебно-Летный Отдел (УЛО) изучать науки. Однако даже губа имеет недостатки. Во-первых, жратва. Во-вторых, работа. Поскольку затраты энергии на работу обратно пропорциональны степени несвободы, работа на губе родственна курортному времяпровождению. Но поскольку степень неприятности работы обратно пропорциональна степени свободы, работа на губе родственна каторге. Арестантам губы достаются общественно презираемые формы труда. Уже с раннего утра пронесся слух, будто принято решение сломать старый сортир и на его месте соорудить новый. И на губе наступило уныние. Слух подтвердился. Именно к этому времени даже начальству, имевшему свой отапливаемый сортир, стало ясно, что старый сортир уже не может удовлетворить возросшие потребности общества и превратился в тормоз его дальнейшего неуклонного движения вперед. Как говорят философы, содержание перестало соответствовать форме. Был построен личный состав. Заместитель зачитал речь. Тогда бумажка только еще была открыта как основной элемент начальственного красноречия и произвела на курсантов ошеломляющее впечатление. Заместитель привел многочисленные примеры героизма на фронтах и в тылу и призвал следовать примеру этих примеров. Начальник скомандовал: «Добровольцы! Два шага вперед!» Но произошло непредвиденное: добровольцев не оказалось. Еще часа три после этого курсантов продержали на морозе. Выступили все высшие чины Школы, даже такие, о существовании которых не подозревали. Перспектива заработать кличку «золотарик» была настолько страшна, что не помогло обещание выдать по пять пачек махорки на человека и увольнительную на трое суток. Трудно сказать, чем бы кончилась эта история, если бы не вспомнили о губе. Начальнику идея использовать арестантов пришлась по душе, и он приказал командирам подразделений выделить еще по паре арестантов. К обеду губа была переполнена сверх всякой меры. Сотрудник после этого всесторонне обосновал тезис, согласно которому губа есть форма организации труда, ничуть не противоречащая светлым идеалам. В сортирный призыв (как выразился Патриот, быстро освоившийся с губой и чувствовавший себя на ней как дома) попали Литератор, Интеллигент, Мерин, Сачок, Мазила и Сослуживец. Имена остальных история не сохранила за ненадобностью.

Дискуссия о свободе

Арестанты воткнули в снег ломы и лопаты и забились в сортир. От дыма махорки скоро стало нечем дышать, но зато стало немного теплее и намного уютнее. Начали «травить баланду». Незаметно втянулись в дискуссию о том, что такое свобода — проблема для арестантов наиболее актуальная. Вели дискуссию по всем канонам научной дискуссии: каждый кричал что-то свое и не слушал других. Взаимонепонимание полное. Концепция Клеветника: свобода есть познанная необходимость, как учили нас классики, и хотя мы сидим в сортире, не следует об этом забывать, мы же все имеем среднее образование, а многие даже высшее и незаконченное высшее. Концепция Убийцы: Клеветник несет чушь; если тебя, к примеру, посадили на губу и ты понял неизбежность этого, то ты, выходит, свободен; свобода есть как раз, наоборот, не необходимость, а обходимость; а познанная или непознанная, кто ее знает; непознанная отчасти лучше; пока начальство не пронюхало, например, что можно обойти проходную и безнаказанно смыться в самоволку, мы хоть иногда свободны. Концепция Патриота: мы — самые свободные люди за всю историю человечества. Концепция Паникера: свобода есть свобода каких-то действий; человек свободен осуществлять некоторое действие, если и только если осуществление этого действия им зависит исключительно от его собственной воли, т. е. ничто, кроме его воли, не вынуждает к данному действию и не препятствует ему; если, например, Патриот захочет сейчас покинуть сортир и никто

и ничто не будет ему мешать в этом, он свободен вылезти из сортира; если Убийца сунет Патриота в яму, то Патриот будет несвободен сделать это; все остальное — философский вздор. Концепция Уклониста оказалась наиболее законченной. Человек свободен осуществлять или не осуществлять какое-то действие лишь в том случае, если это зависит исключительно от его собственной воли. Но это не все. Это еще только начало. Вот, к примеру, свободен или нет курсант Ибанов сегодня после отбоя идти к бабе? Вроде бы оделся и пошел. И проблема решена. Однако Ибанов знает, что это запрещено. И если он все же пойдет в самоволку и попадется, ему не миновать губы. А то и похуже. Так что, говоря о свободе людей по отношению к тому или иному поступку, надо учитывать наличие или отсутствие официально установленного запрета на этот поступок. Надо учитывать и характер наказания за нарушение запрета: если наказание слишком слабое, с ним можно не считаться. Если имеется официально установленный запрет на поступки данного рода и наказание за его нарушение достаточно сильно, то человек официально не свободен по отношению к этим поступкам. Если при этом человек благодаря каким-то исключительным обстоятельствам может избежать наказания, он может оказаться фактически свободным по отношению к данным поступкам, будучи официально несвободным. Так, Литератор был фактически свободен по отношению к самоволкам, и если он сейчас здесь, то это — дело случая. Не будь проблемы сортира, все сошло бы. Бывают случаи, когда человек официально свободен, а фактически нет. Иногда бывает так, что недостаточно отсутствия запрета на поступок, а требуется еще официальное разрешение. Иногда и этого мало, требуется еще запрещение препятствовать осуществлению разрешенных или незапрещенных поступков. До сих пор я говорил об отношении отдельно взятого человека к отдельно взятому поступку. Но в общественной жизни встает проблема отношения множества людей какого-то рода к множеству поступков какого-то рода. Например, речь может идти об отношении курсантов Школы (а не отдельного курсанта) к множеству поступков, в которые входят походы к бабам и выпивка. Свободны или нет курсанты Школы совершать или не совершать походы к бабам и пьянки? Ответить на этот вопрос пока еще нельзя. Надо сначала ввести понятие степеней свободы и указать способ их измерения. В частности, степень свободы можно определить как величину, характеризующую отношение свободных человеко-поступков к общему числу человеко-поступков данного рода. Это будет величина в интервале от нуля до единицы. Степень свободы равна нулю, если для всех людей этого множества несвободны все поступки данного рода, и единице, если для всех людей этого множества свободны все поступки данного рода. Остальные случаи располагаются между этими крайностями. Эта схема все еще сильно упрощает реальное положение, ибо в ней все человеко-поступки принимаются как одинаково показательные и число их достаточно велико. А реально это не так. Реально люди имеют различную социальную ценность и величину. Иногда наличие свободы печатать свои сочинения для тысяч людей ничего не говорит о наличии свободы публикаций, а отсутствие свободы напечатать свой труд для одного человека является показателем отсутствия свободы публикаций. Иногда люди вообще не предпринимают попыток совершать поступки какого-то рода, хотя они официально не запрещены, или предпринимают настолько редко, что нельзя судить о наличии или отсутствии фактической свободы, ибо вообще нельзя измерить степень свободы. Но допустим, что есть способ измерения степеней свободы и условия для его применения. Теперь еще надо договориться, какая величина достаточна, чтобы признать наличие свободы или отсутствие таковой. Здесь возможны варианты. Например, в каких-то случаях возможно соглашение, когда для признания наличия свободы достаточно, чтобы ве. ина степени свободы была больше половины. Так что весьма возможно, что группа людей имеет высокую степень свободы в отношении поступков данного рода, а некто Ибанов при этом может быть несвободным. Добавьте к этому то, что в отношении разных множеств поступков могут быть разные степени свободы. Я назвал далеко не все аспекты проблемы. Но из этого должно быть ясно, что всякие общие разговоры на эту тему без достаточно точно определенной терминологии и строго установленных фактов лишены смысла. Вот вам в заключение задачка. Даны две страны А и В. И в той, и в другой разрешены туристические поездки граждан за границу. Вы хотите узнать, есть в них на этот счет фактическая свобода или нет. И вы располагаете такими данными. В стране А подано было сто заявлений, девяносто девять получили выездную визу, одного не выпустили. В стране В подано было за тот же срок пять тысяч заявлений, четыре тысячи пятьсот получили выездную визу, пятьсот человек не выпустили. Какая страна из А и В свободнее по отношению к туристическим поездкам за границу? Начался жуткий гвалт. Прежде всего выяснилось, что больше половины участников дискуссии никогда не слышали о заграничных туристических поездках и выездных визах. Позиция их четко обозначилась выражениями вроде «с жиру бесятся», «зажрались», «поработали бы в колхозе», «ты бы еще Луну сюда приплел», «это нас не касается» и т. д. Паникер резюмировал: дискуссия окончена, истина подохла в споре. Интеллигент сказал Уклонисту, что тот, в общем, прав, но упустил два наиболее важных аспекта: нравственный и гражданственный. Для высокоразвитого в гражданском отношении общества проблема свободы вообще имеет совсем иной смысл, чем для общества с неразвитой гражданственностью. В первом степень свободы определяется тем, в какой мере общество способно допустить фактическую свободу в отношении действий людей, считаемых оппозиционерами. Подошло время обеда, и арестанты поплелись на губу, разбудив караульного, который всю дискуссию проспал, сидя на толчке.

Конгресс

После реабилитации и разрешения бывшей реакционной буржуазной псевдонауки логии в Ибанске за два месяца сложилась дружная и сплоченная семья передовых логов и превзошла всех. На состоявшийся летом международный курортный конгресс Ибанск смог поставить крупнейшую в мире делегацию из тысячи человек, что неоспоримо свидетельствовало о преимуществах нашей системы.

В качестве докладчика на конгресс был приглашен Клеветник. После многочисленных дискуссий его временно включили в делегацию. Но в последний момент выкинули, так как в связи с обострением доклад вместо Клеветника решил сделать сам Академик. Помимо Академика, Претендента, Социолога, Мыслителя, Супруги, Литератора, Художника, Сотрудника, Инструктора, а также их близких родственников, дальних знакомых и подчиненных молодых сотрудниц, в делегацию включили сотрудников, знающих языки, и сотрудников, которые должны были следить за правильным поведением остальных. По прибытии на место выяснилось, что языки знал один Мыслитель, да и то совсем не те, какие были тут нужны, а те, какие тут были не нужны. Правда, надо отдать ему должное, знал он их вполне прилично. Перед поездкой всем сделали рентген и укол. Велели купить водки для дружеской атмосферы. Потом делегацию разбили на две части и велели каждой из них присматривать за другой. Главное, говорил инструктировавший делегацию Помощник, вилку и ножик держите в левой руке, а котлету в правой. Ни с кем не общайтесь без ведома. Не заводите несогласованных разговоров. Давайте отпор и отповедь. Помните, кто вы, откуда вы, где вы, зачем вы. Успех делегации превзошел все ожидания. Было сделано пятьсот разоблачительных докладов, восемьсот погромных выступлений, пять тысяч критических замечаний, двадцать тысяч обескураживающих реплик. Противник пришел в полное замешательство, расстроил свои ряды и, раздираемый внутренними непримиримыми противоречиями, бросился пересматривать свои позиции. Сэкономив на желудке, делегация закупила пятьсот псевдозамшевых пиджаков, юбок и пальто и полторы тысячи штанов в обтяжку с кожаными заплатками и непонятной надписью «Маде заграницей». Мыслитель, посетивший на правах исключительной личности предосудительные заведения, привез две колоды игральных карт с изображениями голых женщин всех национальностей, кроме наших. В дороге он показывал картинки молодым сотрудницам и спрашивал их, поглаживая доброй, мягкой рукой выше коленки и глядя в упор умными грустными глазами, где тут пресловутая порнография. Впечатление было ошеломляющее, и авторитет Мыслителя как выдающегося мыс-

лителя сильно укрепился. Одну колоду Мыслитель подарил потом супруге Претендента. Клеветнику привезли приветы коллег и сожаления по поводу того, что он, как всегда, по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам не смог присутствовать на конгрессе.

Похищение Фердинанда

После обеда захотелось есть. И тогда Сачок предложил похитить самую мощную кастрюлю со вторым, называемую «Фердинанд». План похищения был гениально прост: двое арестантов заходят на кухню, снимают кастрюлю с плиты и уносят. Если заметят, что исключено по законам психологии, отделаемся шуткой. Караульного можно подкупить кашей, но лучше отвлечь. Так и сделали. Мазила, Литератор и Патриот затеяли «очко» на жратву, Караульный клюнул на это, ему дали выиграть компот, и он забыл обо всем на свете, просадив затем обеды на три дня вперед. Убийца и Паникер спокойно унесли «Фердинанд» с плиты, и никто не обратил на это внимания. Когда пропажу обнаружили, Школа пришла в невероятное возбуждение. Сотрудник первым делом направился к ним. Понюхав гнусную атмосферу губы и поглядев пристально в глаза каждому, он понял, что уже поздно. Операция «Фердинанд» была одной из самых славных страниц в истории Школы. Когда Сослуживец несколько десятков лет спустя встретил одного бывшего курсанта Школы, то единственное, что тот помнил о Школе, была история с «Фердинандом».

Беседа о светлом будущем

Нажравшись до отвала шрапнели, арестанты некоторое время молчали, опьяненные непривычной сытостью, потом стали рассказывать похабные несмешные анекдоты, от которых надрывались от хохота («Один солдат пошел в город по увольнительной и на всякий случай привязал член к ноге; в результате он простоял до вечера на одной ноге на перекрестке»), и правдивые истории, в которые никто не верил («У нас один солдат поставил вместо себя на пост покойника из морга, а сам ушел в самоволку»). Кончили задушевной беседой о светлом будущем. Пораженец сказал, что тогда всем будет хорошо, жрать будут от пуза, губы не будет, к бабам будут отпускать каждую неделю. Паникер сказал, что у Пораженца чисто потребительский подход, что на самом деле изм — это прежде всего высокая сознательность, чтобы не лопали по две порции, и Сачку там придется худо. Интеллигент сказал, что будут введены научно разработанные нормы потребностей. Приходишь в кабинет нормирования потребностей, сдаешь десяток справок с печатями, заполняешь анкетку и получаешь талончики или вносишься в списочек особый. Потребности Пораженца, например, будут такие: обмундирование — хлопчатобумажное бывшее в употреблении рядового состава (ХББУРС), обувь — сапоги или скорее ботинки с обмотками широкие кирзовые армейские строевые (ШКАС), жратва — миска шрапнели три раза в день. Пораженец запротестовал, но его одернули: ешь, что дают. Мерин продолжал, развивая мысль Интеллигента. Для Сотрудника, Заместителя и прочих установят более высокий уровень развития потребностей: штаны синие шерстяные, сапоги хромовые, полкило колбасы и две миски гречневой каши. Сачок сказал, что со временем на каждом углу выставят котлы с картофельным пюре, — жри сколько хочешь. Мерин сказал, что для этого сознание должно достичь небывалого в истории расцвета. Уклонист добавил, что для этого нужен еще более высокий уровень производительных сил — атомная энергия, завоевание Космоса, Ибанючкинская ГЭС. Пораженец сказал, что всем будет хорошо, каждый будет выбирать занятие по своему вкусу. Паникер сказал, что на первых порах будут сочетаться обязательные занятия с добровольными. Пораженец, например, будет часов восемь чистить сортир, а в остальное время будет генералом-любителем. Только пока еще не установлено с полной ясностью, будут ли при этом золотари-любители и дадут ли генералы по обязанности солдат генерал-любителю. Неизвестно также, будут ли при этом солдаты-любители для генералов по обязанности. Патриот сказал, что армия отомрет и генералов не будет. Солдат тоже. Паникер сказал, что государством будут управлять кухарки. Мерин сказал, что тут ничего смешного нет. Во-первых, управление примет такие формы, что даже кухарки (если их, конечно, допустят) будут в состоянии выполнять любые государственные функции. А во-вторых, еще не известно, у кого интеллектуальный уровень выше, у кухарки или у иного государственного деятеля. Попробуй на гроши с парой ребятишек и с нашим снабжением свести концы с концами, так узнаешь, как надо шевелить мозгами. На это Патриот сказал, что государство отомрет, и рыгнул в физиономию Уклонисту, который по сему поводу брезгливо заметил, что отличительная особенность патриотов — жрут овес, а воняют так, будто лопают шашлыки и паюсную икру, и беседа прекратилась сама собой от наступившей скуки.

Социальный индивид

Социальный индивид, писал Шизофреник, это — отдельный человек, группа людей, объединение групп и даже целая страна. Элементарный социальный индивид (слово «социальный» буду для сокращения опускать) не расчленяется на два или более различных индивида (отдельно взятый человек). Сложный состоит из двух или более индивидов. Нормальный индивид имеет орган, с помощью которого он отражает и оценивает ситуацию, устанавливает, что лучше и что хуже для него и для других, предвидит ближайшие последствия своих поступков и поступков других людей. У человека это — мозг, а у групп людей — управляющие лица и организации, состоящие из людей. Назначение этого органа — обеспечить наиболее благоприятные условия существования индивида.

Я исхожу из допущения, что нормальный индивид (а таких — подавляющее большинство) правильно оценивает свое положение в обществе, свои возможности, внешние обстоятельства, ближайшие следствия своих поступков. Именно ближайшие, ибо этого достаточно для действия социальных правил. Предвидеть последствия поступков далеко (на много времени вперед) невозможно не столько из-за сложности ситуаций, сколько из-за принципиально непредвидимых обстоятельств. Да это и не нужно. Для социального бытия достаточно знать ближайшие последствия действий людей, и индивиды способны на это. Например, А знает, что если он донесет на В, то у В будут неприятности (снимут с заведования, не пустят на премию, отменят поездку за границу), и этого для А достаточно. Индивиды могут оказаться вследствие своих поступков в плохом положении, но рассматривать это как результат ошибок в социальном поведении нельзя. Индивиды с социальной точки зрения не делают ошибок. Понятие ошибки здесь неприменимо вообще. Если, например, в результате доноса А на В со временем из-за этого будут неприятности для А, то донос А не есть ошибка. Здесь А поступил в полном соответствии с каким-то социальным законом, и только. А к чему это привело, к закону как таковому отношения не имеет. Подобно тому, как стакан, упав на пол, разбивается. Но это не есть ошибка стакана. Это — результат действия физических законов, и только.

Социальный индивид, далее, обладает способностью принимать волевые решения, имеет свободу воли и выбора, по крайней мере в отношении некоторых действий. Например, индивид волен голосовать за принятие данной статьи к печати или против. Говоря о свободе воли в отношении к данному действию, я здесь имею в виду только следующее: осуществление или неосуществление данного действия зависит исключительно от сознания и воли самого индивида. Социальный индивид, далее, в каких-то пределах, достаточных для того, чтобы рассматривать его как целое, господствует над своим телом. Если это группа людей, то указанный признак означает, что руководящему лицу или организации подчиняются руководимые ими лица. Наконец, социальный индивид обладает стремлением к самосохранению, избегает ухудшения положения, стремится к улучшению условий существования и т. п. и предпринимает для этого какие-то действия. Задача социологии и состоит прежде всего в том, чтобы проследить правила, по которым эти принципы реализуются в общественной жизни. Другими словами, социальный индивид осуществ-

ляет свои действия в соответствии с принципами: 1) он добровольно и сознательно не делает ничего того, что противоречит его интересам; 2) если он безнаказанно (малое наказание не в счет) может использовать свое социальное положение в своих интересах, он его использует максимально. Так что взятки, принуждение подчиненных к сожительству и к соучастию в махинациях, очковтирательство с целью наживы, использование государственных средств в личных целях — все это (как и официально установленные привилегии в виде закрытых распределителей, машин, дач, брони на все виды услуг) суть естественные явления социальной жизни людей. И только страх разоблачения и наказания как-то удерживает (да и то до поры до времени и в малых масштабах) от возможных катастрофических последствий.

Указанные признаки входят в само определение термина «социальный индивид». Социальный индивид обладает также другими признаками. Это положение в обществе, сила влияния, степень защищенности, степень вредности (опасности) для окружающих, сила хватания (присвоения), сила отдачи, сила интеллекта, уровень нравственности, степень изворотливости, совесть. Все эти признаки можно точно определить, так что в результате часть из них окажется производной от других. Все эти признаки в принципе измеримы.

Что думает о себе сам индивид и что думают о нем другие, более или менее совпадает (во всяком случае, имеет место тенденция к совпадению). Для себя индивид может быть как угодно сложным и духовно богатым. С социальной точки зрения это играет скорее отрицательную роль для индивида, если духовное богатство выходит за рамки обычного или профессионального среднего. С социальной точки зрения индивид представляется как болванка без внутренней структуры с четко фиксируемыми формами и функциями. Социальный прогресс отчасти состоит в том, чтобы формировались индивиды, выполняющие более сложные функции, но имеющие более простое внутреннее (духовное) строение. Как думает индивид, вообще роли не играет. Важно, как он поступает. А поступает он по социальным правилам.

Социальный индивид не зол и не добр. Он просто обладает упомянутыми качествами в той или иной степени. Вопрос об измерении этих качеств не принципиален. Здесь можно предложить самые различные методы. Величины этих качеств индивидов заключены в определенные социально допустимые рамки (последние исторически преходящи, но в каждую эпоху достаточно определенны). Выход за эти рамки опасен как самому индивиду, так и тем, с кем ему приходится иметь дело. Чрезмерный ум, например, так же опасен с социальной точки зрения, как и чрезмерная глупость.

Всякий социальный индивид обладает социальным положением и официальным положением. Социальное положение индивида есть функция от многих параметров — занимаемый пост, престиж профессии, возможность иметь различного рода привилегии, связи, влияние. Официальное положение определяется занимаемой должностью и официальным статусом последней. Полного совпадения социального и официального положения нет, и в достаточно большом и дифференцированном обществе оно не может быть достигнуто практически. Однако в силу тенденции к совпадению официальности и социальности имеется тенденция установить соответствие и здесь. Это выражается, в частности, в стремлении установить такие нормы жизни, чтобы доходы, почет, слава определялись исключительно официальным положением индивидов (чтобы начальник имел лучше квартиру, чем подчиненный, выше зарплату, лучше дачу; чтобы академик считался более крупным ученым, чем член-корреспондент, а последний — чем простой доктор). Социальный индивид стремится улучшить свое социальное положение. С этой точки зрения все индивиды карьеристы, честолюбцы, стяжатели, но не всем удается добиться желаемого, а большинство с самого начала отдает себе отчет в безнадежности усилий и смиряется, что выступает как добродетель. И лишь единицы из тех, кто мог бы успешно участвовать в борьбе за социальный успех, находят в себе силы сознательно избрать иной путь. Впрочем, он тоже так или иначе рассчитан на какой-то успех.

Надо различать фактическую и номинальную социальную значимость индивида. Фактическая включает в себя социальные признаки индивида, а номинальная — своеобразный способ выразить их для каких-то случаев официального употребления индивида. Соотношение их можно проиллюстрировать на примере соотношения фактических признаков человека и характеристики, которую ему дают для поступления на работу, при выдвижении на награду, при оформлении документов на поездку за границу. Например, А — карьерист, хапуга, бабник, полуневежда, плагиатор. Все заинтересованные лица знают эту фактическую характеристику А. Номинальная его характеристика может иметь такой вид: морально устойчив, высококвалифицированный специалист, имеет учеников. Давая такую номинальную характеристику А, люди не лгут, а делают нечто иное. Они принятым в данной среде способом выражают лишь то, что А их устраивает, годится для такого-то дела. И ничего больше. Если в номинальной характеристике описать фактические качества А, то она будет воспринята не как объективная оценка его, а как свидетельство того, что А в чем-то провинился, его снимают с работы, считают, что он не годится и т. п. Вот когда действительно А в чем-то провинится и начинают говорить, что, мол, не знали его подлинного лица и проглядели, тогда лгут, ибо подлинное лицо социального индивида окружающие его лица, как правило, знают точно и исчерпывающим образом.

Проблема истины

Жизнь дана человеку один раз, сказал Литератор. Неизвестно, что будет с нами завтра. И пропадут наши наборные мундштуки, ножи и запасы сахара. Есть идея: устроить выпивон. У меня в городе есть баба знакомая, она все обделает. После получасовой дискуссии все выложили свои резервы, и один из караульных отправился вместе с Литератором к его бабе. Та сверх всего прочего подкинула мешочек домашних пышек. Выпивон получился необыкновенный. Такое единение людей им уже не пришлось видеть потом никогда. Патриот, успешно сачковавший на свободе за счет художественной самодеятельности, читал с выражением «Балладу». Особенно здорово у него получились места, посвященные караульной службе. Когда Патриот дошел до описания сцены смены караула, прибежал дежурный по роте и призвал к тишине. Уходя, он сказал: «Живут же люди!».

Смена боком, по кустам,
Разбрелася по постам.
Звезды на небе блестят.
В карауле мирно спят.
Вся земля кругом уснула.
Спит начальник караула.

Далее шла живописная сцена подготовки караула к встрече поверяющего, и глава заканчивалась так:

Поверяющий приходит
И порядочек находит.
Пишет в ведомости: «Тут
Службу бдительно несут.
Часовые на постах.
В карауле чистота».

Уклонист сказал, что это — типичный пример расслоения общества на информативно автономные группы. Представители таких различных групп живут вроде бы вместе. Даже жрут в одной столовой и ходят в один сортир. А того, что называют правдой или истиной, они друг о друге не знают и знать не могут. Знание правды в таких случаях социально наказуемо для всех, и потому все ее скрывают. Поверяющий не заинтересован в том, чтобы в части было Чрезвычайное Происшествие из-за того, что какой-то Ибанов дрыхнет на посту на бензоскладе, а Ибанов не заинтересован в том, чтобы его застукали за этим занятием. Правда в таких случаях вылезает наружу лишь в исключительных случаях, когда ее нельзя замять. И расценивается она не как общее нормальное положение дел, а как из ряда вон выходящее ненормальное исключение. Нормальная общественная жизнь сплошь состоит из таких сокрытий правды. Часовой сказал, что по его наблюдениям часовые почти всегда спят

на посту. Он, во всяком случае, спать начал с первого же раза. Он спал даже у полкового знамени. Неудобно было — ноги все время подкашивались, и винтовка имела тенденцию вывалиться из рук. Но все равно спал. И никогда не попадался. Тут, надо полагать, в хромосомах заложена какая-то программа: никто не учит, как нужно правильно спать на посту, а все сразу же умеют это делать. Перед войной он служил на самой границе. На соседнем посту стоял бдительный кретин и вовсю бодрствовал. Так его диверсанты прирезали. А он хорошо спрятался и уснул. Так его, оказывается, диверсанты не нашли, и он остался жив. Кто-то спросил, почему же он не проснулся. Часовой сказал, что врожденная программа, о которой он говорил, рассчитана лишь на своих — на разводящего, карнача, поверяющего. Мазила сказал, что можно установить на постах подсматривающие устройства, например, телевизор, и тогда не поспишь. Уклонист сказал, что это ничего не меняет, так как в качестве тайного средства телевизор недоказателен и подобен доносу, а в качестве официального средства он известен, и потому его можно обмануть. И потом, дело тут совсем не в технических возможностях наблюдения. Тут сказывается ситуация, в некотором роде противоположная ситуации в квантовой механике. В квантовой механике неизвестно, что происходит на самом деле, а утверждения об этом неизвестном можно доказать официально признанными методами. Тут же, наоборот, всем известно, что происходит на самом деле, а утверждения об этом невозможно доказать официально признанными методами. Вы что, не знаете разве, во сколько раз больше нас по стоимости потребляют сильные мира сего? А поди докажи. Мазила сказал, что у них был такой случай: бросали с парашютом, один курсант сдох в воздухе от страха, а когда хоронили, на гроб положили ленту с надписью «Безумству храбрых поем мы славу!». Интеллигент сказал, что надо учитывать переход правды во вранье, что, наверно, тоже заложено в генотипе. Вот, например, Литератор в будущем романе напишет: у сортира стояли ломы и лопаты, и это свидетельствовало о том, что тут работают. Но он умолчит о том, что работают плохо. А на самом деле, тут даже не столько работают, сколько плохо. Мерин добавил, что в обсуждаемой проблеме есть еще один аспект — оценочный. Старшина, например, для Сачка — зверь, а для себя — загнанная лошадь. Сачок для старшины — паразит, а для себя — жертва травли и несправедливости. Когда люди говорят о житейской правде, то имеют в виду не какую-то объективную и беспристрастную истину, а некую справедливость, да еще в своих сугубо личных интересах. Интеллигент как наиболее трезвый (он совсем не пил) сказал, что так ни до чего ясного не договоришься, и предложил прекратить разговорчики. А в общем-то спор пустой, а проблема примитивная, сказал он Мерину. Истина — то, что считается истиной.

Социальное действие

Социальное действие (поступок) есть действие индивида, обладающее такими признаками, писал Шизофреник. Это есть действие по отношению к другому индивиду или к другим индивидам, так или иначе затрагивающее их интересы. Во-вторых, это есть действие сознательное. Индивид при этом отдает себе отчет в том, к чему приведет его действие для определенных или каких-то индивидов. В-третьих, это есть действие свободное, т. е. индивид волен осуществлять или не осуществлять его. Наконец, индивид осуществляет это действие в своих интересах.

Уклонение от действия также может быть социальным действием. Действие индивида по отношению к себе является либо неявно действием по отношению к другим (к неопределенным, возможным, любым индивидам), и тогда оно есть социальное действие (например, самосожжение), либо индикаторным действием, имеющим целью показать окружающим, что из себя представляет индивид, определить свое лицо в глазах лиц, в которых индивид заинтересован. И в этом случае оно также есть действие по отношению к другим, т. е. социальное действие. К числу таких действий относятся часто встречающиеся действия, которые можно обозначить как действия «Я готов на все, что вам угодно», «На меня можно рассчитывать», «Я с вами не хочу иметь дела».

Обычно социальное действие сразу приносит результат и исчерпывает себя. Случаи, когда кажется, что действие осуществляется с перспективой на длительное время вперед (иногда — на годы), либо социальными действиями не являются, либо оцениваются как перспективные лишь постфактум, либо имеют неявные результаты, исчерпывающие их. Впрочем, этот вопрос для социологии интереса не представляет.

Что заставляет индивидов осуществлять те или иные социальные действия? Обычно в таких случаях говорят о целях и мотивах действий. Но я такой подход принципиально отвергаю как бессмысленный. Люди осуществляют социальные действия в силу социальных законов. И никакой более глубокой основы социальные действия не имеют. Что же касается целей и мотивов, то они относятся к действиям людей совсем в ином, несоциологическом плане, в частности — в психологическом. С точки зрения социологической, они суть лишь маскировка социальных законов для себя и других. Возьмем такой пример. Человек А выступает на собрании и критикует В. Для себя он мотивирует свой поступок как заботу о В, как желание помочь ему встать на путь истинный. Кто-то другой оценивает поступок А как заботу о себе (выслуживается перед начальством). Третий оценивает поступок А как желание причинить В зло. А что имеет место на самом деле? Никакого «на самом деле» нет, ибо есть и то, и другое, и третье. Остается только общепринятость оценок, последнее слово, отсутствие оспаривающих, безразличие. Понятие цели здесь также неопределенно и пусто. Цель социального действия — то, чего хочет индивид, осуществляя это действие. Но человек к себе относится часто как к постороннему наблюдателю и обманывает себя так же, как и окружающих. Кроме того, даже тогда, когда он осознает, что хочет причинить другим людям зло, он не отдает себе отчета в том, что относится к ним по социальному закону, заставляющему индивида делать все, чтобы ослабить социальные позиции своих собратьев. И, что есть его цель на самом деле, установить в принципе невозможно.

Если индивид в некотором социальном действии по отношению к каким-то индивидам использует другого индивида в качестве посредника или средства этого действия, то этот индивид выступает для него не как социальный индивид, а как любое другое средство (как нож, ружье, дубина). Его действие по отношению к нему не есть социальное действие (если, конечно, этот индивид есть только средство). Такого рода случаи образуют одно из неконтролируемых направлений возникновения неожиданных последствий социальных действий. В частности, желая причинить кому-то зло, индивид может причинить другому индивиду добро, используя его в качестве посредника, ибо в этом случае поступок совершается не по социальным законам.

Люди совершают огромное число социальных действий. Последние различаются по степени важности их для лиц, на которых направлены действия. Ко многим из них люди привыкают, не замечают их, не придают им большого значения. Таковы, например, оскорбления людьми друг друга в местах скопления (в очередях, в транспорте), грубости продавцов в магазинах, намеренное задерживание посетителей в учреждениях, хамство всякого рода начальников, уверенных в безнаказанности. Другие играют более заметную роль в жизни людей, влияя на их судьбы существенным образом. Таковы, например, предательство, ложный донос, удар в спину. Каждый индивид обладает более или менее устойчивой, сложившейся в его индивидуальном развитии предрасположенностью совершать действия определенного типа, так что бывает возможно дать его поведенческую характеристику: двуличен, труслив, надежен, откровенен, мстителен. Но не всякая характеристика такого рода есть характеристика социальная. Поскольку все индивиды подчиняются одним и тем же социальным законам, то социальная поведенческая характеристика индивида может содержать только чисто количественные и структурные свойства действий (говоря о структурных свойствах, я имею в виду, например, предрасположенность к действиям через посредников или без них). По этой причине нет и принципиально не может быть никаких объективно-

стабильных социальных оценок индивидов, кроме чисто количественных. И часто встречающиеся случаи, когда один человек высказывает о другом человеке различные и даже противоположные оценочные суждения, свидетельствуют не о какой-то порочности людей, а о том, что они суть лишь люди и ничего более. Они поступают так в силу социальных законов, и угрызения совести их, как правило, не мучают.

Для двух или более индивидов имеет место социальная ситуация, если и только если каждый из этих индивидов совершает социальные действия в отношении других из них или сам является объектом действий других (или то и другое), причем все индивиды осознают свое положение в этих действиях и положение других индивидов этой группы.

Социальные группы

Социальная группа есть скопление из двух и более социальных индивидов, писал Шизофреник. Но не всякое такое скопление есть социальная группа. Во-первых, это есть скопление индивидов, вынужденное более или менее постоянными условиями их существования. Так что это скопление достаточно прочное и длительное и не является социальной случайностью для индивидов. С этой точки зрения скопление людей в автобусе и пьяниц у Ларька само по себе еще не есть социальная группа. Во-вторых, это есть скопление индивидов, само, в свою очередь, являющееся социальным индивидом. В нем имеет место разделение функций, и в первую очередь — разделение индивидов на часть, образующую тело группы, и часть, образующую ее руководящий (господствующий) орган. В отличие от элементарного социального индивида здесь тело индивида и его руководящий орган сами состоят из индивидов. Отсюда и рождается все то, что подлежит вниманию социологии.

Социальные группы разделяются на простые (первичные) и сложные (производные). Первичная группа имеет, как правило, небольшие размеры. Наиболее часто встречающиеся группы такого рода не превышают десяти человек. Руководящий орган состоит из одного индивида — руководителя. Случаи, когда здесь имеет место отклонение от нормы, рассмотрю ниже. Все члены группы социально равны (равны по социальному положению). Ни один из них не является руководителем по отношению к другому. И все они находятся в одинаковом отношении руководимых к одному и тому же руководителю. Имеющая место тенденция к образованию внутри первичной группы более мелких объединений иногда ведет к образованию групп, которые я называю квазисоциальными (даже из двух-трех человек). Но это не есть общее правило. И, кроме того, если первичная группа не достигла размеров, превышающих критические, эта тенденция не ведет к образованию социальных групп в собственном смысле слова.

Производные или сложные социальные группы образуются из индивидов, которые сами являются группами. Здесь образуется целая иерархия производных групп различных рангов.

Социальные группы различаются как спонтанные и официальные. Пример первых — банда грабителей, объединение революционеров, объединение ученых, заинтересованных друг в друге, не зависящее от научных организаций. Пример вторых — отделение, взвод в армии, сектор и отдел в научно-исследовательском институте, кафедра в высшем учебном заведении. Официальные группы суть социальные группы, признаваемые и поощряемые в данном обществе. Взаимоотношения упомянутых типов групп многообразны. Группа может возникнуть как спонтанная и затем превратиться в официальную, и наоборот. Группа может функционировать одновременно как спонтанная и официальная (например, использование официальных учреждений бандами жуликов, особенно — в торговой сети). Спонтанная и официальная группы могут накладываться друг на друга, пересекаться, на время совпадать и расходиться. Например, система официальной власти в стране может лишь частично совпадать с фактической, которая образует спонтанную группу. Причем они могут иметь одного и того же лидера, и официальный лидер здесь может стать лидером спонтанной группы только потому, что он официальный лидер. Между этими группами имеют место существенные различия. Например, в спонтанных группах на роль руководителей (лидеров) выталкиваются часто наиболее авторитетные из членов группы лица (авторитетные с точки зрения той формы деятельности, которая является основой образования группы), тогда как в официальных группах руководитель назначается или «выбирается» (в общем, отбирается) по иным параметрам. Официальные группы имеют, в свою очередь, тенденцию к перерождению в спонтанные. Например, в руководстве учреждением устанавливаются такие личные связи («семейственность»), что оно превращается в клику или организацию гангстерского типа, в которой члены оказываются объединенными круговой порукой. Поскольку при этом сохраняется официальная структура группы, не совпадающая со структурой этой же группы как спонтанной, неизбежны различного рода следствия, представляющиеся непонятными на внешний взгляд (цинизм, пошлость, хамство, продажность).

Надо различать далее социальные и производственные группы. Различие это произвести достаточно строго трудно, поскольку социальные группы складываются для какой-то деятельности, а производственные группы накладываются на социальные (содержат и поглощают их). Но потому тем более здесь различие провести надо. Производственные группы складываются не только (а порой даже не столько) по законам образования социальных групп, но и по законам того или иного вида деятельности, на том или ином исторически данном материале, как результирующая длительной борьбы людей. Приводя примеры производственных групп, приходится приводить те же примеры социальных групп (воинское подразделение, цех, завод, институт), но рассматривать их с иной точки зрения. Чтобы строить пирамиды, сложные системы искусственного орошения земель, каналы, военные дороги, нужны были объединения большого числа людей. Это производственный аспект дела. Но внутри этих объединений складывались социальные группы, и сами они в целом могли в какой-то более сложной связи функционировать как социальные группы. Короче говоря, в чистом виде социальные группы как таковые не существуют. Выделение их есть лишь абстракция, но абстракция вполне правомерная и даже необходимая в рамках науки. Производственные группы, став официальными объединениями, оказывают огромное влияние на социальную структуру общества. Благодаря им более устойчивыми становятся социальные группы, последние объединяются в сложные социальные группы.

От социальных и производственных групп надо отличать социальные слои. В один и тот же слой могут попасть люди самой различной профессии, национальности, должности — например, определенного типа писатели и артисты, министры, ученые и даже спортсмены. Данный слой образуют люди определенного уровня и стиля жизни, вкуса, культуры. Между ними устанавливаются личные связи. Внутри слоя частыми становятся браки, преемственность профессий. Имеет место взаимная выручка (связи, блат, знакомство). Слой создает определенное общественное мнение, свою локальную этику, жаргон, моду, сходную реакцию на события. Слои частично совпадают с профессиональными кастами. Имеют тенденцию к замкнутости. Существование слоев еще более деформирует социальный механизм общества. Но тип личности, складывающийся по законам социальности, оказывает существенное (порой — решающее) влияние на внутрислоевые отношения людей.

Социальные группы всех рангов имеют критические минимальные и максимальные размеры (которые, впрочем, довольно подвижны, изменчивы и относительны). Социальные группы имеют тенденцию к увеличению размеров (как следствие принципа самосохранения и упрочивания социального положения) и тенденцию к дифференциации. Если размеры группы достаточно заметно возрастают сверх критических, группа дифференцируется. Первичная группа делится на две подгруппы, которые имеют тенденцию стать первичными группами. Внутри сложных групп так или иначе образуются первичные группы. Сокращение размеров группы также ведет либо к ликвидации группы, либо к перестройке ее структуры (в частности — к изменению ранговости).

Социальная группа в качестве социального индивида выполняет волю руководящего органа (руководителя, руководящей группы). Разумеется,

это лишь тенденция и в полной мере — лишь идеал. Но это тактически имеет место по крайней мере в отношении некоторых действий. Социальные действия группы суть совокупные результаты действий ее членов. Интересы группы суть интересы некоторых членов группы, и прежде всего — руководящих лиц. Общие и единые интересы группы — миф, обман или пустая абстракция. В крайнем случае это бывает в порядке исключения. В качестве общих интересов группы ее руководство навязывает ей нечто внешнее интересам ее членов. Разумеется, при этом как-то считаются с членами группы, но лишь в минимальной степени. Это один из источников конфликтов и неконтролируемых последствий. Официальное воспитание людей стремится сделать так, чтобы индивиды внешние им интересы воспринимали как свои собственные (по принципам «Это делается для тебя», «Это твое учреждение», «Здесь ты хозяин» и т. п.).

Величины признаков группы как индивида устанавливаются путем измерения соответствующих признаков входящих в них индивидов и переработкой результатов таких измерений некоторым стандартным способом. Например, интеллектуальный уровень (или потенциал) группы выясняется путем измерения интеллектуального потенциала ее членов и последующего вычисления по принятой схеме (в частнсоти, как среднеарифметическое интеллектуальных потенциалов членов группы). Здесь возможны варианты. Но есть и общие принципы, в рамках которых эти варианты должны умещаться. Например, группа не может быть умнее самого умного ее члена и глупее самого глупого ее члена (подобно тому как скорость перемещения роты не превышает скорости самого быстрого солдата и не меньше скорости самого медленного). В общем, величина некоторого признака группы есть стандартная функция величины этого признака ее руководства и остальных членов группы. Наиболее обычное явление — признаки группы эквивалентны соответствующим признакам ее руководства.

Основы социальной антропологии

Подлинная наука рождается как обобщение опытных данных. Клеветник и Мерин ухитрились проникнуть в столовую в тот момент, когда там расставляли по столам кастрюли с кипящим супом. На глазах у оторопевшего дежурного и кухонного наряда они схватили по кастрюле, сожрали с молниеносной быстротой и смылись, так что потом дежурный не смог даже их опознать. На губу они ввалились довольные, с раздутыми до предела животами, изо всех дыр из них валил пар. Арестанты щупали по очереди их животы, одни завидовали удаче, другие восторгались отвагой, третьи делали теоретические выводы. Главное, говорил Паникер, выбор момента. Приди они туда на пять минут раньше — нет кастрюль, а приди на пять минут позже — нет супа. Тут, продолжил мысль Паникера Уклонист, есть еще один аспект, совершенно не изученный в современной науке. Клеветник и Мерин проглотили по восемь порций горячего отвратного супа за тридцать секунд, а Патриоту и Литератору хватило бы сосать на сутки. В чем дело? Привычка? Воспитание? Физиология? Ерунда! Это заложено в самой сути личности. Я берусь доказать, что скорость пожирания пищи человеком не зависит от температуры, твердости и степени отвратности пищи. Люди с самого начала резко разделяются на быстрожрущих и медленножрущих. И никаких промежуточных форм! И никаких биологических причин! Это чисто социальные характеристики, не имеющие никаких основ, но сами являющиеся элементами основ личности. Причем эти характеристики роковым образом влияют на жизненную линию человека. Быстрожрущий, например, никогда не сделает серьезной карьеры. Самое большое — командир роты, заместитель заведующего кафедрой, ученый секретарь отдела, помощник, референт. Видел ты когда-нибудь быстрожрущего Директора, Генерала, Академика, Министра? Мерин сказал, что он вообще еще ни разу в жизни не видел жрущего директора, генерала, академика и министра. Но с Уклонистом он согласен. Более того, он считает, что люди также четко разделяются на быстрокакающих и медленнокакающих. Причем поносы и запоры не влияют на эти социальные характеристики личности. Они лишь по-разному протекают у разных категорий. Понос у быстрокакающего — это нечто сравнимое со скоростью света, а запор у медленнокакающего — это нечто ни с чем не сравнимое. Скажи, видел ты когда-нибудь быстрокакающего директора, генерала, академика и министра? Уклонист сказал, что это противоречит теории и потому невозможно. Интеллигент предложил дополнить человекологию, основы которой только что были заложены Уклонистом и Мерином, особым разделом, изучающим сортирную, казарменную и прочую стенографию. Паникер сказал, что все это давно есть и называется это реакционным фрейдизмом. Человек — совокупность общественных отношений. Все остальное — вздор. Если хочешь знать, что из себя представляет человек, узнай, каково общество, в котором он живет. А как изучить общество, не зная человека, спросил Мерин. Очень просто, сказал Паникер, надо читать газеты. Интеллигент сказал, что качества человека как социального индивида действительно определяются тем, какую совокупность общественных отношений он способен вытерпеть. Но определяются не в смысле детерминации или генетической и функциональной обусловленности, а в смысле возможностей определения терминологии и способов измерения. Уклонист сказал, что такие тонкие дистинкции чреваты последствиями и потому никому не понятны. Пришел Старшина и торжественно объявил, что жить стало лучше, жить стало веселей. После обеда он освобождает арестантов от сортира и посылает на кухню чистить картошку. Поднялся невообразимый хай, из которого Старшина в конце концов понял, что арестанты из сортира вылезать добровольно не будут, но не понял почему. Больше всех распинался Патриот. Он кричал, что он тут сидит не за что-нибудь такое, а за такое, за что другим ордена и чины дают. Старшина сказал: «Вот психи», плюнул в раскаленную буржуйку и ушел. Это замечание Старшины дало основание историкам усмотреть в факте бунта арестантов первую вспышку массовой шизофрении, которая впоследствии стала нормальным явлением. Уклонист сказал после ухода Старшины, что происшедшее его не удивляет. Наоборот, было бы странно, если бы было иначе. Самая привлекательная сторона губного образа жизни — именно отвратность труда. Произведение коэффициента отвратности и коэффициента производительности труда равно единице плюс-минус альфа, где альфа есть некоторая характеристическая константа формации в пределах от нуля до единицы. Вот, например, работа в сортире. Дайте мне пару человек, пообещайте двойной обед, и мы за пару часов снесем его с лица земли. А так мы еще неделю проторчим в нем, если он сам по своей воле не развалится. Патриот сказал, что это буржуазные идейки. Вы по паре порций заработаете, а мы? Нас, выходит, вагоны грузить или картошку чистить погонят? Нет, не выйдет так. Интеллигент сказал, что историки либо обвинят Уклониста в клевете, что еще полбеды, либо обойдут его мысли молчанием. Паникер сказал, что есть еще третья возможность: обвинят в клевете и обойдут мысли молчанием. Уклонист сказал «Аминь», и арестанты двинулись на работу в сортир. В сортире на этот раз было особенно уютно. Вспоминали дом, мать, молоко. Друг другу говорили «братцы».

Шутка Члена

В студенческие годы, говорит Болтун, я подрабатывал лаборантом на кирпичном заводе. Завод производил скорее впечатление музея допетровских времен, чем современного предприятия. В связи с возросшей потребностью в строительных материалах было решено радикально модернизировать метод изготовления устаревшего кирпича. Создали специальную лабораторию. Пять докторов, пятнадцать кандидатов, пятьдесят будущих кандидатов и пара сотен лаборантов. Во главе член-корреспондент. Лаборанты должны были совать кучу новейших приборов во всевозможные дырки в допетровских печках и записывать результаты измерений в толстые книги. Ученые изучали эти книги и искали формулу. Работа, надо сказать, была противная. Обегать десять раз в сутки все приборы и записать показания. Ни минуты отдыха. И я уже собрался было удирать в другое место, как в голову пришла идея. А зачем, собственно говоря, бегать? Печка та же все время. Глина та же. Приборы те

же. Методика отработана столетиями, и выжать из нее что-то еще новое абсолютно невозможно. Если бы можно было, наши деды и прадеды додумались бы до этого сами. Значит, решил я, и показания приборов будут все время примерно одинаковыми. Посмотрел я книги за пару дней и вывел средние показатели и допустимые отклонения. Теперь я приходил на дежурство, за полчаса заполнял книги на сутки вперед и ложился спать или готовился к экзамену. За пару дней мой метод стал общеизвестным и был принят на вооружение всеми лаборантами. Почти год так работали. Книги с нашими записями на специальных машинах увозили в лабораторию. Их там тщательно изучали. Наконец формулу нашли. И в соответствии с ней устроили экспериментальную закладку печи. Вместо положенных по старому методу восьми часов обжигать решили четыре часа, но температуру увеличили в 1,375 раза, а влажность сократили в 1,578 раза. Цифры были еще более точные, но я их уже не помню. Через четыре часа печи вскрыли и выкатили тележки с кирпичами. Что произошло, невозможно передать словами. Это надо было видеть. Все кирпичи лопнули, но каждый — на свой манер. Ни одной пары одинаковых фигур. А фигуры получились, Бог мой! Ни в одном музее нового искусства таких не увидишь. Я валялся и подыхал от хохота. Меня буквально отливали водой. Член-корреспондент брал кирпич за кирпичом, обнюхивал и выкидывал в кучу битья. Я умолял сохранить это для истории, но комиссия была неумолима. На другой день нас всех уволили. А через неделю набрали новых лаборантов три сотни, добавили еще пять докторов, пятнадцать кандидатов и пятьдесят будущих кандидатов и начали заполнять новые книги. Член-корреспондент стал Действительным Членом.

Это дело мне хорошо знакомо, говорит Карьерист. Лет пять мы производили сложные расчеты, полученные результаты передавали одному математику, который не имел степени, но только ему одному известными методами здорово решал сложнейшие нестандартные и неразрешимые задачи. Тот делал свое дело, и потом все шло обычным путем. Этот математик подписал какую-то бумажку, и его уволили. Пришлось вместо него создавать особую группу из кандидата и трех помощников. Но дело у них не клеилось, и пришлось группу превратить в сектор, назначить заведовать доктора, добавить еще трех кандидатов и пять квалифицированных вычислителей. Пока сектор решал теоретические проблемы, без чего, оказывается, вычисления на этом этапе невозможны, нам приходилось невероятно сложными и дорогими путями выходить из затруднения. Через полгода сектор перерос в отдел. По проблеме появилась масса публикаций. Устроили симпозиум. Потом поехали на другой симпозиум. Издали сборник и стали поговаривать о специальном журнале. Както я от нечего делать решил посмотреть документацию уволенного математика. И глаза у меня буквально полезли на лоб. Он, оказывается, открыл тривиальную истину, что расчеты в этом звене вообще излишни и не влияют на последующие операции. И писал что бог на душу положит. Я доложил об этом на Ученом Совете. Так меня чуть не сожрали. Разнесли как невежду, мракобеса, консерватора.

Член сказал, что эта тема его волнует давно. Он подготовил важный документ. С цифрами и аргументами. Он добился приема у Заместителя. И сегодня идет туда. Так что пить он сегодня не будет ни капли. Болтун спросил у Карьериста, как обстоит дело с его поездкой. Карьерист сказал, что отменили. Болтун сказал, что он всегда так думал. Если бы поездку разрешили, то он был бы крайне удивлен. Вы, молодой друг, напрасно впадаете в пессимизм, сказал Член. Помяните мое слово, пройдет немного времени, и все, о чем вы, молодые, мечтаете, разрешат. Всему свое время. Там тоже не дураки сидят. Они знают, когда и что можно. Может быть, и разрешат, сказал Болтун, только будут ли при этом те, кто захочет и сможет воспользоваться разрешением. Проблема не в том, что запрещают, а в том, что ничтожно мало тех, кто требует разрешения. Член впервые в жизни отважился на шутку. Уходя, он сказал, что если он не вернется, то пусть его считают беспартийным. Но эта его шутка была и последней.

Социальные отношения

Социальные отношения суть отношения индивида к своей группе, группы к своему индивиду, индивида к индивиду в группе, индивида к индивиду вне группы по стандарту отношений в группе, индивида к обществу как социальному целому и общества к индивиду, писал Шизофреник. Отношение индивида и его группы характеризуется двумя величинами: 1) степенью зависимости индивида от группы; 2) степенью зависимости группы от индивида. Степень зависимости индивида от группы имеет тенденцию к максимальному увеличению (к максимуму), а степень зависимости группы от индивида — к максимальному уменьшению (к минимуму). Первое реализуется в стремлении создать для индивида такую ситуацию, чтобы все, что он получает от общества, он получал бы в зависимости от группы; чтобы все, что он может и хочет отдать обществу, отдавал бы в зависимости от группы; чтобы поощрения и наказания контролировались группой; чтобы все производственное и внепроизводственное поведение индивида контролировалось группой. Когда различного рода правдоборцы и социальные критики утверждают, что не соблюдается принцип «от каждого по способностям, каждому по его труду», то это есть свидетельство детски наивного непонимания сути дела. От каждого по способностям — это отнюдь не пропагандистски-демагогическое раскрытие всех способностей (хотя бы потому, что в массе люди посредственны, что способности суть отклонения от средней нормы по самому определению смысла слова), а принцип, согласно которому от человека требуется то, что он должен делать в данном его положении. Каждому по труду — это отнюдь не абсолютно справедливая доля продукта за фактически отданный труд, а доля продукта, которая считается справедливой человеку в данном его положении. Это цена социальной позиции человека. Если бы труд измерялся действительно в соответствии с затратой физических и умственных сил, то в обществе имела бы место совсем иная система распределения, чем существующая. Дело в том, что ценность того, что именуют трудом, есть социальная ценность. И труд человека, занимающего более высокую социальную позицию, чем другой человек, априори ценится выше, чем труд нижестоящего. Начальник получает больше не потому, что он тратит больше физических и умственных сил, чем подчиненный, и что он сильнее и умнее подчиненного, а потому, что его социальная позиция по социальным законам считается выше социальной позиции подчиненного. И потому считается, что начальник трудится больше и лучше, чем подчиненный. Замечу кстати, что именно по этой причине всякие попытки развить научные методы измерения социальных качеств людей либо обречены на неудачу, либо допустимы лишь в профессиональных кругах под контролем начальства. Я несколько отклонился в сторону. Возвращаясь к идее, с которой я начал, следует сказать, что ситуация, в которой карьера, зарплата, квартира, путевки, детсад и т. п. зависят целиком и полностью от группы, не есть нечто случайное и преходящее. Официальное стремление закрепить человека за группой здесь полностью соответствует социальной закономерности. Не случайно даже фразеологически это становится обычным делом. Все, что получает и имеет человек, изображается не как нечто заработанное им, а как дар общества («ему государство дало то-то и то-то, а он...»). Существенно отметить, что, говоря о зависимости индивида от группы, я выражаюсь фигурально. Фактически есть зависимость индивида от других индивидов, принимающая лишь видимость зависимости его от группы в целом. Это есть насилие одних людей над другими, в самой ее основе — взаимное насилие. Что же касается обратной зависимости группы от индивида, то тут господствует принцип: незаменимых людей нет.

Социальный индивид, сумевший добиться достаточно высокой степени независимости от социальных групп своего общества вообще, есть социальная личность. Степень личностной свободы общества определяется процентом таких личностей в населении общества и степенью их влияния на общественную жизнь. Но это — между прочим.

Социальные отношения внутри группы разделяются на отношения сотрудничества и отношения господства-подчинения. Отношения сотруд-

ничества базируются на принципе: наибольшую опасность для социального индивида представляет другой социальный индивид, превосходящий его по своим возможностям (по каким-то признакам, существенным с точки зрения социального бытия, — по интеллекту, талантам в области искусства, изворотливости, красноречию, корыстолюбию и т. п.). Отсюда — стремление ослабить социальную позицию другого индивида; не допустить усиления, если ослабить нельзя; свести усиление к минимуму, если нельзя помешать усилению. Так что обычно встречающиеся двуличность, доносы, клевета, подсиживание, предательство суть не отклонение от нормы, а именно норма. Тогда как обратные им качества суть исключения. Когда повсюду приходится слышать сентенции по поводу ненадежности людей («никому нельзя верить», «ни на кого нельзя надеяться»), то удивляться приходится не факту массовой ненадежности, а тому, что она не воспринимается как нечто естественное. Просто для социальных законов сложились благоприятные условия. А сила инерции старого воспитания, мировой культуры и т. п. такова, что это воспринимается как нечто случайное, недопустимое и излечимое. Но, надо полагать, это состояние скоро пройдет. Особый протест у индивидов вызывают случаи, когда их реальные коллеги (сослуживцы) или лица аналогичного социального положения добиваются в чем-то успехов, заметно превосходящих средний уровень (особенно — в среде научных работников, деятелей искусства, в спорте и т. п.). В этих случаях они прилагают неимоверные усилия к тому, чтобы этого не допустить, или свести успех коллеги к минимуму, или по крайней мере каким-то способом хотя бы добавить ложку дегтя в бочку меда. Радость по поводу неудач сильных выражается в форме сочувствия. С другой стороны, слишком сильное ослабление позиций других индивидов также нежелательно, ибо оно угрожает хлопотами и заботой. Не случайно потому индивид, как правило, испытывает удовлетворение при виде уродов и при известиях о несчастиях других, что является формой проявления сочувствия. Неизбежным следствием рассмотренных принципов сотрудничества является тенденция к осреднению индивидов. Будь как все — вот основа основ общества, в котором социальные законы играют первую скрипку.

Для отношения сотрудничества имеют силу также и другие принципы (вопрос о том, какие из них являются основными и какие производными, я не рассматриваю), например — такие: индивид стремится к максимальной независимости от всех других индивидов и стремится максимально подчинить по крайней мере одного-другого индивида; индивид стремится переложить на других неприятные дела, которые должен делать сам; если индивид может безнаказанно нарушить нормы морали в отношении других индивидов и ему это нужно, он их нарушает; если индивид имеет возможность безнаказанно причинить другому зло и ему это нужно, он его причиняет; если индивид может безнаказанно присвоить продукты чужого труда и ему это нужно, он это делает (примеры этого бесчисленны; взять хотя бы практику присуждения премий, выдачу авторских свидетельств на изобретения, поездки на конгрессы, плагиат); индивид стремится уклониться от ответственности и переложить ее на других. Перечень таких принципов можно продолжить. Они, в общем, известны каждому из его личного опыта (впрочем, лишь как недостатки других). Отмечу еще одно любопытное правило, часто вызывающее недоумение, но также вполне естественное. Это — закон переключения и компенсации. Если индивиду нужно причинить зло другому индивиду, но он это не может сделать, он в порядке компенсации выбирает в качестве жертвы другого более или менее подходящего индивида, которому он может причинить зло с наименьшим риском для себя. Здесь можно предположить наличие какой-то социально-энергетической константы у каждого индивида, заставляющей его выделять в социальную среду определенное количество заложенного в нем зла.

Отношение господства-подчинения я более подробно рассмотрю ниже в разделе о руководителях. Здесь ограничусь лишь таким общим замечанием. Руководитель занимает более высокое социальное положение, чем подчиненный. Ранг руководителя определяется рангом руководимой социальной группы. Чем выше ранг руководителя, тем выше его социальная позиция. Руководитель выполняет и производственные функции. Но в

массовом исполнении это теряет значение, и позиция руководителя оказывается чисто социальной. Если обществу требуется миллион начальников, то бессмысленно говорить о способностях и осуществлять производственный выбор. Наверняка найдется десять миллионов, желающих ими стать и способных выполнить эту роль не хуже других.

Внегрупповые социальные отношения индивидов строятся по принципу переноса на них правил сотрудничества и господства-подчинения. Этому есть два основания. Во-первых, вырабатываются определенные навыки поведения. Во-вторых, всякий индивид, с которым приходится иметь дело данному индивиду вне его группы, воспринимается как возможный сотрудник, возможный начальник или возможный подчиненный. Кроме того, имеются многочисленные случаи, когда индивид по роду своей работы имеет дело с другими индивидами регулярно (продавцы, милиционеры, служащие канцелярий, преподаватели), становясь по отношению к этим индивидам в положение, ничем не отличающееся от отношений в группах. Так что здесь складываются неоформленные квазисоциальные группы, действующие по принципам социальных. Более того, в таких случаях социальные законы действуют более открыто в силу того обстоятельства, что здесь менее эффективны сдерживающие факторы. Хамство и произвол мелких и крупных чиновников, грубость продавцов, произвол милиции, открытое взяточничество в системе услуг, в учебных заведениях, бесконечная бумажная волокита — все это не мелкие недостатки, а суть дела. Удивительно не то, что это есть. Удивительно то, что в этой среде удается что-то сделать. Правда, какой ценой — ценой бессмысленной потери сил и времени, скверного настроения и сознания бесперспективности.

Руководители

Приступая к написанию раздела о руководителях, Шизофреник прочитал в туалете стихи Литератора в последнем номере Газеты, посвященные как раз его теме:

Дорогу зря через года,
Наукой вооружены,
Гоните нас скорей туда,
Куда сочтете нужным.

Что ж, сказал Шизофреник, не берусь судить о литературных достоинствах, но суть дела схвачена правильно. И использовал стихи по назначению.

Вопрос о руководителях, писал Шизофреник, есть один из центральных для социологии, ибо это есть вопрос о том, что из себя представляют социальные группы данного общества. В принципе руководитель адекватен в социальном отношении группе («каков поп, таков и приход»). Бывают исключения, но они скоро проходят. Социальный тип общества в значительной мере (если не в основном) характеризуется типом руководителя. Я не буду рассматривать соотношения официального и неофициального, фиктивного и настоящего руководства. Факты такого рода общеизвестны. Независимо от них отношение руководства (господства) и подчинения есть такое отношение, в котором подчиненные выступают в роли безвольного немыслящего тела, а руководители — в роли сознания и воли этого тела. Позиция руководителя есть более выгодная социальная позиция, чем позиция руководимого, что очевидно всем нормальным людям. Потому руководство не есть функция, которую благородные великомученики выполняют на благо народа. Это позиция, за которую идет ожесточенная борьба. Чем выше ранг руководителя, тем выше его позиция, тем больше благ он имеет, тем защищеннее его положение, и потому тем ожесточеннее борьба за эту позицию. Это тривиальная истина. Проблема состоит не в том, чтобы ее констатировать, а в том, чтобы сформулировать социальные правила, по которым происходит выдвижение людей в руководители и по которым действуют руководители.

Основной принцип социальных действий руководителя — представить свои личные интересы как интересы руководимой группы и использовать

руководимую группу в своих личных интересах. Если руководитель и предпринимает какие-то действия в интересах группы, это есть лишь одно из средств достижения им личных целей, и прежде всего — одно из средств карьеры (человек, хорошо организовавший дело, в некоторых случаях, но далеко не всегда, имеет больше шансов на карьеру). Но чаще карьера бывает успешнее за счет кажущихся, а не действительных усовершенствований и улучшений — одна из основ очковтирательства, дезинформации, намеренного обмана. Надежды на то, что руководство примет меры, позаботится, улучшит,— детски наивные иллюзии. Повторяю, руководство предпочитает демагогию об улучшении реальному улучшению (к чему оно, как правило, вообще не способно), а если и идет на улучшение, то из страха ослабить свои позиции без этих улучшений, из желания усилить свои позиции, из-за внутренних своих интриг. Что же касается действия социальных законов, то руководство не только не стремится их ограничить, но стремится их всемерно поощрить, ибо само оно — наиболее концентрированный продукт этих законов. Аналогично обстоит дело с соотношением интересов дела группы и интересов руководителя группы. Лишь в силу внешних, а не социальных причин может случиться так, что руководитель группы добивается личных целей путем обеспечения интересов дела. В качестве социальной нормы имеет силу тенденция сделать ход дела группы независимым от руководителя не только с точки зрения его социального положения, но и с точки зрения организации самого дела. Что касается социального положения руководителя, то оно имеет тенденцию к независимости как частный случай общего закона для всех членов группы. Дело руководителя есть не дело группы, а дело по выдвижению в руководители, по сохранению этого поста, по использованию его в своих интересах, в том числе — для карьеры.

Правила, по которым люди выдвигаются в руководители и делают служебную карьеру, вырабатываются исторически и становятся обычными. И надеяться тут на действие каких-то стихийных сил, которые сами сделают хорошее дело, бессмысленно. Таких сил нет. А есть лишь то, что общеизвестно и вызывает тоску и состояние безнадежности.

Прежде всего, в служебной карьере играет роль соотношение реальной и номинальной оценки качеств личности. Как я уже говорил, эти оценки не совпадают. И хотя здесь имеет место тенденция к соответствию, в отношении лиц, претендующих на роль руководителей или на повышение ранга руководителя, действует также закон, согласно которому предпочтение отдается лицам с наиболее благоприятным отношением номинальной и реальной оценки. И это не есть самообман или обман потребителя. Дело в том, что в реальных социальных отношениях реальной является лишь номинальная оценка личности, а реальная является лишь нереализуемой возможностью. Если нам известно, что А — карьерист, готовый ради своей карьеры загубить тысячи людей, а начальство считает, что А есть деловой волевой организатор, то с точки зрения данной социальной жизни лишь вторая оценка имеет смысл. Лишь в случае борьбы против этой социальности может приобрести смысл первая. Как устанавливается упомянутое благоприятное соотношение, зависит от типа служебной ситуации. Здесь два типа. Тип рутинный, когда предпочтение отдается лицам со средней степенью проходимости (последняя прямо пропорциональна видимой и обратно пропорциональна реальной оценке индивида), и тип переворотный, когда предпочтение отдается лицам с высокой степенью проходимости. И лишь в немассовых спонтанных группах степень проходимости для руководителя может быть низкой. Поскольку обычным является рутинный тип ситуации, то руководство общества формируется из лиц, относительно которых известно, что реально они суть посредственности, но имеют некоторую видимость значительности, т. е. из лиц, которые в качестве социальных индивидов считаются наименее опасными. Поскольку руководители высших рангов отбираются уже из числа руководителей низших рангов, то здесь опять-таки действует тот же закон отбора, и с повышением ранга руководителей происходит понижение реальной ценности индивида (в том числе — снижение интеллектуального потенциала, уровня культуры, уровня профессиональности). Замечу между прочим, что положительные качества индивида с повышением ранга руководства сокращаются по формуле: исходная величина делится на число шагов, которые индивиду пришлось сделать в своей карьере фактически, и умножается на коэффициент ранговости, который меньше единицы и больше нуля. Отрицательные же качества увеличиваются по формуле: исходная величина умножается на число сделанных шагов и делится на коэффициент ранговости. Но индексы положительных и отрицательных качеств поста данного ранга измеряются так, что учитывается число всех возможных шагов (в нормальной карьере человек не должен перескакивать через ступени), так что возможны несоответствия индивидов посту. Так, иногда бывают случаи, когда высокий пост занимает человек, слишком умный и слишком порядочный для этого поста. Но это, повторяю, исключение, не вытекающее из сути социальных законов.

Имеются, однако, обстоятельства, компенсирующие эту тенденцию. Первое — наличие огромных штатов помощников, референтов, заместителей и т. п., а также эксплуатация различного рода учреждений. Причем чем выше ранг руководителя, тем больше группа, реализующая его руководство. Например, доклады, читаемые крупными руководителями, составляются сотнями квалифицированных людей. Сами руководители, читающие свои доклады, не только не способны их написать, но в большинстве случаев даже толком в них разобраться. Однако все упомянутые лица сами являются социальными индивидами. И попадают они в окружение руководителя по общим социальным законам делания карьеры. Отличие здесь лишь в том, что низкий интеллектуальный уровень, халтура, недобросовестность здесь более тонко замаскированы знанием иностранных языков, умением отыскивать цитаты. Ум и талант группы не может превышать ум и талант членов группы. Он ниже таковых самых сильных членов группы. Так что рассматриваемая компенсация является фиктивной. Она создает лишь иллюзию ума, способностей, труда. Но ведь, кроме иллюзии, здесь и не требуется ничего иного. Второе обстоятельство более серьезное. Это — эффект реальной неуправляемости громоздкой системы общества. Начиная с некоторого момента, любые решения руководства по поводу некоторой проблемы имеют один и тот же результат. Например, решение сократить штаты с таким же успехом ведет к их увеличению, как и решение их увеличить. Третье обстоятельство — примитивизация функций управления с увеличением ранга руководителя. Дело в том, что индивид, какое бы положение он ни занимал, в силу своей физической ограниченности способен вступить в контакт лишь с ограниченным числом людей и высказать ограниченное число суждений. Тем более — мало-мальски обдуманных. И любой самый средний (среднеспособный и среднеобразованный) индивид за среднекороткий срок способен овладеть функциями управления на любом уровне, пройдя соответствующие этапы карьеры. Трудность здесь состоит не в трудностях деятельности управления как интеллектуальной деятельности, а в трудностях самого делания карьеры как особого рода профессиональной деятельности. Профессия руководителя заключается главным образом в том, чтобы уметь удерживаться, пробиваться, лавировать, устранять. И лишь в незначительной мере она связана с внешним делом — с руководством людьми. Потому на роль руководителей заявляют претензии лица, наименее связанные с соображениями морали и наиболее бездарные с какой-то иной, профессиональной точки зрения. Индивид, вступивший на путь карьеры руководителя, скоро убеждается в том, что это — наиболее легкий с точки зрения ума и способностей и наиболее выгодный с точки зрения вознаграждения вид деятельности. Число лиц, отказывающихся потом от этой деятельности, настолько ничтожно, что их практически нет. Так что ничего ненормального нет в том, что выжившие из ума старики занимают руководящие посты и добровольно не покидают их. К тому же руководитель в таких случаях, начиная с некоторого уровня, становится лишь символом большой группы лиц, стоящих у власти.

Наконец, надо заметить, что социальное господство в условиях, когда нет никакой иной силы, от которой оно зависело бы существенным образом, порождает систему производства жизни, в которой есть господа, но нет хозяев, несущих личную ответственность за дело, вкладывающих в дело свою индивидуальность,— систему бесхозяйственности, безответственности, обезличенности. Господа стремятся лишь урвать и за-

нять более выгодное положение для этого, не думая о несколько более отдаленных последствиях. О последствиях, кстати сказать, думать вообще бессмысленно, ибо это одна из самых запретных тем для размышлений в обществе, живущем по преимуществу по законам социальности.

По изложенным причинам в системе руководства складываются гангстерская система сознания и форма поведения, сознание моральной незаконности и непрочности своего положения и потребность в постоянном оправдании, подтверждении, искоренении, — короче говоря, все то, что всем хорошо известно по опыту.

Свойственное социальному индивиду стремление присвоить себе положительные результаты деятельности других и переложить ответственность за отрицательные результаты своих действий на других в случае с руководящими индивидами (и в том числе — руководящими организациями) принимает такую форму. Все успехи, достигнутые каким-то образом данным обществом (общественной группой), считаются успехами, достигнутыми благодаря мудрости руководства. Причем не играют никакой роли степень и характер участия руководства в достижении этих результатов. Если даже они получены вопреки воле руководства, они все равно в силу приведенного закона рассматриваются как успехи этого руководства. Успехи, достигнутые при данном руководстве, суть успехи этого руководства. Этот закон имеет настолько мощную силу, что даже все ранее гонимые и затем реабилитированные явления культуры изображаются как продукт высшей мудрости начальства. И даже явления, вообще не зависящие от руководства (например, хорошую погоду, старинные памятники культуры, природные богатства и т. п.), руководители склонны рассматривать как нечто, даруемое лично ими людям. Далее, ответственность за все отрицательные последствия хозяйничанья руководства несет не руководство, а те лица, слои, организации, которых руководство сочтет подходящими для возложения на них вины за эти последствия. Оно имеет возможность это делать и делает. Руководство не делает ошибок. Обычно виновные легко находятся. Но бывают случаи, когда найти подходящих виновных трудно, и тогда их изобретают. Поскольку различить явления, которые суть следствия плохого руководства, и явления, которые все равно имели бы место при любом руководстве, практически трудно и даже невозможно, то виновные отыскиваются для любых отрицательных явлений жизни, о которых можно подумать, что они могли бы быть результатом плохого руководства. В таких случаях руководство действует слепо формально. Общеизвестны случаи, когда руководители стремились представить свои преступные акции как волеизъявление народа или как одобряемые народом, суть частный случай действия рассматриваемых законов. Отсюда стремление руководителей представить свою деятельность как деятельность на благо народа, волею народа и самого народа вообще. Это удобно. Успехи народа всегда можно представить как успехи руководства народом, а отрицательные явления в крайнем случае можно представить как результат действия народа или действий, выражающих его волю и интересы. Стремление преступных или аморальных руководителей сделать как можно больше людей соучастниками своих преступных или аморальных действий есть не злой умысел отдельных лиц, а продукт действия социальных законов, которым следуют (часто — с великим удовольствием) люди. И уж если бороться против зла, заполняющего наш мир, то надо бороться с этим злом не только в отдельных его ярких представителях, а во всех людях вообще. Бороться всегда и повсюду.

Поскольку власть в силу социальных законов присваивает ум и волю общества, она, естественно, стремится фактическое положение дела сделать максимально близким к этому идеалу и рассматривает своеволие лиц, которые без ее ведома начинают размышлять об обществе, о его законах, о системе управления, о состоянии хозяйства, права, печати, искусства и т. д., как незаконное вторжение не в свое дело. А если эти лица начинают лучше представителей власти разбираться в проблемах общественной жизни (а этого нетрудно добиться, ибо официальный уровень понимания имеет тенденцию к минимуму правды и максимуму заблуждения), то они представляются властям даже как преступники. хотя юридически никому не возбраняется понимать окружающее. Отсутствие юридической санкции легко обходят, представляя понимание общества частными лицами как заведомую клевету, подрывающую существующее устройство, на том основании, что это понимание не совпадает с официально предписанным.

Беседы о тайнах истории

На улице зверский мороз. На губе тепло, жгут доски, заготовленные для нового сортира. В лагере Правых говорят о жратве, бабах, орденах и портянках. В лагере Левых обсуждают проблемы мировой истории. Вся эта писанина, говорит Уклонист, утешение для слабоумных. На самом деле просто одни обделывают свои делишки за счет других, из совокупности их мелких пакостей вырастают большие. Для них выдумывают подходящее оправдание, которое называют объективными законами. Выдумывают так, чтобы удобно было делать новые пакости, и называют это научным предвидением. Концепция слишком пессимистическая, говорит Интеллигент. Есть же какие-то твердые и устойчивые опоры. Опоры есть, говорит Уклонист, но очень хрупкие. Притом они приносят благо человечеству и страдания человеку. Если ты апеллируешь к морали, говорит Интеллигент, то она сама зависима и переменна. Нет, говорит Уклонист, то что ты называешь моралью, не есть мораль. Это пропаганда, просветительство, нравоучения. В общем, нечто вполне официальное. Настоящая мораль всегда неофициальна. Она всегда одна. Она либо есть, либо ее нет. Она не имеет никаких основ, кроме решения отдельных индивидов быть моральными. Она тривиальна по содержанию, но невероятно трудна в исполнении. Не доноси, держи слово, помогай слабому, борись за правду, не хватай хлеб первым, не перекладывай на других то, что можешь сделать сам, живи так, будто всегда и всем виден каждый твой шаг. Что проще? А много ли таких людей ты встречал? Мыслима ситуация, когда все общество держится на каком-то уровне только благодаря тому, что в нем живет один-единственный нравственный человек. Если и такой исчезнет, то появление нового есть дело случая. Его может и не быть. Неутешительно, говорит Интеллигент. Не остается места надежде. Мы мужчины, говорит Уклонист, и надежды нам ни к чему. Кроме того, если уж тебе так нужны надежды, то они вполне уживаются с сознанием невозможности и даже обреченности. Один мой знакомый говорил, что человечество должно быть благодарно ему за ту совокупность зла, которую он мог сделать, но не сделал. Это, конечно, позиция, но позиция пассивности. Позиция активности, говорит Уклонист, ничуть не лучше. Все самые гнусные преступления в истории совершались во имя добра. Где же выход, спрашивает Интеллигент. В сортире, говорит Уклонист. Выхода нет, ибо он вообще не нужен. Проблема надумана. Некому выходить. Некуда выходить. Незачем выходить. Надо на все посмотреть с какой-то иной точки зрения. А с какой, я не знаю. Еще мальчишкой я вычитал в какой-то книге: «Люди бездумно творят никчемный процесс, не имеющий смысла и цели и наугад влекущий их в ничто. И только бессилие каждого перед безжалостной слепой силой всех придает этому процессу черты величия и грандиозности. Усилия отдельных личностей вырваться из него и обрести свободу ведут к успеху только путем самоуничтожения и потому бесплодны». Запомнить запомнил, но понимать начинаю только теперь. Жаль, слишком поздно. Пора спать. Странно, говорит Мерин, устроено общество. Одним боком оно всегда опережает свое время, а другим всегда безнадежно отстает. И никаким боком оно не живет нормально, т. е. именно в свое время. С одной стороны — ракетные двигатели и цепные реакции, которые найдут серьезное применение лишь много лет спустя после войны. С другой стороны — кавалерия, которая стала анахронизмом уже в конце той войны. Легенда Первой конной была настолько сильна, что меня как человека с незаконченным высшим техническим образованием призвали в кавалерию. В дивизии у нас был, правда, танковый полк. Но и в нем были эскадроны, хотя не было ни одного человека со средним образованием. Через пару месяцев нам решили показать, что такое атака конной массы. Целый месяц мы изучали маршрут, по которому должны двигаться на место построения. И все же

мы опоздали на час, а один полк заблудился в овраге и не явился совсем. Наконец протрубили какие-то сигналы. Наши боевые лошади, которые знали эти сигналы назубок еще с гражданки, рванулись вперед. Через мгновение мы барахтались в снегу, а наши лошади утóпали в сабельный поход без нас и смылись на конюшню. Мы ползали в снегу в поисках потерь. Я потерял шомпол. Мой сосед — штык. А наш помкомвзвода так яростно взмахнул шашкой, что клинок вырвался из рукоятки и исчез в неизвестном направлении. Помкомвзвода рыл когтями снег и последними словами поносил Первую конную. Комиссия поставила нам четыре. Два месяца потом изучали опыт учения. Войну я встретил тоже в кавалерии. Правда, я сидел в окопе, а моя обросшая, как Хемингуэй, Пенелопа паслась где-то в тылу. Но все же мне, как сказано в «Балладе»,

Повезло на этот раз.
Вышел экстренный указ.
Всех умеющих читать
В авиацию забрать.

Во сне Мерин тихо ржал и лягался. Ему снилась массированная атака конной лавины. Впереди верхом на плачущем помкомвзвода скакала его волосатая монгольская кобыла. Она размахивала шомполом и кричала: «Донесу!».

Кошмары

Они заявились к нему все сразу. И заговорили все сразу. И он отвечал всем сразу. И не понимал, о чем они говорят. И зачем говорят. И не понимал того, о чем говорил он сам. Когда вы пишете об общественном строе, в котором без серьезных ограничений господствуют социальные (в вашем понимании, конечно) законы, вы имеете в виду, само собой разумеется, наше общество, сказал Социолог. Я никакое конкретное общество не имею в виду, сказал Шизофреник. Я осуществляю обычную абстракцию. Я формулирую некоторые правила поведения людей. Люди по крайней мере иногда поступают по этим правилам. Согласитесь, что это так. Я называю эти правила социальными. Если вам не нравится, что я употребляю это слово, от него можно и отказаться. Это не принципиально. Назовем их, допустим, альфаправилами. Не возражаете? Далее я ставлю вопрос: какой вид приняло бы общество, в котором люди поступали бы исключительно по альфаправилам без ограничения их путем установления таких общественных институтов, как мораль, право, гласность, оппозиция? Такое общество есть пустая абстракция, сказал Мыслитель. Совершенно верно, сказал Шизофреник. Это — абстракция. Но она ничуть не хуже абстракции того изма, который вы критикуете второе столетие как реальность. Этот изм устойчив и существует в действительности, сказал Мазила. А ваш изм не мог бы просуществовать в действительности ни одного дня. Напротив, сказал Шизофреник, он настолько устойчив, что становится даже страшно от этого. Его предпочитает подавляющее большинство населения. В моем, как вы выразились, изме, огромные массы людей получают сравнительно мало. Но зато они еще меньше (опять-таки сравнительно) работают. Так что коэффициент вознаграждения здесь довольно высок. Попробуйте, предложите нашим работникам выбирать: тяжкий труд и более высокая зарплата или более легкий труд и менее высокая зарплата, обеспечивающая удовлетворение основных потребностей. Уверен, что большинство предпочтет последнее. Далее, здесь большое число граждан может вести праздный образ жизни. Армия начальников здесь достигает таких невероятных размеров, что полностью удовлетворяет тщеславие и властолюбие человечества. Здесь выдающиеся по уму и способностям люди уничтожаются или низводятся до состояния, в котором невозможно стать значительными личностями, а ничтожества процветают и возвеличиваются. А ничтожеств неизмеримо больше. Благодаря официально сложившейся системе воспитания и образования и легкости овладения социальными навыками формируется тип человека, приспособленного жить именно в такой среде и неспособного жить в иной. Так что страхи начальства по поводу возможной массовой эмиграции лишены оснований. Именно этот тип человека затем оказывает обратное влияние на вид техники, организацию дела, искусство и прочие

сферы общественной жизни, поддерживая тенденцию к развитию более грубых отраслей производства, более примитивных форм организации труда, деперсонифицированных форм искусства, лишенных социального содержания, что опять-таки устраивает большинство. Круг замыкается. Картина слишком пессимистическая, сказал Социолог. Смотря с какой точки зрения, сказал Шизофреник. Мы стоим у самых истоков желаемого. Надо все начинать сначала. А если мы начнем, то нам снова придется пережить все хрестоматийные ситуации и образцы. Конечно, моя позиция пессимистична с точки зрения одной жизни. История не считается с тем, что жизнь коротка. Но с точки зрения вечности никакого пессимизма тут нет. Существуют конфликты людей, неконтролируемые последствия, разнородность районов и стран. Кстати, если человечество и погибнет, то не от разъединения и драк, а именно от единения и однородности. Наконец, не исключается возможность появления высоконравственных личностей. Хотя состояние нравственности самое неустойчивое для социального индивида, а нравственная жизнь — мученический подвиг, вероятность появления таких людей все же выше нуля. А влияние таких людей на ход истории мы явно недооцениваем. Я во многом согласен с вами, сказал Мыслитель. И фактически мы делаем то же самое Дело, что и вы. Но иначе. И, как видите, с иными последствиями. Там, вверху, ведь тоже не все злодеи и дураки сидят. Они кое-что понимают. Но практически действовать они не могут. Попробовали бы вы провести хотя бы одну маленькую реформочку социального значения в масштабах государства, тогда, может быть, поняли бы, что это такое на деле. Критиковать и строить утопии теперь всякий может. Мы должны вместе делать одно Дело. Я никого не критикую и ничего не предлагаю, сказал Шизофреник. Я ничего не делаю в вашем смысле. Я только думаю. А то, что вы называете «мы», действительно есть пустейшая абстракция. Вы даже не догадываетесь (если то, что вы говорите, искренне), насколько наши позиции различны. Казнимый и палач тоже делают одно дело. И палачи всегда призывали казнимых к сотрудничеству. К сожалению, как правило, они имели успех. А вы, оказывается, моралист, сказал Сотрудник. Нет, сказал Шизофреник. Морализм есть формула демагогии, обмана и насилия. Я морален. А это нечто противоположное морализму. Моральный человек — Красная Шапочка, а моралист — Серый Волк, нарядившийся Красной Шапочкой. Еще в том трактате, сказал Сотрудник, вы утверждали, что мораль не имеет никаких основ, кроме решения отдельных индивидов стать моральными. Значит, по-вашему, она — продукт свободной воли. Но это же примитивная ошибка, непростительная для такого человека, как вы. Я этого не утверждал и не утверждаю, сказал Шизофреник. Как же так, сказал Сотрудник. У вас же тут прямо так и написано. Написано, сказал Шизофреник. Но это утверждаю не я, а Уклонист. Я же по этому поводу определенного мнения пока не имею. Это софистика, сказал Сотрудник. Писали-то все равно вы. Из того, что я пишу какое-то утверждение, не следует, что я его принимаю за истинное, сказал Шизофреник. Вот вы сейчас сами повторили фразу, которая написана в моем трактате. Но вы же ее не считаете своим убеждением. Конечно, нет, сказал Сотрудник. Но что-то вы хотите сказать своим трактатом. Что именно? Хочу, сказал Шизофреник, но это вопрос не юридический. Ответьте нам на него просто как на вопрос человеческий, сказал Социолог. Не буду, сказал Шизофреник. Вы не являетесь людьми, которых я признаю равноправными собеседниками. И я не хочу с вами говорить ни в каком ином плане, кроме юридического. Но вам же отлично известно, что такого плана тоже нет, сказал Сотрудник. Есть лишь иллюзорно юридическая фразеология. А кроме того, какими бы безупречными с логической точки зрения ни были ваши парадоксы, они для обычного человека выглядят как бесчеловечные отклонения от нормы. Все лучшие достижения цивилизации появились сначала как отклонения от нормы и изображались обычно как враждебные человеку, сказал Шизофреник. Цивилизация вообще есть уклонение, протест и защита от нормы. А что вам цивилизация, сказал Претендент, живем-то мы один раз. Мы уже не живем, сказал Шизофреник. Нас уже нет. Так что подумайте лучше о тех, кто будет потом. Кто знает, может быть, мой потомок вот так же будет допрашивать вашего. Это не имеет значения, сказал Сотрудник. Через два или три поколения

биологическое родство людям безразлично. Но не безразлична причастность к прошлому, сказал Шизофреник. Вы просто не любите наш изм, сказал Мыслитель. И этим все объясняется. А если действительно не люблю, сказал Шизофреник. Но разве это преступление? Не преступление, конечно, сказал Сотрудник, но нечто более серьезное, а именно — возможность и угроза преступления. Но я не питаю к нашему изму любви и ненависти, сказал Шизофреник. Я к нему отношусь иначе: я его понимаю. Вы ко всему прочему еще и наивны, сказал Претендент. Неужели вы думаете, что познание сути нашей жизни играет какую-то роль? В конце концов все решают люди дела. А они всегда имеют или специально изобретают ложные представления о жизни. Иначе они не могут действовать. Чтобы нанести удар по какой-либо стороне изма, надо выступать в качестве человека, укрепляющего ее. Наивность есть тоже идеология, сказал Шизофреник. А знание правды есть первое чисто человеческое дело. Вы это знаете не хуже меня. Знаем, сказал Социолог. И потому мы вам не завидуем. Я не сделал ничего преступного, сказал Шизофреник. Помимо юридической преступности, сказала Супруга, есть социальная преступность. Вы же сами об этом писали постоянно. Я не употреблял такого выражения, ибо оно двусмысленно, сказал Шизофреник. Оно означает осуществление действий, опасных или вредных для общества, и осуществление действий, которые направлены на ограничение социальных законов или противодействуют им, но которые не опасны и не вредны для общества как целого. Скорее наоборот. Что вы имеете в виду? Перестань выпендриваться, сказала Супруга и захихикала, ты такое же дерьмо, как и мы. И они все сразу же исчезли.

За перегородкой поносил свою не менее агрессивную жену пьяный хозяин. Плакал ребенок. У соседей гремел телевизор. За окном грохотал грандиозный мир, конструируемый согласно теории конструирования именно такого мира и на основе великих достижений реабилитированной релятивистской кибенематики.

Конец

Конец все ждали и точно предвидели. И потому он наступил неожиданно. Однажды среди ночи их подняли и объявили, что создана маршевая рота на фронт, им всем простили их тяжкие грехи и всех, за исключением Патриота, Литератора и Сачка, зачислили в роту. Патриот и Литератор разошлись по своим подразделениям. Сачок перевернулся на другой бок на койке в санчасти. Остальные собрали вещички и присоединились к собравшимся во дворе. Пехотный старшина скомандовал: «В две ширинки висссcь!», потом: «С места песню шагыыыым арршl». Паникер, окончивший в начале войны полковые курсы ротных запевал, рявкнул так, что завыли сразу все ибанские собаки:

Ты не хныкай, твою мать,
Моя дорогая!
Коль придется подыхать,
Знать, судьба такая.

«Выше головку, тверже ножку, подтяниииииись!», крушил ночную тишину пехотный Старшина. И, как сказано в «Балладе»,

Пошагали они прочь
Навсегда куда-то в ночь.

После их ухода губу перевели в подвал. Началась ее нормальная история. Она общеизвестна. В этой истории их уже не было.

ПРИТЧА О ПУСТЯКАХ

Некоторые особенности ибанской истории

История Ибанска складывается из событий, которые чуть было не произошли; почти что произошли, но в последний момент все-таки не состоялись; ожидались, но так и не наступили; не ожидались, но несмотря на это случились; произошли не так, как следовало, не тогда, когда следовало, не там, где следовало; произошли, но признаны не имевшими места; не произошли, но стали общеизвестными. Эту классификацию предложил Клеветник в узком кругу разномышленников в пивном баре на площади Учителя после четырнадцатой кружки. Его сослуживец Кис, наложивший в штаны совсем по другому поводу, заодно сообщил и об этой классификации. Клеветник исчез. Но к удивлению коллег он через много-много лет посмертно вынырнул на девственно гладкую поверхность культурной жизни Ибанска, публично дал по морде Кису и начал искать подходящее место. Произошло это уже после того, как ибанцы, обливаясь горючими слезами, наконец-то проводили в долгожданный последний (как некоторые тогда наивно думали) путь Хозяина и наспех прикрыли кто чем мог свои разукрашенные шрамами и синяками голые зады, теоретически подготовленные для очередной всеобщей порки. Ожидаемая порка, к великому огорчению ибанцев, не состоялась, и они в ужасе предались робкому ликованию. Претендент за мужество был удостоен избрания. Мыслитель обозвал всех трусами, как они того и заслуживали, и сократил число цитат из Хозаина вдвое. И опять ничего не произошло. Мыслитель успешно защитил диссертацию. Социолог вместо обычного титула Хозяина «самый гениальный сверхгений из всех гениальнейших гениев» употребил сильно ослабленный титул «величайший гений». Ничего не произошло и на этот раз. И Социолог опять уехал за границу. Никого не брали. Боже мой, заплакал после этого от радости Кис, что же теперь будет, одна надежда теперь — китайцы. Китайцы обрадовались не меньше Киса, но сделали все по-своему.

Вернувшегося из небытия Клеветника с перепугу назначили чем-то заведовать. Воспользовавшись кратким замешательством, он изловчился напечатать малюсенькую книжонку о чем-то таком, о чем писать было еще рано тогда и стало уже поздно потом. В книжонке он все исказил, а остальное изложил неправильно. Вышестоящее начальство, которое после упомянутого радостного трагического события стало еще более вышестоящим и радикально изменило точку зрения, публично заявило по адресу Клеветника, что как волка ни корми, он все равно смотрит в лес, и разослало закрытое письмо о том, что горбатого могила исправит. Клеветника тут же освободили от обременительного заведования и хотели выселить из Ибанска обратно как бездельника. Но время было уже не то. И Клеветник устроился (вот пройдоха!) в какое-то захудалое учреждение самым младшим сотрудником с самым низким окладом. Социолог, не сумевший помешать этому, приписал заслугу себе. Мыслитель сказал, что Хозяина воскресить уже не удастся, хотя к этому никто и не стремился. А на горизонте Истории Ибанска уже маячила колоритная фигура Хряка. В одной руке фигура держала маленький кукурузный початок, не достигший молочно-восковой степени зрелости, а другой делала большой кукиш. Одна нога у фигуры была босая. Фигура громко икала и бормотала лозунги: НОНИШНОЕ ПАКАЛЕНИЕ, ТВОЮ МАТЬ, БУДИТ ЖИТЬ ПРИ ПОЛНОМ ИЗМЕ. Посмотрев в сторону абстракционистов, фигура погрозила им пальцем.

Перелом

В жизни Ибанска произошел коренной перелом. Было признано официально, что эта самая жизнь, гениально предначертанная свыше еще более ста лет назад, подготовленная всем ходом развития материи за всю прошлую половину бесконечного времени и осуществляемая в полном соответствии с ее же собственными глубинными законами и анкетой под присмотром особого отдела, обнаружила некоторые недосмотры отдельных злоумышленников.

Хряк

Если бы год назад ибанцам кто-то сказал, что Заведующим будет Хряк, его бы осмеяли. А если бы им кто-то уже после прихода Хряка к власти сказал, что Хряк скоро будет разоблачать Хозяина, этого чело-

века немедленно отправили бы туда, откуда после разоблачительного доклада Хряка стали десятками тысяч возвращаться поротые и перепоротые случайно уцелевшие ибанцы из числа тех очень отдельных, которых Хозяин тайно от своих Заместителей и Помощников и от всех остальных ибанцев невинно пожурил за какие-то пустяки. Но это невероятное событие произошло. Хряк более или менее внятно зачитал разоблачительный доклад, неизвестно кем, для кого и с какой целью составленный. Ибанцы были ошеломлены. Но не столько тем, о чем говорилось в докладе (ибанцы, разумеется, ничего подобного тогда еще не знали и ни от кого об этом не слышали, ибо это все делалось в строжайшей тайне, а теперь они этого уже не знают еще более), сколько тем, что об этом говорилось. И не на кого было за это доносить, ибо тот, кто говорил, сам мог донести на всех и всех выпороть. И никого не брали за то, что они это слушали и двусмысленно перемигивались. На этой почве даже были жертвы. Занимавший до этого довольно крупный пост Член вдруг начал бороться за правду и был за это уволен на пенсию. Один спьяну застрелился. Остальные отделались укорами совести, которой у них никогда не было.

Говорят, что Хряк разоблачил режим Хозяина и нанес по нему удар, так что теперь этого режима вроде бы и нет. Много ли сказано слов, а какая масса двусмысленностей! Что считать режимом Хозяина? Некоторые индивидуальные исторические особенности жизни нашего общества в то время или общую основу, породившую эти особенности в данных исторических условиях? Хряк не наносил никакого удара ни по какому режиму. Он спасал этот режим. И, спасая, предпринял некоторые не им придуманные акции для этого. Иное дело — неконтролируемые последствия. И кто из тех, кто санкционировал эту акцию (а она — плод решения многих власть имущих, а не одного), мог их предвидеть? Мы настолько привыкли к тому, что мы любую пакость проглотим безропотно как благодеяние свыше, а любое благодеяние воспримем как пакость, что никому даже в голову не могла прийти мысль о неконтролируемых последствиях. Они были немыслимы, и потому их не могло быть в принципе. Да уж если быть исторически точным, то основной удар по режиму был, действительно, нанесен. Но — извне. Изнутри этот режим неуязвим. Удар был нанесен в начале войны. Именно тогда он закачался и рухнул в его иллюзорных одеяниях и нелепых крайностях. А потом эти крайности лишь агонизировали много лет. Они все равно были бы сметены. Они были обречены со всех точек зрения — с экономической, военной, человеческой. Они стали невыгодны всем — и начальникам и подчиненным, у которых за время войны накопились свои «нет» и способности к сопротивлению. То, о чем говорил Хряк, было неожиданностью лишь для ханжей, лицемеров и самих палачей. И, может быть, для многочисленных кретинов. Для миллионов людей это был обычный нормальный образ жизни. Хряк, как и подобает власти в наших условиях, лишь ловко присвоил себе то, что сделали другие и что сделалось бы само собой. Он не заслуживает восхищения. Наоборот, он заслуживает презрения и насмешки.

Акция Хряка была отчасти акцией правящей группы, причем акцией самозащиты. Они боялись за себя. Сохранись прежнее положение, все они один за другим были бы ликвидированы теми, кто стремился бы сохранить статус-кво, т. е. ими самими же, но в очередности. Эта акция отчасти была выгодной акцией Хряка в борьбе за личную власть и в удержании ее. Тут даже нельзя сказать, что он преследовал свои личные цели, — такие люди не имеют целей. Просто он слепо подчинялся механике взятия и удержания власти. У него что-то получилось в результате. Но не акт гуманизма, а акт, на какое-то время украсивший их власть и, между прочим, облегчивший жизнь многим людям. Это — в последнюю очередь.

И вел он себя в этой в высшей степени выгодной для себя ситуации крайне глупо. Он лишь чуточку приоткрыл клапан, стравил излишнее давление, а потом опять прикрыл. Преждевременно прикрыл. У него не хватило ума понять, что если уж бить, так бить во всю силу. Половинчатость в таких случаях кончается поражением. Говорите, ему не дали бы? Скинули бы? Не успели бы! Прежде, чем они очухались бы, он мог наломать таких дров, что потом принимать меры против него было бы уже

поздно. Чем дальше он пошел бы, тем прочнее было бы его положение. Он действительно не мог ударить по-настоящему. Но не в силу понимания объективной невозможности полного удара, а в силу субъективного непонимания открывшейся возможности. И в силу нежелания бить сверх того, что нужно было ему самому в устройстве личных делишек. И в силу страха перед неведомыми последствиями. В наших условиях любой удар по Хозяину, как бы его ни оформляли словесно, есть удар по всей системе, ибо Хозяин есть наиболее показательный ее продукт, а сам он в свою очередь врос во все сферы нашей жизни, в души всех людей. Причем даже слабый удар должен был вызвать могучий резонанс, буквально цепную реакцию крушения иллюзий. Не системы, подчеркиваю, а иллюзий. Если бы Хряк был мало-мальски умным человеком, он должен был бы это понять и идти до конца. А он занялся ликвидацией последствий своей акции. И породил новую ложную ситуацию, за которую еще всем (особенно Им самим) придется расплачиваться. Поразительно, что Они не могут понять очевидного: сама система необычайно прочна и устойчива. Война показала, что даже самое глупое руководство неспособно ее расшатать. Без идиотских иллюзий и сказок о рае земном, т. е. в своем откровенном виде, она еще устойчивее. Ошибкой была не акция по разоблачению режима Хозяина, а нежелание пойти в этом деле до конца. Помяните мое слово, эта ошибка еще даст о себе знать роковым образом. Здесь речь идет не о восстановлении исторической правды (скоро все это вообще перестанет интересовать широкие массы людей), а о создании более или менее нормальных условий существования данной социальной системы. Все равно на этом месте уже ничего другого не может быть. Надо это воспринимать как данность.

Что же касается снятия Хряка, то его, конечно, скинут. И довольно скоро. Но совсем за другое. Весьма возможно — за нарушение меры соотношения личной и номинальной системы власти. Хозяин в свое время тоже создал систему личной власти, не совпадающую с номинальной, но потом он последнюю привел в соответствие с первой. Хряк тоже пытается идти тем же путем — пример полного непонимания ситуации и неспособность к оригинальности. Но делает это карикатурно. Он оригинален только в глупостях. Какая грандиозная идея — засеять пустырь кукурузой! И какие грандиозные прогнозы — «нонишное пакаление будит жить при полном измe!».

Дырка в Европу

Еще в те романтические времена, когда Хряк учился считать на пальцах в Академии Ликвидации Безграмотности, он краем уха подслушал (тогда не слушали, а подслушивали), что где-то в далекой глуши была таинственная страна. Была эта страна такой отсталой, что не могла справиться даже с поляками. И появился у нее Великий Царь. Увидел он отставание и решил прекратить это безобразие. Засучив рукава, он взялся за дело и прорубил окно в Европу. После этого начался прогресс. Временно прекратив всеобщие порки, Хряк задумал сотворить нечто подобное. Не окно, конечно. Но хотя бы маленькую дырочку. Позвал он на Совет самых влиятельных лиц государства — Жену, Зятя, Племянника, Свояка, Кума, Сотрудника и многих других, которые знали, где находится Заграница, что в ней едят, в чем в ней ходют. Хочу, сказал он, дырку в Европу сверлить. Давно пора, заорали советники и разъехались по Загранице. Дырку сверлили по теории. С клапаном. Клапан открывался туда и закрывался обратно. Где было «туда» и где «обратно», засекретили так, что теперь сами не знают, что есть «туда» и что есть «обратно». И потому на всякий случай решили не пускать ни туда, ни обратно. Но было уже поздно. Прогресс все равно начался. Первым делом за границу уехал Хор писка и тряски и ездит по ней безвъездно до сих пор. Время от времени сотрудники Хора наезжают в Ибанск сдать валюту и сведения, загнать заграничное тряпье и получить дальнейшие задания. Но их тут же отправляют обратно (или туда?). Вслед за Хором уехала Академия Наук, которая сразу же приняла участие в коллоквиуме и установила контакты, сохранив в непорочности свою принципиальную

позицию: в контакты не вступать. Наша задача, сказал Академик, донести на них, прошу прощения, донести до них свое слово. И он донес на Социолога за то, что тот не дал должный отпор, а Социолог в отместку донес на Мыслителя, что тот вел себя неправильно (Мыслитель сходил в бордель без Социолога). И Мыслитель после этого жаловался Социологу, что его почему-то перестали пускать за границу, к которой он привык и жизни без которой уже не мыслил. Социолог обещал выяснить и помочь.

Крысы

Болтун, чтобы было, что почитать дорогой, приобрел в ларьке книгу «Все о крысах». Разумеется, перевод. В предисловии говорилось, что авторы в течение нескольких десятков лет проводили эксперимент с колонией крыс. Колония была заключена в сравнительно изолированное помещение с целью наблюдать законы крысиной жизни в чистом виде. Однако помещение было достаточно большое и разнообразное, питание также в пределах естественной нормы. Во всяком случае, устанавливая размеры и структуру жизненного пространства и способ питания, экспериментаторы учитывали соответствующие характеристики в естественных условиях. В книге приводились результаты наблюдений и их обобщения. В ряде случаев обобщения были доведены даже до уровня математических формул.

Целью исследования, читал Болтун, было выяснение правил поведения (действий, поступков) крысиных особей друг по отношению к другу. Основу для них образует сложившееся в течение длительной эволюции стремление крысиных особей и групп к самосохранению и улучшению условий своего существования в ситуации социальности. Под социальностью здесь понимается более или менее устойчивое скопление особей для совместной жизни и ее воспроизводства в серии последовательных поколений. Соответственно, правила поведения крысиных особей друг по отношению к другу мы называем социальными, не вкладывая в это выражение никакого иного смысла и не предполагая при этом никаких аналогий с человеческим обществом, которое функционирует совсем по другим законам. В человеческом обществе, как известно, имеются такие исторически выработанные институты, регулирующие поведение людей, как правовые нормы и учреждения, нравственность, религия, общественное мнение, искусство. Ничего подобного нет в крысиной социальности. И хотя на первый взгляд наблюдение ее обнаруживает много сходного с социальностью человеческой и наводит на грустные мысли, однако это явление качественно иной природы. В этом читатель сможет убедиться сам из последующего отчета о результатах эксперимента.

Социальным правилам крысиные особи обучаются, а не приобретают их по наследству. Выросшая в сравнительной изоляции крыса оказывается лишенной тщеславия, не способна конкурировать с другими за лидерство, не способна отнимать у других пищу и делать доносы. Обучаются они на собственном опыте, глядя на других, в процессе воспитания их другими крысами. Они напрашиваются сами собой. У крыс хватает ума открыть их для себя, а крысиное общество поставляет им гигантские возможности для тренировок. В большинстве случаев крысы...

Болтун так увлекся чтением, что проехал свою остановку.

Претендент

Как повествуют ибанские историки, пути в трясину власти залиты кровью и слезами. Передовые деятели Ибанска внесли в это дело свой заметный вклад. А самые гуманные из них изобрели недавно совершенно новый путь, залитый мочой, измазанный г....м и соплями и забрызганный слюной. Именно такой путь избрал покойный Директор и наверняка достиг бы желаемого, если бы не возликовал преждевременно. Претендент метил на то же самое место, что и Директор. И потому они были закадычными друзьями. Сначала Претендент хотел обойти покойного, заручившись поддержкой Теоретика и проскочив сразу в Действительные.

Но Директор умело подставил ему ножку, намекнув Теоретику на намерения Претендента, и номер не удался. Претендент приуныл и слег в больницу с повторным аппендицитом. Известие о долгожданной смерти Директора застало его на операционном столе. Растолкав врачей и наспех засунув вонючие кишки в распоротое пузо, Претендент помчался на кладбище и едва успел произнести взволнованную речь. Спи, дорогой товарищ, и не вздумай просыпаться обратно, прорыдал он, брызгая слезой. Дело твое мы захватим и приведем к логическому концу. Потеря, которую потеряла наука из-за потери тебя, невозвратима. Но мы позаботимся о том, чтобы ее умножить.

Рыдая загробную речь, Претендент выглядывал место своего будущего торжественного захоронения. Надгробие поручу Мазиле, шевелилось в правой половине его мозгов, совершенно еще не изученной, как установила современная наука, в современной науке. Надо только предупредить, чтобы не выпендривался. Все-таки надгробие не какого-нибудь вшивого профессоришки, а как-никак самого... А что, если... Но об этом пока рано. Левая половина мозгов, ведающая, как точно установила современная наука, реченедержанием, в это время без запинки шпарила загробную программную речь Претендента. Говорить он, конечно, умел. Этого у него не отнимешь. Ошибки он делал реже других, не более трех в длинных иностранных словах и не менее одной в односложных ибанских. Из-за этого его не любили в кругах сотрудников и считали белой вороной. Что он лезет не в свое дело, говорили они промеж собой, занимался бы своей наукой. Спи, дорогой друг, в десятый раз вопил Претендент. Мы подхватим выпавшее из твоих рук наше общее дело и понесем его...

Претендент понял, что ему представился шанс. И решил во что бы то ни стало стать Директором. У тебя верный шанс, сказал Мыслитель. Ты должен стать Директором. Надо только все обдумать. Надо найти основное звено, ухватившись за которое мы вытащим всю цепь. Претендент расчувствовался, пообещал Мыслителю место редактора и полставки в Закрытой Школе с закрытым спецбуфетом. После этого Претендент уехал в заграничную командировку. Супруга Претендента позвонила Мыслителю. Одну минуту, сказал Мыслитель, полистав настольный календарь. Приезжай в пятницу от пятнадцати ноль-ноль до шестнадцати тридцати.

Крысы

Сразу же, буквально через несколько дней после начала эксперимента, нам стало казаться, будто крысиная колония обречена на скорую гибель. Происходили поразительные и совершенно не объяснимые с точки зрения существующих теорий явления. Первым делом стихийно образовались и затем были закреплены официально чрезвычайные группы крыс, которые стали вылавливать особей с наиболее высоким интеллектуальным потенциалом и разрывать их в клочья. Затем наиболее отдаленные участки крысятника были очищены от пищи и укрытий, и туда стали стаями загонять специально отобранных крыс и уничтожать там всеми доступными способами. По каким принципам производился отбор, установить пока не удалось. Были выдвинуты различные гипотезы, но ни одна из них не подтвердилась дальнейшим ходом эксперимента. Уничтожения шли волнами. Теория, объясняющая одну волну, оказывалась непригодной для другой. Тем более что уничтожающие сами становились уничтожаемыми. Одновременно в крысятнике происходили процессы, которым также не найдено пока удовлетворительного объяснения. Так, одни участки, в которые экспериментаторы поставляли обильную пищу, окружались отрядами крыс, и пища разрушалась. А другие участки, лишенные пищи, превращались в специальные питательные пункты, в них доставлялись скудные объедки, и населению крысятника предоставлялась возможность добывать пропитание в ожесточенной борьбе друг с другом. Но самое, пожалуй, поразительное явление — все застекленные участки крысария, через которые производилось наблюдение, постепенно стали закрываться крысиным пометом, и возможности наблюдения резко сократились. В глубине крысария образовались зоны, совершенно недоступные

наблюдению. И о том, что там происходит, мы могли судить лишь по косвенным свидетельствам: гигантское количество трупов, выбрасываемых из-за перегородок, ручьи крови, вытекающие постоянно из-под них, постоянные непомерные требования пищи.

Однако иаши прогнозы относительно неизбежности гибели колонии крысария оказались ошибочными. Об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что эксперимент продолжался несколько десятков лет. Уже через три года довольно точные подсчеты показали, что население крысария увеличилось почти вдвое (вместо ожидаемого сокращения вдвое), хотя при этом число насильно уничтожаемых особей неуклонно росло. И когда вдруг (опять-таки по неизвестным пока причинам) упомянутое уничтожение резко сократилось (временами оно почти прекращалось совсем; но потом снова начиналось, так что говорить о нем как о временном явлении пока нет оснований), то сразу же сократился прирост населения крысария. Загадочным также осталось и то обстоятельство, что несмотря на стабильное снабжение крысария пищей и даже сокращение питания, уровень потребления на крысиную душу временами заметно возрастал при общем росте населения.

Дырка в Европу

Через дырку в Европу из Ибанска стали усачиваться картины, рукописи, скульптуры, иконы, люди. Один тип ухитрился даже тещу протащить с собой — случай беспрецедентный в мировой истории. Даже при Великом Царе, когда через границу ездили на волах со всеми чадами и домочадцами, с крупным рогатым скотом, свиньями, овцами и курами, ничего подобного замечено не было. Зарубежная пресса писала по этому поводу, что ибанцы молчат-молчат да вдруг выдадут что-нибудь такое, от чего весь мир содрогается.

Началось все это с сущего пустяка. Один полоумный аспирант, сочинивший бредовую диссертацию и отчаявшийся ее защитить из-за высказанных в ней смелых передовых идей, в припадке мании величия закинул рукопись во двор одного иностранного посольства. Экс-аспиранта забрали тут же. Из здания посольства вышел иностранец, брезгливо взял двумя пальцами рукопись впавшего в гениальность экс-аспиранта и выбросил обратно. Экс-аспиранта выпустили и силой всучили ему его рукопись, которую он упорно отказывался брать, настаивая на немедленном ее издании на Западе. Слух о событии молниеносно распространился в среде творческой интеллигенции, и она сделала из него далеко идущие выводы. Примеру экс-аспиранта последовал Кандидат. Кандидат написал вполне ортодоксальную книгу, но дерзнул в ней что-то высказать от своего имени, а не от имени основоположников, которые на эту тему не хотели и все равно не успели бы ничего высказать. Рукопись была принята к печати в ибанском ответственном издательстве. Но Кандидат боялся, что она все равно не пройдет (привычка, оставшаяся от времени Хозяина!), и отнес рукопись за границу (новые веяния режима Хряка!). После этого Кандидат сильно испугался, раскаялся и написал обоснованный донос на всех своих друзей, которые не удержали его от этого шага.

Самый решительный шаг в этом направлении сделал Клеветник. Отсидев много лет ни за что ни про что, он досконально изучил законы и заявил, что мы имеем право печатать что угодно и где угодно, лишь бы это не была государственная тайна и антиибанщина. Главное — ухитриться передать туда. Поймают — не пропустят, и только. Проскочишь — твоя удача. Клеветник скоро убедился в своей детской наивности и в мудрости своего деда, который как аксиому принимал формулу: «Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Но прогресс уже начался. И потребовались значительные усилия, чтобы его остановить и ликвидировать его нежелательные последствия.

О том, каких чудовищных размеров достигла пропускная способность дырки в Европу, свидетельствуют такие факты. Один подпольный художник-модернист протащил через нее картину площадью в десять раз больше, чем «Сикстинская Мадонна», а подпольный скульптор-экспрессионист протащил железочугунную скульптуру весом в десять тонн. Пока

скульптора просвечивали рентгеном и таможенники лазили пальцем в его задний проход, скульптура стояла рядом и мешала входу-выходу. Наконец, старший начальник разбил об нее лоб и приказал ее немедленно убрать с дороги на Запад. Через час шедевр был в Европе.

Крысы

Мы с самого начала обнаружили, читал Болтун, поразительное явление, а именно — раздвоенность поведения крысиных особей. Один аспект поведения мы назвали собственно социальным, а другой — официальным. Соотношение этих аспектов определяется следующими принципами. Официальность есть общепризнанная форма признания социальности. Официальность есть...

Болтун чувствовал, что он уже где-то читал нечто подобное, но вспомнить никак не мог. Например, читал он далее, лидер крысиной группы социально не может иметь интеллектуальный потенциал выше потенциала группы, а официально он не может быть глупее группы. Поскольку имеет место тенденция к соответствию социального и официального, имеет место тенденция к снижению интеллектуального потенциала группы. Были зарегистрированы многочисленные случаи, когда буквально за несколько месяцев он падал в несколько раз и опускался ниже пороговой нормы, что приводило в конце концов к катастрофическим последствиям.

Интервью

Если рукопись, картину, скульптуру, икону, тещу и прочие материальные предметы опытный таможенник в принципе может обнаружить под двойным дном чемодана или в сувенирной «Матрешке», то остановить поток слов, устремляющихся на мировую арену из Ибанска в виде интервью, уж не стало никакой возможности. Ибанцы до того привыкли к интервью, что даже со знакомыми стали общаться через иностранных журналистов и иностранное радио. Произвели, допустим, у ибанца А обыск. И правильно сделали: не храни дома и не передавай другим книгу, не дозволенную к печати. Вместо того чтобы ходить по знакомым и всем рассказывать, что с ним стряслось (а умолчать о таком деле никак нельзя!), А собирает иностранных журналистов, и на другой день весь мир (в том числе и знакомые А) знает об этом выдающемся событии. Или, допустим, ибанец В захотел съездить за границу (ишь, чего захотел!), а его не выпустили. И не сказали почему. Опять-таки кличет В иностранных журналистов, и на другой день весь мир только и говорит о том, что В не выпустили за границу. Причем говорит с таким видом, будто заграница без В уже жить никак не может. Слово «интервью» стало привычным. Один персональный пенсионер в поисках общественной уборной обратился к прохожим с просьбой дать ему интервью на эту тему. Прохожие шарахнулись в стороны. Подоспевшие на помощь дружинники забрали пенсионера. Хотя тот поклялся, что он не интеллигент, и в доказательство предъявил засиженный мухами и клопами диплом Наивысшей Академии Ликвидации Полнейшей Безграмотности, ему не поверили.

Крысы

Введем понятие социального индивида, читал Болтун, без которого немыслимы никакие теоретические обобщения. Социальным индивидом мы будем называть отдельную крысиную особь, группу крыс, объединение групп и даже целую относительно замкнутую крысиную колонию. Упомянутая замкнутость имеет место и в естественных условиях, для которых достоверно установлено, что между крысиными колониями имеются строго установленные границы. Переход крыс из одной колонии в другую строго карается специальными группами крыс как с той, так и с другой стороны, и разрешается лишь в исключительных, строго установленных случаях. Индивиды разделяются на простых и сложных. Про-

стой индивид — отдельная особь, сложный — группа. Но они имеют общие признаки. Каждый нормальный индивид имеет орган, с помощью которого...

До чего же все это знакомо, думал Болтун. Где я все это читал? И он вдруг вспомнил Шизофреника.

Выписки из книги Клеветника

Чтобы достаточно полно и точно оценить особенности идеологических формирований нашего времени, писал Клеветник, надо хотя бы в общих чертах рассмотреть социальную ситуацию в современной науке, ситуацию в методологии науки, которая образует мост от науки к идеологии, и некоторые чисто фразеологические особенности методологии науки, без которых совершенно невозможно понять текстуальный вид идеологических феноменов.

С этой точки зрения надо принять во внимание, прежде всего, сам факт превращения занятия наукой из исключительного в самое заурядное массовое явление. Раньше наукой занимались единицы, теперь — сотни тысяч, а может быть, и миллионы. Раньше слово «ученый» обозначало некоторую характеристику личности. Теперь оно звучит несколько юмористически и вытесняется выражением «научный работник», обозначающим одну из широко распространенных профессий. Раньше со словом «ученый» ассоциировали образованного и талантливого человека. Теперь выражения «безграмотный» и «бездарный» в отношении ученых употребляются не реже, чем в отношении деятелей искусства и литературы. Раньше ученый — часто человек, ценимый за какие-то идеи и открытия. Теперь заслуги ученого чаще определяют количеством опубликованных работ, учеными степенями и званиями, а в основном — занимаемыми должностями. В силу разделения труда все более отчетливо обнаруживается простота и даже примитивность интеллектуальных функций для подавляющего большинства лиц, занятых в науке. Происходит престижное обесценивание самой деятельности ученого сравнительно с уровнем недавнего прошлого. Вместе с тем, чтобы стать крупным ученым, теперь действительно требуется более высокое интеллектуальное развитие и выдающийся вклад в науку или — на худой конец — более выдающиеся способности карьериста. Поэтому выбиться в крупные ученые исключительно за счет научных открытий теперь труднее, чем раньше. Талантом и интеллектуальным трудом рядовых работников науки благодаря самой социальной структуре научных исследований часто пользуются люди, занятые организационной деятельностью или занимающие ответственные посты. Все это создает определенную моральную и психологическую атмосферу в науке, ничего общего не имеющую с теми идиллическими картинками, которые можно вычитать в самых критических и обличительных произведениях художественной литературы и мемуарах, посвященных науке прошлого.

Современная наука не есть сфера человеческой деятельности, участники которой только и заняты поисками истины. Наука содержит в себе не только и даже не столько научность как таковую, которая совсем не похожа на науку в общепринятом стиле, но и антинаучность, которая глубоко враждебна научности, но выглядит гораздо более научно, чем сама научность. Увы, этот мир так уж устроен. Здесь все раздвоено и вывернуто наизнанку. Принципы научности и антинаучности диаметрально противоположны. Научность производит абстракции, антинаучность их разрушает под тем предлогом, что не учитывается то-то и то-то. Научность устанавливает строгие понятия, антинаучность делает их многосмысленными под предлогом охвата реального многообразия. Научность избегает использовать те средства, без которых можно обойтись. Антинаучность стремится привлечь все, что можно привлечь под тем или иным предлогом. Научность стремится найти простое и ясное в сложном и запутанном. Антинаучность стремится запутать простое и сделать труднопонимаемым очевидное. Научность стремится к установлению обычности всего, что кажется необычным. Антинаучность стремится к сенсационности, к приданию обычным явлениям формы загадочности и таинственности. Причем сначала научность и антинаучность (под другими названиями, конечно) рассматривают как равноправные стороны единой науки, но затем антинаучность берет верх, подобно тому как сорняки глушат оставленные без прополки культурные растения. Научности в рамках науки отводится жалкая роль чего-то низкосортного. Ее терпят лишь в той мере, в какой за ее счет может жить антинаучность. В тенденции ее стремятся изгнать из науки насовсем, ибо она есть укор для нечистой совести. Это — типичный случай борьбы социальности и антисоциальности. Причем научность представляет элемент и средство антисоциальности, тогда как антинаучность есть ярчайшее выражение социальности. Так что когда возлагают надежды на то, что наука будет играть роль средства прогресса цивилизации, то совершают грубейшую ошибку. Наука есть массовое явление, само целиком и полностью управляемое социальными законами и лишь в ничтожной мере содержащее в себе научность (т. е. лишь в ничтожной мере продуцирующее антисоциальность). А в условиях чистой социальности элемент научности в науке стремится к нулю.

Только завтрак навернем,
Как уже обеда ждем.
Проглотив обед, мы тут же
Ждем, когда наступит ужин.

Остальное — дребедень!
Так за днем проходит день.

(Из «Баллады»)

Обед пропал. Прижавшись друг к другу, штрафники тряслись от озноба. Не спалось. Не бодрствовалось. Был у меня такой случай, говорит Мерин. Был я дневальным по конюшне. В последнюю смену. Надо смену сдавать, а какая-то сволочь оголовье сперла. Сменщик не принимает. Пришлось ждать, забираться в соседний эскадрон и воровать недостающее оголовье. Все так делали. В полку вообще не один десяток оголовьев пропал, а по бумагам и отчетам — все на месте. Сдаст один смену — у него потом сопрут. Потом — у этого. И так до тех пор, пока все не отчитаются. Так вот, сдал я смену. На ужин, конечно, опоздал. Пришел в столовую — и что вы думаете! Осталось штук тридцать мисок шрапнели. Каждая миска — на четверых. У меня аж голова закружилась. Тут пришел еще один опоздавший со смены. И мы с ним принялись за дело. Хотите верьте, хотите — нет. Восемь мисок я навернул запросто. И еще, наверно, срубал бы. Да случайно взглянул на соседа. Тот слопал мисок пятнадцать. Гляжу — глаза у него закатились, каша прет даже из ушей. И он как-то странно стал сползать со стула. Я в ужасе хочу встать и не могу. Каша распирает. Расстегнул все пуговицы. С трудом выбрался на улицу и, как в бреду, поплелся в казарму. Отлежался. А парень тот умер. Это что, говорит Паникер. Мы в первоначалке втроем однажды съели второй завтрак на целое звено. Приехал Особняк. Поклялся, что легко узнает, кто съел. Воры объелись, и обед есть не смогут. Пришлось обед рубать как ни в чем не бывало. Особняк был потрясен. Умолял признаться, обещал не наказывать. Ему хотелось посмотреть на таких выдающихся обжор. А мы кто? Мы обыкновенные рядовые голодающие. Конечно, не признались. У нас, говорит Пораженец, штурман эскадрильи козу завел. Симпатичная скотина была. Везде за нами бегала. Как-то пошли мы в самоволку. И она за нами увязалась. Отгоняли-отгоняли назад, не уходит. Тут-то и пришла в голову идея. Это был первый и, кажется, последний раз в моей жизни, когда я от пуза ел свежее жареное мясо. У нас, говорит Уклонист, на втором аэродроме под боком был фруктовый сад винкомбината. Мы там, конечно, паслись потихоньку. Начальство комбината сдуру обратилось к нашему начальству с просьбой помочь охранять сад. Наше начальство, имевшее кое-что от начальства комбината, согласилось, и нас стали посылать патрулировать сад. Что после этого началось! За неделю обглодали даже кору на деревьях. Начальство комбината взмолилось убрать патрули. А это не так-то просто. Пока дело ходило в округ и обратно, кончился сезон, и мы сами перестали ходить в сад, хотя нас чуть не до Нового года еще назначали. Вот поднабрались витаминчиков! На всю жизнь хватит!

Крысы

Социальными действиями мы называем такие действия крысиных особей и групп крыс, которые суть их действия по отношению к другим особям и группам, так или иначе затрагивающие их интересы. Причем эти действия являются преднамеренными (крысиные особи так или иначе отдают себе отчет в том, к чему приведут их действия для других особей), свободными (крысиные особи их могут осуществлять и не осуществлять) и эгоистичными (крысиные особи осуществляют их в своих интересах). Мы категорически возражаем в данном пункте против отождествления сознательности, свободности и заинтересованности действий крысиных особей с аналогичными качествами социальных действий людей. Сознательность человеческих действий означает, что они обдуманы и оценены с точки зрения исторически завоеванных правовых и нравственных (и, возможно, иных) критериев. Свобода человеческих действий означает, что человеку существующими общественными институтами и привычным способом жизни гарантированы возможности осуществления действий определенного рода (таковы, например, свобода слова, свобода совести, свобода передвижений). Соблюдение своих интересов человеком предполагает учет интересов других людей и нахождение оптимальных вариантов поведения (соглашения, взаимные уступки, договор, слово). Ничего подобного нет в отношениях крысиных действий, ибо они исключают оценочные критерии и исторически завоеванные, преемственные и охраняемые обществом институты, лишь благодаря которым человеческое общество отделилось от обществ животных и оказалось способным к небиологическому прогрессу.

Педагогика

Два часа занимались строевой подготовкой. Отрабатывали обращение к начальству и приветствие старших по чину. Потом ворчали по поводу бессмысленности и бесчеловечности этих занятий. Лейтенант сказал, что эти занятия чисто педагогические цели преследуют. Педагогика — вещь серьезная, сказал Жлоб. У нас у одного курсанта рефлексы запаздывали. Инструктор (большой педагог) пошел на хитрость: стал все команды подавать раньше. И курсант вылетел самостоятельно, окончил школу и улетел на фронт. А чем он кончил, спросил Уклонист. Сбросил бомбы после того, как эскадрилья возвращалась уже домой, сказал Жлоб. Это что, говорит кто-то в темноте. У нас в первоначалке один курсант боялся без инструктора сажать самолет, хотя летал прилично. Инструктор решил тоже взять его на хитрость, отсоединить ручку управления в воздухе и выкинуть за борт. Курсант узнал об этом и захватил в кабину с собой запасную ручку. Летят. Инструктор отсоединил ручку, показал курсанту и выкинул за борт. Мол, теперь веди самолет сам. И сажай сам. А курсант показал запасную ручку инструктору и тоже выкинул ее за борт. И чем это кончилось, спросил Жлоб. Инструктор сошел с ума, сказал говоривший, а курсант посадил машину, попал на фронт, заработал сначала кучу орденов, а потом десять лет. За что, спрашивает Уклонист. За разговорчики, сказал Юморист. В наше время слово есть самое серьезное дело. За слово дают больше, чем за дело. Да, сказал Уклонист. У нас за словом идет Дело.

Крысы

Крысиные особи образуют группы. Не всякие их группы можно считать социальными. Например, скопление крыс у корки хлеба не есть социальная группа. Аналогично не является социальной группа дерущихся из-за лидерства крыс и толпа зевак, наблюдающих за этим увлекательным зрелищем. Социальная группа есть скопление крыс, вынужденное более или менее постоянными условиями их существования. В нем имеет место устойчивое разделение функций, и в первую очередь — разделение на руководящую и руководимые части. Руководящую часть в отличие от простого индивида здесь образует крыса или (в более сложных образованиях) группа крыс...

Величие

Разоблачительная речь Хряка оказалась беспрецедентным явлением в ибанской истории не ее содержанием (чего только у нас не говорили!), а самим формальным механизмом действования. Все было правильно. Механизм работал правильно. А результат получился неправильный. Шизофреник говорил, что никакого парадокса тут нет. Просто между речью Хряка и смятением умов нет причинно-следственного отношения. Есть лишь совпадение и следование во времени. Они оба суть следствия общих причин. Но начальству важны были виноватые. А кто виноват, было ясно даже дураку. Болтун сказал, что дураку всегда все ясно, но его не поняли.

Однако анализ ситуации оказался слишком поспешным. После снятия Хряка он не исчез в безвестность и в пренебрежение, как его предшественники, а, наоборот, стал более значительной фигурой, чем был в самый высший период своей власти. Он поумнел и обрел лицо гражданина. Он публично сожалел о том, что не довел разоблачение до конца, что не дал напечатать все книги Правдеца. Также публично заявил, что ошибался в оценке творчества Мазилы, и интересовался его жизнью. Время шло, забывались великие и малые глупости. С именем Хряка прочно ассоциировались лишь две величайшие в ибанской истории акции. Одна — разоблачение Хозяина и реабилитация миллионов пострадавших людей. Другая — невиданное доселе расширение культурных и деловых связей с Западом. Потом Хряк умер. И тогда с ним произошло третье из ряда вон выходящее событие: его похоронили не в Стене, как он того заслуживал со всех точек зрения, а на Старобабьем кладбище рядом с могилой какого-то Директора. Принимая решение о месте похорон, Руководство намеревалось нанести Хряку удар, а сделало для него величайшее благодеяние. Оно поставило Хряка в исключительное положение. Похороны в Стене были бы признанием Хряка своим, но это было бы наказанием путем признания, так как Хряк затерялся бы там среди десятков других заурядных в силу большого их числа деятелей. Похороны на Старобабьем кладбище были наказанием и отчуждением от себя. Но это наказание обособило и возвеличило Хряка в большей мере, чем все его собственные действия и бесчисленные дифирамбы в грандиозной системе возвеличивания власть имущих. Могила Хряка стала символом и местом поклонения. Так было создано второе святое место в Ибанске, маленькое и неофициальное в отличие от грандиозного официального первого, а потому более человечное.

Из книги Клеветника

Сознание современного среднеобразованного человека по многочисленным каналам (радио, кино, журналы, научно-популярная литература, научно-фантастическая литература) начиняется огромным количеством сведений из науки. Безусловно, при этом происходит повышение уровня образованности людей. Но при этом складывается вера во всемогущество Науки, а сама Наука обретает черты, весьма далекие от ее академической обыденности. Научные сведения, проникая в сознание людей, попадают не на пустое место и не в их первозданном виде. Современный человек обладает исторически навязанной ему способностью к идеологической обработке получаемых сведений и потребностью в этом. А общество преподносит ему научные сведения в такой форме, что идеологический эффект оказывается неизбежным. Наука в итоге поставляет лишь фразеологию, идеи и темы. Но, как распорядится этим материалом исторически сложившаяся сфера обработки сознания людей, зависит не от одной науки. Достаточно сказать, что наука профессиональна, ее результаты имеют смысл и доступны проверке лишь в специальном языке. Для широкого потребления они пересказываются на обычном языке, с упрощениями и пояснениями, которые создают иллюзорную ясность, но, как правило, не имеют ничего общего с поясняемым материалом. Достижения науки преподносятся людям особого рода посредниками — «теоретиками» данной науки, популяризаторами, философами и даже журналистами.

А это огромная социальная группа, имеющая свои социальные задания, навыки и традиции. Так что достижения науки попадают в головы простых смертных уже в таком профессионально препарированном виде, что только некоторое словесное сходство с отправным материалом напоминает об их происхождении. И отношение к ним теперь иное, чем в их научной среде. И роль их становится здесь иной. Так что, строго говоря, здесь происходит образование своеобразных двойников для понятий и утверждений науки. Некоторая часть этих двойников на более или менее длительное время становится элементом идеологии. В отличие от понятий и утверждений науки, которые имеют тенденцию к определенности и проверяемости, их идеологические двойники неопределенны, многосмысленны, недоказуемы и неопровержимы. Они бессмысленны с научной точки зрения. Например, утверждения физики о наличии у микрочастиц волновых и корпускулярных свойств, будучи извлечено из физики и подвергнуто идеологической обработке, превращается в выражение с неопределенными и многосмысленными словами «волна», «корпускула», «одновременно» и т. д. Теперь можно показать, что физические тела вроде не могут быть одновременно волнами и корпускулами, а с другой стороны — вроде бы могут где-то в глубинах материи. Это сказка. Но сказка, рассчитанная не на детей, а на взрослых образованных людей, жаждущих таинственности и загадочности. Чтобы рассказывать такие сказки, надо научиться довольно тонким и сложным манипуляциям с языковыми конструкциями, получить специальное образование в физике да еще обрести какие-то навыки в методологии науки.

Общество оказывает давление на людей, заставляя их высказывать почтение к идеологическим двойникам науки. Так, многие положения теории относительности, в свое время гонимые как еретические в их идеологическом перевоплощении, теперь чуть ли не канонизированы. Попытки высказать что-либо, по видимости не согласующееся с ними, встречают отпор со стороны влиятельных сил общества (например, в форме обвинений в невежестве, в реакционности).

Не любые истины науки удостаиваются чести иметь идеологических двойников, а лишь удобные для этой цели. Так, одна известная теорема о неполноте формальных систем определенного типа, имеющая смысл в логике, превращается в банальную истину о невозможности полностью формализовать науку и становится «притчей во языцех», тогда как другая истина о существовании принципиально неразрешимых проблем такой участи избежала, хотя из нее можно извлечь гораздо больше всякого рода назиданий. Здесь бывают свои разжалования и пожалования, реабилитации и выдвижения. Происходит это, по видимости, как явления в рамках науки. Идеология в данном случае жаждет выглядеть наукой.

Крысы

Социальные отношения в крысиной колонии суть отношения крысы к своей группе, группы к своей крысе, крысы к крысе в группе, крысы к крысе вне группы по стандарту отношений в группе, группы ко всей колонии в целом и колонии в целом к крысе. Отношение крысы к группе характеризуется...

Стенгазета

Когда ибанцы узнали (с разрешения начальства, разумеется), что китайцы на стены домов и заборы вешают листки со всякого рода хвалебными критическими заметками, называемые дацзыбао, они надрывались от хохота. Ну и живут же люди! Впрочем, что с них взять! Китайцы! При этом ибанцы почему-то начисто позабыли о том, что у них у самих в каждом учреждении висят эти самые дацзыбао, по-ибански именуемые стенгазетами. Причина такой забывчивости ясна. К стенгазетам привыкли до такой степени, что перестали на них обращать внимание, и они как бы перестали существовать для средне нормального ибанца. Но стенгазеты являются необходимым элементом ибанской жизни. За невыпуск их привлекают к ответственности. Выходят они регулярно к праздникам, выдающимся юбилеям и отчетно-перевыборным собраниям. Подобно тому как все ибанские газеты похожи друг на друга и различаются только названиями, все ибанские стенгазеты похожи друг на друга и различаются только стенками, на которых они висят. От газет они отличаются только способом изготовления (их печатают на машинке или пишут от руки), тиражом (они выходят в одном экземпляре) и числом номеров в год.

Выходила такая стенгазета и в Институте. И на нее, как и повсюду, никто не обращал внимания от одного отчетно-перевыборного собрания до другого, на которых старую редколлегию, в которую обычно включали половину сотрудников учреждения (художников — писать заголовки и лозунги, рисовать портреты и наклеивать вырезанные из журналов картинки; представителей от всех подразделений — собирать заметки; представителей всех общественных организаций — проверять заметки; подходящих лиц — для заведования в Газете производственным, культурно-массовым, молодежным, физкультурным и многими другими отделами; подходящих лиц, отобранных и намеченных свыше, — на должности редактора, пяти заместителей и двенадцати наблюдателей за заведующими отделов; подходящих лиц, умеющих сочинять рифмы и писать длинные поклепы, — на должности поэтов, прозаиков и фельетонистов для осуществления положенной острой критики и самокритики, которые, как известно, являются движущей силой ибанского общества), так вот, эту старую редколлегию утверждали на новый срок, поскольку она хорошо справлялась со своими обязанностями. Так бы и выходила и выходила в Институте стенгазета с названием «Ибанский мыслитель», если бы не начались новые веяния и не докатились до пятого этажа, где был расположен Институт. Но они-таки докатились несмотря на то, что лифт с незапамятных времен находился в ремонте, обрекая ожиревших и одуревших от старости и безделья сотрудников на новые модные пришедшие с запада болезни — инфаркт, рак, инсульт, диспепсию, паранойю. И вот тут-то институтские либералы, демагоги, крикуны и молодые хулиганы, проверив и перепроверив материалы во всех руководящих инстанциях и убедившись в правильности общей установки, выпустили тот самый роковой номер стенгазеты.

У газеты сразу собралась толпа сотрудников. Ну и ну, говорили одни, вот дают! Безобразие, говорили другие, до чего докатились! Ха-ха, говорили третьи, здорово они их зацепили! Четвертые загадочно усмехались и обдумывали доносы, которые они немедленно напишут в различные инстанции. Пятые, убедившись в том, что их не тронули, с облегчением вздыхали и равнодушно отправлялись на свои рабочие (вернее, нерабочие) места. Шестые, заметив, что их как-то изобразили, бежали жаловаться в бюро на то, что их исказили и оскорбили личное достоинство. Одним словом, у газеты творилось что-то невообразимое. Претендент с трудом пробился через толпу, скользнул взглядом по передовице, по фигуре Учителя, нюхавшего ветку сирени на фоне телевизионной башни и метромоста, по заметкам производственного отдела и отделов разного рода общественных жизней и впился в свою собственную физиономию, до неузнаваемости изуродованную в отделе сатиры и юмора. Он был готов ко всему, но только не к этому. Претендент был изображен на заседании редколлегии в виде короля Людовика Четырнадцатого, а члены редколлегии (и даже Мыслитель!) — в виде пешек. Мыслитель был изображен пешкой покрупнее. Под карикатурой была подпись на ибанском языке, но латинскими буквами:

Скажу вам правду, не тая,
Журнал, конечно, это — я.

Правильное положение в жизни

Хочешь счастливо прожить,
Научися блох ловить.
(Из «Баллады»)

Самая страшная вещь в жизни, говорит Жлоб, — это блохи. Когда их много. Одна блоха — всего лишь блоха. Десяток блох — терпимо. Но сотни блох, кидающихся на тебя сразу со всех сторон, — это кошмар. Их не видно. Непонятно, где они кусают, как, за что. Никакого спасения.

Лучше со стадом львов сражаться. Или даже с волками. На худой конец — с шакалами. Но с полчищами блох сражаться бессмысленно. Блохи — не самое страшное, говорит Мерин. Я в кавалерии служил. У нас блохи дохли от изнеможения сами. Кавалерия ж — это вам не школа жизни. Это академия жизни. Главное условие счастливой жизни, это я понял только благодаря кавалерии, — научиться нормально жить задом наперед и вверх ногами. Едва успели мы обучиться залезать без посторонней помощи на наших боевых подруг с дореволюционным стажем, как нас стали учить... Чему бы вы подумали? Джигитовке! Заезжаем в манеж. Посредине старшина с хлыстиком. Вольт налево дела-а-ай! К пешему бою с посадкой слеза-а-а-а-ай! Ножницы дела-а-а-а-ай! Перевернешься с грехом пополам задом наперед, тут-то и наступает главное событие сезона. Армейские лошади усваивают не только команды, но и солдатские шутки. Как только твоя склонная к юмору Осока, Акула или Лорелея заметила левым глазом, что ты отважился задрать кверху ноги, она прямым ходом из манежа мчит тебя к полковому штабу. Весь штаб вылезает наружу и надрывается от хохота во главе с командиром. Потом она прет тебя к штабу соседнего полка. И там повторяется та же картина. Потом к санчасти. Потом к ветлазарету. Потом к клубу. Потом к дому начсостава. Ты мертвой хваткой вцепился в хвост и в гриву. Перед самым носом у тебя мелькают мощные подковы. Одним щелчком такая может пробить череп мамонта. А твою пустую хрупкую черепушку разнесет вдребезги. Всем смешно. А каково тебе? Объехав так все дивизионные службы, ты мчишься за десять верст к штабу дивизии. Тут твоя Пенелопа начинает вытворять такое! Только что на хвосте не стоит! Ни в одном цирке не увидишь! После того как командир дивизии уписается от хохота, ты мчишься в манеж родного эскадрона и как ни в чем не бывало включаешься в общий строй. Вольт налево дела-а-ай! К пешему бою с посадкой слеза-а-ай! Если выйду из этой передряги живым и разведу детей, первым делом научу их жить задом наперед и вверх ногами. Пусть хоть дети будут счастливы.

Страх правды

Панический страх правды о себе — вот знамение времени, говорит Посетитель. Не боязнь разоблачения, а именно страх правды о себе. Люди жаждут быть обманутыми. Искусство самообмана достигло таких высот, что самое время собирать по этому поводу конгрессы, организовывать институты, издавать учебники. Это, очевидно, общий закон, говорит Мазила. Люди в массе никогда не имели верного представления о себе и своей эпохе. Но в разные эпохи по разным причинам, говорит Посетитель. Раньше из-за невежества. А теперь? Теперь потому, что грамотны и могут понять свою суть и свое положение в обществе. Это их унижает и удручает. Страх правды в наше время есть страх не перед неведомым, а перед очевидно ведомым. Люди боятся самих себя, так как знают, кто они.

Кто кого предал

Слышали, говорит Мазила, не вернулся Т. Да, говорит Неврастеник. Читал письмо его коллег. Они его назвали предателем. Предатель, сказал Посетитель. С какой легкостью они это говорят. А ведь они-то очень хорошо знают этого человека. Они знают, что он не предатель. Я с Т был знаком с юности. Он отличником окончил школу и обнаружил выдающиеся способности в институте. По доносу ближайших друзей его забрали. Заступилась за него школа, в которой он учился десять лет? Заступился за него институт? Соседи? Знакомые? Даже родители не пикнули! А он у них был единственный сын! Так кто же кого предал?! Прошли годы. Он стал видным ученым. Вся его жизнь шла на глазах у всех. Какая-то кампания началась, и его опять по шапке. Заступились за него коллеги? Студенты? Аспиранты? Друзья? Кто же кого предал?!! И еще прошли годы. Началось самое либеральное время в нашей истории. Т приобретает широкую известность. Его знают за границей. На конгресс приглашается он, едут другие. В Академию избираются люди, которые в сравнении с ним ничто. На премию выдвигают группу ученых, где он играл первую скрипку. Его выбрасывают. И все это происходит на глазах у всех. Все знают, что такое Т и что такое те, кто ездит, избирается, награждается. Так кто же кого предал?!.. Наконец, он начал создавать школу, о которой заговорили за границей. Коллеги сделали все, чтобы ее разрушить. И добились своего. Разгром группы Т проходил совершенно открыто. Об этом говорили дома, в коридорах, в ресторанах. Но никто не шевельнул пальцем, чтобы остановить это преступное дело. А ученики? Где они? Как они защитили своего учителя и руководителя? Кто же кого предал, черт возьми!!!

Кто мы

Я здесь у вас, говорит Журналист, встречался с самыми различными людьми из самых различных слоев общества. И все вы говорите об одном и том же, хотя и в несколько варьируемом языковом выражении. У вас бесхозяйственность. Безответственность. Дефицит необходимых вещей. Вы прикреплены к месту жительства, к работе. Никакой свободы инициативы. Нечего читать. Нечего смотреть. В руководстве дураки и стяжатели. Глупость то. Глупость это. Так говорят и рабочий, и писатель, и министр, и актер... Все говорят и говорят... И ничего не делают, чтобы изменить. Я много раз встречался с людьми с Запада, говорит Болтун. С писателями, художниками, учеными, студентами, бизнесменами. И все вы говорите о нас одно и то же: что мы все говорим одно и то же, говорим и ничего не делаем. Я каждый раз спрашивал. Спрашиваю и вас. А разве я говорил вам это? Нет. И не буду. Я говорил вам совсем другое. Но вы, как и ваши предшественники, пропускаете все это мимо ушей. Я для вас не существую. Такие, как я, для вас не существуют. А нас, таких, не так уж мало. Дело не в том, чтобы открыть правду о себе. На это много ума не нужно. Дело в том, как после этого жить. Для нас не секрет, кто мы. И жалуемся отчасти потому, что немного стыдимся этого или кокетничаем своим глубокомыслием. Кстати сказать, лица, причастные к высшей власти и располагающие благами жизни, поносят нашу жизнь больше, чем лишенные этого. Им виднее. И аппетиты у них больше. К тому же безнаказанно можно выглядеть мыслящими и мужественными. Конечно, мы все хотим лучшего. Тем более, глядя на вас, мы потеряли невинность. Но желать — одно, а мочь — другое. Мы свои желания можем реализовать только через нашу жизнь тут. А это значит, что плачем мы одинаково, а действуем различно и хотим разного. Насчет бездействия вы неправы. Мы все действуем. Вы знакомы с Академиком? Жаловался? Жаловался. Вы думаете, он бездействует? Действует, да еще как! Оттирает вовсю Троглодита и Секретаря. Захватил половину постов, которые они занимали раньше. Повсюду проталкивает своих холуев. Думаете, лучше стало? Нет. Он-то думает, что лучше, поскольку он, а не кто-то другой захватил эти места. А он, между прочим, больше всех сделал, чтобы раздавить Клеветника. Вы знакомы с Претендентом. Жаловался? Конечно. Бездействует? Нет. Он свои жалобы и желания реализует так, как может в силу своего положения и своей натуры. Уж он-то до печенок убежден в том, что на всех парах перестраивает страну по западным образцам. С Социологом и Мыслителем вы десятки раз говорили. И они, по-вашему, бездействуют? Им противно смотреть на очереди, грязь, беспорядки. Но вы думаете, их это глубоко волнует? Они даже будут опечалены, если это исчезнет. О чем тогда говорить? На каком материале чувствовать свое превосходство над другими? На каком материале чувствовать себя жертвами? А чего они хотят? Напечатать труд, продуманный десятилетиями? У них его нет! Дать дорогу подлинному таланту? А скольким талантам именно они закрыли дорогу! Их допустили до власти только потому, что Троглодит и Секретарь в теперешних условиях неспособны отличить талант от посредственности и стали пропускать отдельные талантливые работы. Мыслитель и Социолог не пропустят. И они прекрасно действуют в этом духе. Люди, озабоченные преобразованиями нашей жизни, у нас тоже есть. Вы о них знаете. И знаете, что они тоже кое-что

делают. И знаете, как с ними поступают. Их рассматривают как врагов, клеветников, предателей. Кто? В том числе те, с кем вы беседовали и кто жаловался вам на свою горькую участь и на наши скверные порядки. В том числе — некоторые из тех, кого вы в своей последней статье зачислили в духовные вожди нашей интеллигенции. Вы пишете книгу про нас, насколько мне известно? Хотите пари? Вы в ней не напишете обо мне и об этом нашем разговоре ни слова. А если и напишете, то все наоборот. У меня нет к вам претензий и не будет. Ваше поведение определяется не тем, что вы слышите и говорите сейчас, а социальной позицией там, у себя дома. Вы же человек. Так чего же вы хотите от нас? Мы всего лишь люди, а не актеры в желательном для вас спектакле.

Крысы

Вопрос о крысах-лидерах есть один из центральных для крысологии, ибо это есть вопрос о том, что из себя представляют социальные группы данного крысиного общества. В принципе лидер адекватен в социальном отношении группе («каков поп, таков и приход»). Бывают исключения, но...

Из книги Клеветника

Одной из самых любопытнейших черт пропаганды научных достижений и методологии науки является стремление придать конкретным научным открытиям не только вид переворота в понимании той или иной области действительности, но и вид сенсационного переворота в логических основаниях науки вообще. Иногда это делают прямо, заявляя о непригодности «старых» правил логики в каких-то новых областях науки. В частности, чуть ли не предрассудком в некоторых кругах стало мнение, будто для микромира нужна совсем иная логика, чем для макромира. Иногда это делают косвенно, подвергая критике некий косный и отсталый здравый смысл простых смертных, не причастных к великим тайнам современной науки. А вообще все это, как правило, суть спекуляция на том, что язык, на котором рассуждают об открытиях науки, плохо разработан именно с логической точки зрения. Главным образом это связано с современной физикой. Здесь сложилась гигантская литература с довольно ясной ориентацией. Выполняя в свое время благородную роль защиты и пропаганды новых идей физики, она вместе с тем преследовала свои эгоистические цели, сказавшиеся на ее интеллектуальном облике в особенности после того, как упомянутые идеи физики перестали нуждаться в защите и приобрели поистине чаплинскую известность. Стремление во что бы то ни стало поразить читателя, заставить поверить в то, что объекты микромира, пространство и время обладают непостижимыми для здравого смысла свойствами, стало условием ее существования и лейтмотивом. Пространству, например, приписывается способность сжиматься и растягиваться, искривляться и выпрямляться, а времени приписывается способность двигаться (течь, идти), способность двигаться медленнее и быстрее, вперед и назад. При этом умалчивают о том, что упомянутые свойства вещей являются обычными именно с точки зрения здравого смысла. И если последний протестует против того, чтобы приписывать их пространству и времени, то вовсе не потому, что он необразован и консервативен, а потому, что даже на самом примитивном уровне здравого смысла ясно, что пространство и время заключают в себе что-то такое, что мешает рассматривать их как эмпирические вещи, которые можно пощупать, сжать, растянуть, сломать и т. п., и это «что-то» суть неявные соглашения о смысле употребляемых языковых выражений и правила логики, усваиваемые в какой-то мере в языковой практике. Все трюки с понятиями пространства и времени, которыми в течение многих лет потрясают воображение читателей, основываются на неясности и неопределенности привычных выражений, а также на их неявном переосмысливании. Эти трюки суть трюки языка, на котором говорят о пространстве и времени. Наука, язык которой отвечает нормам логики, не может вступить в конфликт со здравым смыслом, если последний есть некоторая совокупность истинных

утверждений непосредственного опыта плюс некоторые правила логики, так или иначе усвоенные людьми. Словесные манипуляции с «новейшими достижениями науки» и полнейшее пренебрежение к логическим основаниям терминологии, возводимое в ранг все более глубокого проникновения в сущность микромира, пространства и времени, — такова другая сторона реализации благих намерений рассматриваемой литературы. Такой тип методологической литературы рождается в изобилии и в других специальных областях науки. А это и есть идеология.

Такого рода спекуляции за счет плохой логической обработки языка и языковые трюки не случайны. Открытиями в конкретных областях науки теперь никого не удивишь. К ним привыкли. А к «переворотам» в науке, вступающим в конфликт с логикой, привыкнуть нельзя. Факт, который невозможен логически, но о котором авторитетные жрецы Науки говорят, что он происходит согласно последним достижениям науки, есть чудо в духе высокоразвитой культуры двадцатого века. Трудно, конечно, поверить в то, что пятью хлебами можно накормить несколько тысяч людей. Но чтобы поверить в то, что осуществимо невозможное, повторимо неповторимое, обратимо необратимое, — для этого надо долго и упорно учиться. Да и сами по себе научные открытия удивительны лишь для самих специалистов, не понимающих в большинстве случаев их смысла. Мир сам по себе сер и прост. Сложность мира есть лишь нагромождение и путаница из простого. Мир не содержит в себе мистической тайны. Последняя должна быть привнесена в него извне.

Крысы

Факты образования крысиных групп, выделения лидеров, ожесточенной борьбы за лидерство, иерархии лидерства мы наблюдали с первого дня существования крысария. У нас даже сложилось мнение, будто это есть основа основ существования крысиной колонии, объясняющая все наблюдаемые нами странности. Однако мы вскоре убедились в том, что это мнение ошибочно. Мы неоднократно наблюдали потом, например, случаи усиления террора в участках установившейся системы лидерства и снижения террора в участках, где шла ожесточенная борьба за лидерство и его упрочение. Аналогичные отношения наблюдались для колонии в целом в разные периоды. Аналогично наблюдались все возможные сочетания ситуации в системе лидерства и ситуации в системе питания. Статистические данные не дали аргументов в пользу той или иной гипотезы. Так что установить устойчивые корреляции не удалось.

И все же наблюдение за фактами борьбы за лидерство позволило сделать поразительное открытие. Это открытие, пожалуй, самое значительное за весь период эксперимента. Было открыто существование единой системы самоуправления крысиной колонией и установлена ее структура. Но самое любопытное в этом открытии состоит в том, что система самоуправления крысарием все время лежала на поверхности, и почему мы не замечали ее длительное время, не поддается никакому разумному объяснению.

Необъяснимо, подумал Болтун, потому что очевидно без объяснения. Не ожидали увидеть ничего подобного, не хотели увидеть. Факт упорно лез в глаза, а они от него оборонялись. И когда от него не стало спасения, они его, видите ли, открыли! Действительно поразительное открытие! И Болтун почему-то вспомнил случай. В Ибанске длительное время гостил Ш., крупный западный ученый, коллега. Они часто встречались. Ш. в деталях изучал условия жизни и работы ибанского ученого. И все же, вернувшись домой, он вел себя так, будто только что сошел с ибанской газетной передовицы. Прислал приглашение приехать в гости, снял для этого домик на берегу моря. Болтун получил приглашение с опозданием на месяц. Знакомые посмеялись, назвали Ш. дегенератом. Болтун все-таки ответил, поблагодарил за приглашение, сообщил, когда он получил его, написал число, когда послал ответ. И Ш. все-таки ничего не понял и обиделся. Они не понимают, думал Болтун, даже тогда, когда видят. Если видят, они признают видимый факт, но отвергают общую

основу, которая кажется им неразумной и потому не существующей в действительности. И потому они обвиняют нас лично, испытывая чувство превосходства.

Учение о житии

У нас, сказал Неврастеник, возрождаются многие традиционные явления ибанской жизни. Вот, к примеру, Посетитель. Он сочиняет свое доморощенное учение о житии. А знаете, сколько таких учителей жития было когда-то в Ибанске? Он бескорыстен? И такие были. Не пропагандирует? Но он и не скрывает этого. А у нас, если человек не скрывает своих убеждений, он воспринимается как пропагандист. А что из себя представляет его учение о житии, спросил Журналист. Я его слушал не раз, но запомнил только обрывки, сказал Неврастеник. Это кустарная дребедень, и я не старался запоминать. Его учение содержит систему правил сохранения физического и духовного здоровья, правил поведения по отношению к знакомым (друзьям и родным в том числе), к сослуживцам, к начальству, к случайно встреченным лицам, с которыми приходится вступать в контакт, к подчиненным, к лицам, от которых ты зависишь, к лицам, которые зависят от тебя, а также правил отношения к материальным благам, к почестям, к карьере, к удачам, к неудачам, — короче говоря, систему правил поведения на все случаи жизни. И он сам им следует, спросил Журналист. Судя по всему, да, сказал Неврастеник. Он всю жизнь занимался самовоспитанием, и только под старость это вылилось у него в самодельную концепцию. Его учение содержит позитивную и негативную части. В позитивной говорится о том, что должен делать человек, чтобы сохранить физическое и духовное здоровье, а в негативной — о том, что он не должен делать. Первые суть правила-предписания, вторые суть правила-запреты. Я излагаю вам уже свою обработку идей Посетителя. У него самого это не так четко сделано и не в столь откровенной форме. Он же самоучка. Правила жития прилагаются к поступкам людей по отношению к себе и к другим людям. Те поступки, которые не охватываются ими, житийно безразличны. Но сам Посетитель убежден, что если строго следовать его учению, то таковых не будет. Основные принципы для правил жития. Они не зависят от ситуации, т. е. если поступок обязателен (или запрещен), то он обязателен в любой ситуации (при наличии, конечно, условий поступка, указываемых в правиле). Например, если ты обещал человеку что-то сделать, сделай это независимо от того, что это за человек, как изменились ваши отношения. Твое отношение к человеку не зависит от твоего отношения к другим людям и от отношения этого человека к другим людям. И так далее в таком духе. Это невероятно скучно. На такой основе развивается своеобразная система психогимнастики и ограничений. Не пей. Не кури. Не занимай должностей. Минимум вещей. Минимум трат. Минимум еды. Минимум сна. Минимум контактов с людьми, в которых устанавливаются отношения социальной зависимости. Не стремись к почестям и известности. Умей молчать, когда говорят другие. Умей слушать, если хочешь быть выслушанным. Никаких жалоб. В общем, нечто подобное йоге, но на наш манер и с учетом способа нашей жизни. Это любопытно, сказал Журналист. Самая любопытная часть его учения — психогимнастика, сказал Неврастеник. Тут он действительно достиг высот. Вы знаете, сколько ему лет? Что вы! Ему далеко за шестдесят! Он был в крупных чинах. Во всяком случае, войну он закончил полковником. Вы видели, как он одет? Живет на тридцать рублей в месяц. А по подсчетам экономистов минимум прожиточный — шестьдесят. Чем же все это кончится, спросил Журналист. Как обычно, сказал Неврастеник. Все выродится в анекдот. Или умрет в одиночестве из-за банальной простуды, или попадет за решетку, ввязавшись в какую-нибудь запретную чужую ему историю. Я знаю одного человека, который двадцать лет набивал себе бицепсы гантелями для самозащиты, а воспользовался результатами своих титанических усилий лишь один раз: дал по морде пьяному, который потребовал у него закурить и, получив отказ (мой знакомый, естественно, не курил), оскорбил его по ибанскому обычаю грязными словами.

Из книги Клеветника

Идеология и наука суть взаимоисключающие явления. Я не хочу этим сказать, что они враждуют. Враги могут жить мирно и даже временами выглядеть друзьями. Я хочу этим сказать лишь то, что это — качественно разнородные явления. Наука предполагает (в тенденции хотя бы) осмысленность, точность и однозначность терминологии. Идеология предполагает бессмысленные, расплывчатые и многосмысленные языковые образования. Терминология науки не нуждается в осмыслении интерпретации. Фразеология идеологии нуждается в истолковании, в ассоциациях, в примысливании. Утверждения науки предполагают возможность их подтверждения, или опровержения, или, в крайнем случае, установления их неразрешимости. Предложения идеологии нельзя опровергнуть и подтвердить, ибо они бессмысленны. С этой точки зрения распространение мнения, будто идеология состоит из знаков, ошибочно. Наука состоит из знаков, а идеология состоит из квазизнаков. Идеология антизнакова. Она есть языковое образование лишь с точки зрения использования вещества языка. Так что многие явления в современной науке фактически суть явления в области идеологии. Наконец, если словом «научная» обозначать науку в целом, включая антинаучность, то научная идеология мыслима как часть антинаучности. Выражение «научная идеология» с этой точки зрения обозначает такую идеологию, которая сосет соки собственно научной части науки и маскируется под нее. Но идеология как наука в смысле собственно научности есть нонсенс. У нее совсем другие источники и другие цели, нежели познание действительности. Скорее наоборот. Лишь в сравнении с какой-то другой формой идеологии та или иная идеология может выглядеть как продукт познания и просвещения. Но это состояние скоро проходит. Идеологии в принципе не различаются с точки зрения степени научности понимания природы и общества.

Ненаучность идеологии не должна обижать ее. Быть наукой — это не так уж почетно в наше время. Быть идеологией почетнее, ибо идеология господствует, а наука подчиняется. Стремление науки подчинять смехотворно. Если она и подчиняет, то лишь в роли идеологической организации, а не науки в собственном смысле слова. Стремление идеологии к наукообразности есть исторически преходящее явление.

Научная идеология есть такая же нелепость, как, например, научное искусство. В отношении искусства различают само искусство как особую форму деятельности и науку о нем, т. е. теорию искусства. Известно, что произведения искусства создают художники, а не ученые, изучающие искусство, а теорию искусства создают не художники. Случаи, когда один и тот же человек создает произведения искусства и вносит вклад в теорию искусства этого отношения не меняют. В отношении идеологии также следует различать деятельность по созданию идеологических предметов (текстов, предметов культа), которая не есть наука, и науку, изучающую эту идеологическую деятельность и ее продукты. Но этого фактически не делают. Молчаливо считается, что люди, создающие, охраняющие и сохраняющие идеологические предметы, суть ученые. А так как сами идеологические тексты считаются произведениями науки, то научное их изучение совпадает, как кажется, с самой их разработкой. А между тем это не так. Чем труднее провести различие, тем настойчивее и четче оно должно быть проведено. У идеологии как особой формы деятельности по созданию идеологических текстов и других предметов и науки об этой деятельности и этих предметах не больше общего, чем у искусства и теории искусства. Идеологические тексты строятся по принципиально иным правилам, чем тексты научные. Слабость современной официальной идеологии состоит прежде всего в том, что ей пытаются придать вид текстов, построенных по правилам науки. И стараются это сделать на самом деле. Наука не получается, а правила построения идеологии не осознаются и явно не используются. Получается скверная наука и не менее скверная с точки зрения профессиональной обработки идеология.

Казалось бы, что в силу исключительно важной роли идеологии в обществе она должна быть сделана наилучшим образом с профессиональной точки зрения. Однако именно с этой точки зрения она являет наиболее жалкое зрелище. Случайно ли это?

Крысы

Болтун решил сам проделать такой эксперимент. Выдумать абстрактную схему, исходя из некоторых взятых из книги предпосылок, и посмотреть затем, что по этим вопросам написано в книге. Итак, сказал Болтун себе, начинаем. Крысарий есть замкнутое в силу какой-то необходимости скопление крыс, обреченных на длительное совместное существование. Либо это скопление остается хаотичным, и тогда оно погибает вследствие взаимоистребления. Нетрудно даже подсчитать, когда это произойдет. Либо оно как-то упорядочивается. Раз оно существует, размножается и с какой-то точки зрения процветает (средний вес крысы, кстати сказать, увеличился; удлинились хвосты; увеличились клыки и когти; стала глаже шерсть), значит, упорядоченность достигнута. Но за счет чего? Крысарий автономен. Никакого внешнего давления на этот счет нет. Вещи и пища неподвижны. Единственное, что обеспечивает порядок,— сами крысы. Все они систему порядка организовать не могут, ибо это и будет хаос. Следовательно, разделение функций: упорядочивающие и упорядочиваемые. Это лишь начало системы. Упорядочивающих много. Можно подсчитать минимальное их число, исходя из некоторого соотношения числа членов первичных групп. Они, в свою очередь, образуют иерархическую систему групп и лидеров.

Развив таким образом гипотетическую систему, Болтун начал читать соответствующее место книги и вскоре убедился, что был прав. И он тоже был потрясен, но не тем, о чем писали авторы книги, а тем, с какой точностью и детальностью он предсказал результаты эмпирических наблюдений. По всей вероятности, думал он, люди обычно достаточно точно предсказывают общие контуры социальных явлений, но никогда не верят в свои предсказания, и потому кажется, что они не способны постигнуть сложность бытия. Людям надо вернуть утраченную веру в свой собственный разум — одно из непременных условий социального прогресса общества. Любопытно, что современная наука разрушает эту веру, что бы ни болтали в пользу противоположного мнения. Вера в разум не есть явление в сфере науки. Это вера, т. е. самый основной элемент идеологии. Официальная идеология, стремясь казаться научной, разрушает основу основ человеческого в человеческой истории — веру в свой собственный разум.

Стенгазета

Предполагали, что главной причиной снятия газеты является отдел сатиры и юмора. Тут действительно было к чему придраться. На рисунке «Старобабье кладбище через сто лет» были изображены надгробия над могилами ныне здравствующих теоретиков. На надгробиях были написаны гнусные эпитафии. На могиле Троглодита было написано:

Почти сто лет он вам вещал:
Первичен мир, вторичен разум.
Ни разу он в идеализм не впал,
Но и в науку он не впал ни разу.

На постаменте были изображены знакомые сапоги с усами, а из сапог торчали маленькие Троглодитики. Кис был изображен в невообразимо непотребном, ни на что не похожем виде, но так, что его сразу узнавали. На постаменте была надпись:

Адам из глины создан был.
А Ева из ребра Адама.
Мыслитель из г...а слепил
Закопанного тут болвана.

Искажение личности, заорал Кис. Но Неврастеник сказал, что Кис напрасно принимает карикатуру на свой счет. Самый ужасный вид имело надгробие Секретаря. На постаменте распласталась зелено-желто-коричневая куча, кишащая червями. От кучи исходили зловонные испарения, на которых были написаны названия трудов Секретаря. На червях были написаны слова «Донос», «Клевета», «Плагиат» и другие еще более неприличные. Золотыми буквами была выписана эпитафия:

Какой титан от нас ушел!
Какое сердце перестало биться!
И как узнать, когда еще
Такая мерзость народится!

Посредине кладбища высился обелиск с надписью:

Остановися, человек!
Здесь затаилася навек
Наставников твоих отцов
Ватага умственных скопцов.

Проглядев отдел сатиры и юмора, Комиссия удалилась на совещание Институт затаил дыхание в ожидании решения. Двух старших сотрудников хватил инфаркт. Пять младших попали в вытрезвитель. Одного поймали с поличным, и на Институте появилось пятно.

Естественнонаучная база

Наивысшего расцвета в Ибанске достигла мясология. Вообще-то говоря, сначала было плохо. Сначала мясологи разводили Муху и заграничную Хромосому и строили на этой основе чуждые нам теории. На Западе их, конечно, за это хвалили. А у ибанцев от них было полное засилие. Пришлось поправить. Вместо них назначили Великого Ветеринара. Был он невероятно глуп и косноязычен. И, как говорили ибанцы, не мог отличить Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от Кабеля, Кабеля от Кобеля, Кобеля от Гоголя, зато имел правильное происхождение и взгляды, соответствующие моменту. Он быстро наверстал упущенное. Опираясь на первоисточники, он начал проводить на необъятных просторах ибанского пустыря знаменитые опыты по скрещиванию арбуза с кукурузой. И добился выдающихся результатов. Коров в окрестностях Ибанска вывели. Молоко стали получать из порошка, а мясо — из-за границы. После снятия Хряка выяснилось, что Великий Ветеринар допустил перегиб. Хромосому реабилитировали. И Претендент срочно написал смелую книгу, в которой изобличал Ветеринара и одобрительно отзывался о Хромосоме. Правильное соотношение Теории и Естествознания было восстановлено. В Журнале стали регулярно печатать статьи реабилитированного специалиста по Мухе и Хромосоме. Поддержка естественников обеспечена, сказал Претендент про себя. Теперь мы Их зажмем, сказал он вслух. Кого он имел в виду, знали, но думали, что он сокрушает Секретаря, Троглодита, Ветеринара и прочих сподвижников Хозяина.

(Продолжение следует.)

Вадим ДЕЛОНЕ

За вашу и нашу свободу

Друзья звонят из Москвы и спрашивают, как жизнь. Я отвечаю лагерной поговоркой: «Только первые пять лет худо, а дальше — все тяжелее и тяжелее». Ведь, по сути дела, эмиграция — это такое же бессрочное отчуждение людей от их подлинной жизни, от их прошлого, как и тюремное заключение. Правда, харч получше, коридоры длиною в авиарейсы да можешь выбирать сокамерников по собственному усмотрению. В первый день моего приезда в Париж французские приятели возили меня по всему городу и потом спросили: «Что вам понравилось больше всего?» Я указал здание на берегу Сены. Спутники мои рассмеялись: «У вас, видимо, ностальгия по тюрьмам, это — Консьержери!»

Да... Консьержери, сначала — Мария-Антуанетта, потом — Робеспьер...

«Но вы же вернулись на землю своих предков, господин Делоне, почему вы так переживаете? И что вы чувствовали, когда вас выпускали на свободу?»

Ответить на этот вопрос односложно я никак не мог... Я чувствовал ужас от того, что добровольно поднимаюсь по трапу самолета в то время, как тысячи моих соотечественников маются по тюрьмам или ожидают арестов, а другие отдали бы все на свете за любезно предоставленную мне возможность вырваться из страны победившего социализма.

Я испытывал унижение от того, что после мрака штрафных лагерей КГБ все же удалось поставить меня на колени, но уже перед воротами Лефортовской тюрьмы, когда арестовали мою жену.

Меня охватило отчаяние от того, что многих своих родных и друзей я, быть может, никогда не увижу.

И я всегда знал, что потеря звуков родного языка для поэта равносильна потере слуха для композитора...

Но объяснить это моим спутникам было трудно.

— Лучше, господа, вернемся к истории,— предложил я.— подлинная история всегда страшнее того, что можно о ней выдумать.

Моим далеким предком был комендант Бастилии. За верность присяге королю ему отрубили голову в порыве «народного гнева» и торжественно носили ее на пиках восставших по улицам Парижа. Племянник коменданта, мой прямой предок по мужской линии был известным врачом и служил при личной гвардии Наполеона. Был ранен под Бородино, взят в плен, во Францию не вернулся, так как женился по любви на русской небогатой дворянке Тухачевской. Жил на свою частную врачебную практику. Кстати, знаменитый советский маршал Тухачевский, которого называли «красным Бонапартом», из того же рода. Он был одним из кадровых офицеров русской армии, перешедших на сторону большевиков. Маршал Тухачевский был расстрелян по личному приказу товарища Сталина в тридцать седьмом году и вполне благополучно реабилитирован в пятьдесят шестом. Возможно, его убили в той же Лефортовской тюрьме, в которой я сидел в конце шестидесятых годов.

Из книги Вадима Делоне «Портреты в колючей раме». Overseas Publications Interchange Ltd London 1984.

Но моя семья, семья Делоне, никакого отношения к большевистскому перевороту не имела. В двадцать третьем году, когда отчаявшиеся, обездоленные люди, измученные кровавым советским террором, бежали из России, моему деду, тогда совсем молодому, но уже известному ученому, предложили профессорскую степень в Париже. От выезда он отказался, хотя прекрасно понимал, чем рискует. Он считал, что его долг остаться в России. Даже в эпоху массовых расстрелов и пыток он осмеливался обращаться к властям с прошениями об арестованных родных и друзьях. К тому времени за математические труды он получил академическое звание, но ни в сталинские, ни в наши годы это никому не гарантировало безопасности. До последних дней жизни он продолжал увлеченно работать со своими учениками — многие из них стали знаменитыми математиками,— совершал горные восхождения, на которые мало кто решался даже в юности.

В семидесятом году, когда деду было восемьдесят лет, ему доставили особую радость — встретиться со своим внуком в бараке для свиданий уголовной сибирской зоны. Свидания разрешались раз в год на трое суток только с близкими родственниками. Через три часа я упросил деда улететь назад в Москву, так как понял — для него невыносимо видеть меня в этой обстановке и сознавать, что ничем не может мне помочь.

Итак, мой дед пределов России не покидал.

В волне послереволюционной эмиграции в Париже оказалась его кузина (Делоне по материнской линии), поэтесса и художница, дар которой высоко ценил Александр Блок и многие из тех, кто составлял цвет русской культуры «Серебряного века». Во Франции она известна под именем матери Марии, православной монахини в миру. Сначала она помогала бесприютным и больным русским эмигрантам. Ей удалось собрать средства и снять дом, в котором эти люди могли жить и питаться благодаря ее отчаянным усилиям; соседний гараж был перестроен в русскую церковь, многие иконы писались самой матерью Марией. Когда немцы вошли в Париж, в том же доме на рю дю Лурмель мать Мария прятала евреев, доставала для них поддельные документы, помогала бежать в неоккупированные районы, принимала активное участие в Сопротивлении. В сорок третьем году по доносу в этот дом нагрянуло гестапо. Не застав мать Марию, они забрали ее 22-летнего сына как заложника и обещали отпустить его, если мать Мария сама явится в их штаб. На следующий день она была арестована. Сына не освободили. Мать Мария погибла в лагере Равенсбрук, ее сын — в Бухенвальде.

Как раз в связи с матерью Марией и произошло первое мое столкновение с представителями КГБ от литературы. Мне было восемнадцать лет, шел шестьдесят шестой год. Я учился в институте и даже работал внештатным сотрудником «Литературной газеты». Меня вызвали на продолжительную беседу и объявили: во-первых, у меня плохие друзья — Буковский, Галансков и другие. Во-вторых, зная, что я родственник матери Марии, предложили мне командировку в Париж (о чем мало кто мог мечтать даже из верноподданных советских писателей) с тем, чтобы я собрал материалы и написал книгу о ее жизни. Но при этом прозрачно намекнули: я непременно должен объяснить мотивы антифашистской деятельности матери Марии не ее глубокой христианской верой, а сочувствием коммунистической идеологии.

Я был несколько удивлен, почему именно ко мне обратились с такой просьбой.

— Видите ли,— разъяснили мне,— мы посылаем за границу сотни сотрудников, но каждый из них готов продать родину за пару джинсов. Вы же не из той категории людей.

— Россию я, верно, не продам,— ответил я,— но только понятия о родине и чести у нас с вами совершенно разные.

— Ну смотрите, Делоне, в скором времени вы поедете совсем в другую сторону.

В декабре 1966 года я был отправлен на несколько недель в психбольницу за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объединение прозанков

и поэтов. А через месяц после освобождения из психушки был арестован вместе с Буковским за демонстрацию на Пушкинской площади в защиту Галанскова и других. Я провел в стенах Лефортовской тюрьмы десять месяцев. Осенью 1967 года я уехал из Москвы в новосибирский Академгородок и стараниями друзей-ученых был зачислен в Новосибирский университет.

В дни суда над Галансковым и Гинзбургом на стенах зданий Академгородка, за тысячи километров от Москвы, появились лозунги: «ЧЕСТНОСТЬ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ», «СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАВНО ФАШИСТСКОМУ». Надо ли объяснять, какая расправа полагается за такие лозунги,— не менее трех лет лагерей. Но в постоянно патрулируемом КГБ закрытом Академгородке виновных так и не нашли.

В этот сказочный период власти не могли запретить бесчисленные вечера, на которых читались неподцензурные стихи, выступали барды. Тогда в первый и последний раз перед такой широкой аудиторией на своей родине свободно пел Александр Галич. Над клубом Академгородка красовался двусмысленный лозунг: «Поэты! Вас ждет Сибирь!»

Причина, по которой власти дозволили столь невероятную для Советского Союза демократию, была одна — временное замешательство.

Ночами мы не отходили от приемников, слушали первые сообщения западного радио о «пражской весне» — все жили только этим. Заявление Дубчека о частичной отмене цензуры, демонстрации в Праге с требованиями морального осуждения и изгнания с государственных постов тех, кто замешан в расправах над невиновными. Эти сообщения радовали, объединяли нас. И многим казалось, что стена между нами и свободой медленно рушится.

Но власти постепенно приходили в себя. И первой, как всегда, выступила наша «самая честная в мире» советская пресса и запестрила разоблачениями. Газета «Вечерний Новосибирск» удостоила меня целым разворотом под названием «В кривом зеркале». Имелось в виду, что стихи мои — кривое зеркало, искажающее славную советскую действительность. Один из моих друзей, актер, с большим пафосом читал этот опус. Особое удовольствие всем доставила фраза: «Он не видит ни звезд, ни солнца, ни глаз любимой». Но была в этой статейке одна неприятная угроза: «Странно, что этому зарвавшемуся антисоветчику оказывают поддержку некоторые крупные академики». И вот мне пришлось явиться в ректорат университета и просить меня исключить — я решил проявить лояльность, чтобы не заставлять людей страдать из-за меня, чтобы они могли избежать неминуемых репрессий. Я попрощался с многочисленными новосибирскими друзьями и в июне вылетел в Москву.

В столице спорили только об одном — введут или не введут танки в Прагу. Все понимали, что, если Советский Союз окажет «братскую помощь», всем надеждам придет конец. Если посмеют расправиться с целой страной, притом чужой, то уж со своими вольнодумцами расправятся и подавно...

И все же надеялись, что не посмеют, побоятся общественного мнения Запада. Что чехам удалось прорвать кордоны лжи и не смогут советские власти давить танками свободу на глазах у всего мира... Я не разделял этого оптимизма. Десять месяцев допросов в центральной тюрьме КГБ показали мне, что мало изменений в нашем отечестве со времен «вождя народов».

Я знал, что режим страны победившего социализма не может допустить ни личной свободы для своих граждан, ни развала своего незыблемого Варшавского блока. Да и чешские руководители позднее на знаменитом совещании в Чиерне над Тиссой как-то уж слишком заискивали перед Брежневым, клялись в верности идеалам коммунизма, в то время как советская пресса уже начала клеймить их на все лады.

В дни этого совещания я жил на даче и как-то забрел в соседний дом отдыха. Группа чешских юношей и девушек, приехавших по путевкам, смущенно стояла в сторонке. Прочие отдыхающие отводили глаза — дирекция дома отдыха и вездесущие люди из КГБ предупредили всех: к чехам не подходить, будете с ними общаться, сообщим по месту работы. Я бросился к чехам. Они чуть не плакали, что кто-то с ними общается.

А над Тиссой все клялись в нерушимой преданности...

21 августа утром я узнал, что советские танки вошли в Прагу. Невыносимо было состояние унижения, бессилия, отчаяния и стыда за свою страну.

На многих дачах горели костры. Жгли не сухие листья — жгли самиздат, ожидая обысков...

25 августа с моими друзьями я вышел на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии и снова был арестован. На этот раз я был приговорен к трем годам уголовных лагерей. В своем последнем слове на суде я сказал, в частности, следующее:

«Не стану повторять все, что сказал мой адвокат. Я с самого начала заявил, что считаю предъявленное мне обвинение несостоятельным. Мое мнение не изменилось и после того, как я выслушал показания свидетелей и речь прокурора...

Я не стану долго объяснять, почему тексты лозунгов не являются ни заведомо ложными, ни порочащими. Текст лозунга, который я держал в руках — «За вашу и нашу свободу»,— выражает мое глубокое личное убеждение...

Здесь, в зале суда, прокурор обратился ко мне с вопросом: «Какой свободы вы требуете? Свободы клеветать? Свободы устраивать сборища?» Нет, мне не нужна «свобода клеветать».

Я понимаю этот лозунг так: от нашей свободы зависит не только демократия в нашей стране, но и свобода развития другого государства, и свобода граждан другой страны...

Принимая решение по дороге на Красную площадь, я знал, что не совершу незаконных действий, но понимал, был уверен, что против меня будет возбуждено уголовное дело. И то, что я был ранее осужден, не могло побудить меня отказаться от протеста...

Я понимал, что ЗА ПЯТЬ МИНУТ СВОБОДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ Я МОГУ РАСПЛАТИТЬСЯ ГОДАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»...

* * *

В. Буковскому

Не пройдет прощанье
карнавалом,
Не придется бегать
по бутылки —
И тебя проводит до вокзала
Ржавый смех начальства
пересылки.

Конвоир отхаркается шуткой —
Станет жутко или безразлично.
Усмехнутся, хвастаясь
рассудком,
Либералы в комнатах
столичных.

Поболтают с час
о донкихотах,
Разойдутся чинно
по семействам,
А тебя потопят в анекдотах,
Как свое гражданство
в фарисействе.

Да и я ведь сам не многим
лучше.
В комнатенке скомкан
нелюдимо, —
Я с тобой расстался, как
попутчик
На скамье унылой подсудимых.

Но не так, не так ведь
расстаются,
Дай мне, Боже, сил,
помилосердствуй
В час, когда колеса
пронесутся
Дрожью барабанною
по сердцу.

Петухи не каркали три раза,
На допросы молча выводили,
Но подвел меня проклятый
разум,
Перевесил сердце и осилил.

Все же не солгу и
не утешусь —
Будь спокоен, друг мой,
будь спокоен, —
Я с тобою, если не повешусь,
Если только быть с тобой
достоин.

Москва, 1967

* * *

Я огорошен звездным небом,
Как откровением лица, —
Такая грусть, такая небыль
И неразменность до конца.

И лишь дрожащую улыбку
Пошлет на землю через гладь
Звезда, упавшая затылком,
И жалко, некому поднять.

Я огорошен, я доверчив,
Так чудно ясность восприняв,
А этот мир, он так заверчен,
Что до истоков не достать.

Я будто тронутый немного
С рожденья Господа рукой,
Землею мучусь, как тревогой,
Болезнью болен лучевой.

Ударясь в грязь, не плакать
слезно,
Что одинок — к чему пенять.
Да что там, падают и звезды,
И тоже некому поднять.

Москва, 1967

* * *

Закат повис, вцепившись в облака,
Вода скрипит по днищу самоходки,
На берегу сгружают лес зэка
За черный хлеб и хвост гнилой селедки.
Нас двое на борту цепляют строп,
Все остальные маются на суше.
Когда-нибудь загонят бревна в гроб
И штабеля завалят наши души.
Пока что мы как будто на ногах,
А страх не держат в лагерях за редкость,
Но ветер рвет канаты впопыхах,
И нас несет с размаху на запретку.
На вышке передернут автомат,
И мы скользим по слизи мокрых бревен,
Виновные, что живы, а солдат,
Само собою, в этом невиновен.
Вот он поднялся, разгоняя лень,
Прицелился и взялся за работу,
Тень облаков легла, как смерти тень
Ложится на последних поворотах.
Ему отметят завтра, что побег
Он оборвал своей надежной пулей,
Над головой взметнется серый снег,
Как знак для нас, что мы уже загнулись.
И жалко, что лишь год не досидел...
Да что мне все атаки, все дуэли,
Когда б еще назначенный расстрел,
А то стрельба по неподвижной цели.
Но кто-то дал конвойному отбой,
И автомат отбросил он устало,
А тишина звенит над головой,
Как над столом хрустальные бокалы.
Объятьями встречают нас зэка,
Сегодня спасены мы от забоя.
И только долго снится тот закат,
Махнувший нам прощальною рукою.

Тюмень, лагерь, 1969—1971

* * *

Быть жертвой родины — куда нелепей честь.
Я мог бы уберечь тебя от боли.
Теперь друзей по пальцам перечесть,
Тем более оставшихся на воле.

Так о каких еще привычках речь,
К чему взывает строчек бестолковость?
Какая новость — жизнью пренебречь.
Срок лагерей — какая это новость!

Так что ж мы ждем, пока придет конвой,
Как смерти ждет задумчиво подранок?
Не лучше ли махнуть на все рукой
И родину считать за полустанок?

И то, что не уехал, верно, грех —
Пусть кто-то усмехнется, осуждая.
Я молча подымаю руки вверх
И все же этот край не покидаю.

Как знать, где потеряешь, где найдешь.
С кошмаром снов страшней всего бороться.
Слова стучат по дну души, как дождь
Стучит по дну засохшего колодца.

Все кончено... судьба слепа, как черт,
Которому огонь спалил глазницы.
Мне снова предъявляют ложный счет,
И, кажется, придется согласиться.

Все кончено... душа моя слаба,
Отчаянье в виски мои стучится,
Как будто сумасшедший по столбам
По телеграфным, чтобы дозвониться.

А ты в тюрьме, и больше силы нет
Ни бросить, ни закончить строки эти.
Прости, что не увез тебя от бед,
Но лишь перед тобою я в ответе.

Все кончено, судьба слепа, как черт,
Которому костер спалил глазницы.
Я никогда не брал ее в расчет,
И это отольется мне сторицей.

Москва, 1973

А. И. ДЕНИКИН

Путь русского офицера*

*Нынешний интерес общества к историческим событиям понятен и объясним. Страна переживает критический момент своей новейшей истории, и нам сегодня небезразлична правда о недавнем и отдаленном прошлом. Наибольший интерес вызывают годы революции и гражданской войны, о которых мы получали во многом одностороннюю информацию. Потому-то редакция и обратилась к «Очеркам русской смуты» А. И. Деникина**, бывшего царского генерала—с незаурядным к тому же литературным дарованием. Пространные записки его, как очевидца и прямого участника событий, представляют собою и документальную ценность, перенося нас в нравственный мир того времени, и помогают глубже понять людей, которые тоже сражались за Россию, но видели ее по-своему, по-своему ошибались, по-своему творили историю.*

Деникин, как бы мы ни относились к нему теперь, с высоты прожитых десятилетий, неотделим как деятель от истории, и для полноты представления о событиях, носивших поистине судьбоносный для России характер (а ведь хотели лучшего, шли в бой действительно за светлые идеалы!), важно не только прочитать живой рассказ человека, решившегося тогда возглавить белое движение, но и понять его самого как личность.

Характер любого народа выражается прежде всего в его отношении к земле, т. е. в работе, и в не меньшей степени—в воинском подвиге, воинском долге. Сменяются правители, сменяются системы, но защита Отечества остается неизменной, и образ защитника также остается неизменным. Нашему народу нашей стране выпало в веках бороться против различных нашествий и посягательств. Об этом более чем красноречиво говорят и Отечественная война 1812 года, и Великая Отечественная война. И если современная литература запечатлела образ воина советского, то А. Деникин, раскрывая свою биографию, обобщает черты русского солдата и офицера, которые всегда были и будут дороги нашему Отечеству.

Чтобы лучше понять книгу Деникина «Очерки русской смуты», мы и решили ознакомить наших читателей с его личными записками. Рассказывая о своей судьбе, он, в сущности, повествует о судьбе русского офицера в России. А судьбы офицерства были разными. Было время, когда оно считалось самым привилегированным сословием, как сказал Лев Толстой, но было и время, когда это привилегированное сословие сложило свои головы в боях на Шипке, в сражениях под Мукденом, в окопах первой мировой войны. Представляя читателю эту работу А. И. Деникина, мы преследуем единственную цель — заполнить еще одно белое пятно в нашей отечественной истории.

Анатолий АНАНЬЕВ

«Подруге дней моих суровых» — жене, помощнице в трудах, согретый ее заботами, связанный единомыслием, оставляю рассказ о начале моего бытия.

А. ДЕНИКИН

Мимизан (Франция) 16 января 1944 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Родители

Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске Варшавской губ., вернее, в пригороде его за Вислой — в деревне Шпеталь Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде погранич-

* Публикуется по книге: А. И. Деникин. Путь русского офицера. Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1953 г. В этом году воспоминания будут переизданы издательством «Современник».

** См. «Октябрь», 1990, №№ 10—12. По окончании публикации этой книги мы продолжим публикацию «Очерков русской смуты».

ной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске; в этих местах родители мои остались жить после отставки отца.

Как известно, часть Польши, со столицей Варшавой, входила тогда в состав Российской империи.

Отец, Иван Ефимович Деникин, родился за 5 лет до Наполеоновского нашествия на Россию (1807 г.) в крепостной крестьянской семье, в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне Ореховке. Умер он, когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет... Поэтому о прошлой жизни отца — по его рассказам — у меня сохранились лишь смутные, отрывочные воспоминания.

В молодости отец крестьянствовал. А 27 лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни (солдаты служили тогда 25 лет, и редко кто возвращался домой), меняя полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась: родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету. Где они и живы ли, он не знал. Только однажды, был еще тогда отец солдатом, во время продвижения полка по России, судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец — «вышедший в люди раньше меня»... Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед. И как жена брата вынесла ему прибор на кухню, «не пустив в покои»... Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались.

Солдатскую службу начал отец в царствование императора Николая I. «Николаевское время» — эпоха беспросветной, тяжелой солдатской жизни, суровой дисциплины, жестоких наказаний. 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказании — «прогнать сквозь строй». Когда солдат, вооруженных ружейными шомполами, выстраивали в две шеренги, лицом друг к другу и между шеренгами «прогоняли» провинившегося, которому все наносили шомпольные удары... Бывало, забивали до смерти!..

Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном:

— Строго было в наше время, не то что нынче!

На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кой-чему подучился. И после 22-летней лямки, в звании уже фельдфебеля, допущен был к «офицерскому экзамену», по тогдашнему времени весьма несложному: чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства и Закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен был в прапорщики с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи.

В 1863 году началось польское восстание *.

Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе, в районе города Петрокова (уездного). С окрестными польскими помещиками отец был в добрых отношениях, часто бывали друг у друга. Задолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным. Ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков... Отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома с кратким приказом:

* Восстание, охватившее в 1863—1864 годах Польшу, Литву и частично Белоруссию, Правобережную Украину. Было направлено на восстановление независимости Польши. (Прим. ред.)

— Если через полчаса не вернусь, атаковать дом!

Зная расположение комнат, прошел прямо в зал. Увидел там много знакомых. Общее смятение... Кое-кто из не знавших отца бросился было с целью обезоружить его, но другие удержали. Отец обратился к собравшимся:

— Зачем вы тут, я знаю. Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не взыщите. А только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справиться с русскою силой. Погубите только зря много народу. Одумайтесь, пока есть время.

Ушел.

Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стиля передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный.

В сохранившемся сухом и кратком перечне военных действий («Указ об отставке») упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при дер. Крживосондзе, банды Юнга — у деревни Новая Весь, шайки Рачковского — у пограничного поста Пловки и т. д.

Почему-то про крымскую и венгерскую кампании отец мало рассказывал — должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать, а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды... Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических осложнений... Как раз, когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды «косиньеров» *, пограничники — кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шашки и ружья,— бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами. В ужасе шарахались в сторону случайные встречные при виде необыкновенного зрелища: бешеной скачки голых и черных (от пыли и грязи) не то людей, не то чертей... Как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксендза... И т. д., и т. д.

Рассказывал отец и про другое: не раз он спасал поляков-повстанцев — зеленую молодежь. Надо сказать, что отец был исполнительным служакой, человеком крутым и горячим и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи — студентов, гимназистов. Отсылка в высшие инстанции этих пленных, «пойманных с оружием в руках», грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже. Тем более что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц — самовластный и жестокий немец. И потому отец на свой риск и страх, при молчаливом одобрении сотни (никто не донес) приказывал, бывало, «всыпать мальчишкам по десятку розог» — больше для формы — и отпускал их на все четыре стороны.

Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через пятнадцать после восстания. Мне было тогда лет шесть-семь. Отцу пришлось ехать в город Липно зимой в санях — в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать.

Оказалось, бывший повстанец — один из отцовских «крестников»...

Как известно, польское восстание началось 10 января 1863 года и окончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискация имуществ, многочисленные ссылки в Сибирь на поселение и вообще введение в крае более сурового режима.

В 1869 году отец вышел в отставку с чином майора. А через два года женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вржесинской (моя мать). Об

* За недостатком оружия многие отряды были вооружены косами.

умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось; кажется, брак был неудачный.

Мать моя — полька, происхождением из города Стрельно прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петроков, где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни шитьем. Там и познакомилась с отцом.

Когда происходила русско-турецкая война (1877—1878), отцу шел уже 70-й год. Он заметно для окружающих заскучал. Становился все более молчаливым, угрюмым и прямо не находил себе места. Наконец, втайне от жены подал прошение о поступлении вновь на действительную службу. Об этом мы узнали, когда много времени спустя начальник гарнизона прислал бумагу — майору Деникину следовать в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны.

Слезы и упреки матери:

— Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова... Боже мой, ну, куда тебе, старику...

Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что «папа мой идет на войну»...

Но через некоторое время пришло известие: война кончалась, и формирования прекратились.

Детство

Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда — четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле и разместиться можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать школьное ученье, и мы переехали во Влоцлавск.

Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице: две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась «парадной» — для приема гостей; она же — столовая, рабочая и проч.; в другой, темной комнате — спальня для нас троих; в чуланчике спал дед, а на кухне — нянька.

Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполлония, в просторечье Полося, постепенно врастала в нашу семью, сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком.

Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц, перед получкой, отцу приходилось «подзанять» у знакомых 5—10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой; бывало, дня два собирается, пока пойдет... 1-го числа долг неизменно уплачивался с тем, чтобы к концу месяца начинать сказку сначала...

Раз в год, но не каждый, спадала на нас манна небесная в виде пособия — не более 100 или 150 руб.— из прежнего места службы. (Корпус пограничной стражи находился в подчинении министра финансов.) Тогда у нас бывал настоящий праздник: возвращались долги, покупались кое-какие запасы, «перефасонивался» костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу — увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило. Но военная форма скоро износилась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны; одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств и бережно хранились, пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдныя кончины,— как говаривал отец,— чтоб хоть в землю лечь солдатом»...

Помещались мы так тесно, что я поневоле был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно; мать заботилась об отце моем так же, как и обо

мне, работала без устали, напрягая глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши. Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к старости.

Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки. Преимущественно по двум поводам. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся — в долг, но обыкновенно без отдачи... Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки:

— Что же это такое, Ефимыч, ведь нам самим есть нечего...

Или еще — солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Возмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать в гневе:

— Ну кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов?..

Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом.

В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался... молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер.

Однажды мать бросила упрек:

— В этом месяце и до половины не дотянем, а твой табак сколько стоит...

В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба — мать и я — стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму.

Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца.

Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец — никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден. Что карандаши у меня плохие, ломкие, а не «фаберовские», как у других. Что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, неполна и неисправна. Что нет коньков — обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора. Что прекрасно пахнувшие, дымящиеся «сердельки» (колбаски), стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны. Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых три копейки, а на открытый берег реки родители не пускали... И мало ли еще что.

Но с купаньем был выход простой: уходил тайно с толпой ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами; одним из лучших пловцов стал. Прочее же — ерунда. Выйду в офицеры — будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый день...

Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду,— это когда благодаря скверной готовальне (только потому, так как чертежник я был хороший) учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный балл и я скатился вниз по ученическому списку.

И еще один раз... Мальчишкой лет шести-семи в затрапезном платьишке, босиком я играл с ребятишками на улице, возле дома. Подошел мой приятель великовозрастный гимназист 7-го класса Капустянский и по обыкновению давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому:

— Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками!

Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому.

— Ах он, сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!

Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал, куда деваться, как извиниться.

Русско-польские отношения

Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась полькой, меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, «воспитывали» — в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление. Ничего подобного не было. Я рос — по тесноте нашей — среди больших, много слышал, много видел, что нужно и не нужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной.

Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я. Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо.

Итак, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать — по-польски, я же — не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции — с отцом — по-русски, с матерью — по-польски. Впоследствии, после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось вращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл.

Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С 9-ти лет я стал совсем церковником. С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиросе, а впоследствии читал шестопсалмие и апостола.

Иногда ходил с матерью в костел на майские службы — не по собственному желанию. Однако если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все *свое*, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костеле воспринимал только как интересное зрелище.

Иногда польско-русская распря доносилась извне...

В нашем городке под Пасху, в страстную субботу, ксендзы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксендз, и русский священник отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксендзы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какую горечь такой отказ вызывал у матери и какой гнев — у отца. Впрочем, один из ксендзов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти.

Однажды — мне было тогда лет девять — мать вернулась из костела чрезвычайно расстроенная, с заплаканными глазами. Отец долго допытывался — в чем дело, мать не хотела говорить. Наконец сказала: ксендз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайно своего сына в католичестве и в польскости... Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к ксендзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец перепуганный ксендз упрашивал отца «не губить его». Власть в Привислянском Крае была в то время (80-е годы) крутая, и «попытка к совращению» могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не получило.

Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались.

На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я по какому-то внутреннему побуждению больше в костел не ходил.

Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влоцлавском реальном училище, где я учился (1882—1889), дело обстояло так: Закон Божий католический ксендз обязан был преподавать полякам на русском языке; польский язык считался предметом необязательным, экзамена по нему не производилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем был немец Кинель, и по-русски говоривший с большим акцентом. В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков репутацией «гонителя польскости», не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которыми я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера *.

Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка.

Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом полонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921) **. Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на русскую церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местами в богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов. Варшавский собор — художественный образец русского зодчества — был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»...

Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распре не видать.

Вернемся, однако, к нашему далекому прошлому.

Застав в училище такое положение, я, десятилетний мальчишка, по собственной интуиции нашел modus vivendi ***: с поляками стал говорить по-польски, с русскими товарищами, которых было в каждом классе по три, по четыре,— всегда по-русски. Так как многие из них действительно ополячились, я не раз подтрунивал над ними, поругивал их, а иногда в серьезных случаях и поколачивал, когда позволяло «соотношение сил». Помню, какое нравственное удовлетворение доставило мне однажды (в 6-м классе), когда мой приятель — серьезный юноша и добрый поляк — после одной такой сценки пожал мне руку и сказал:

— Я тебя уважаю за то, что ты со своими говоришь по-русски.

Кроме поляков и русских, в каждом классе училища были и евреи — не более двух-трех. Хотя почти половина населения города состояла из евреев, которые держали в своих руках всю торговлю, и много среди них было людей состоятельных, но лишь очень немногие отдавали тогда своих детей в училище. Остальные ограничивались «хедером» — специально еврейской, отсталой, талму-

* В 1905 г. вышел указ: преподавание польского языка и Закона Божия должно производиться на польском языке; во внеурочное время разрешено пользоваться «природным языком».

** Мирный договор, подписанный после русско-польской войны 1920 г. По нему к Польше отходили западные земли Украины и Белоруссии. (Прим. ред.).

*** Образ жизни, условия существования (лат.) (Прим. ред.)

дистской, средневекового типа школой, которая допускалась властью, но не давала никаких прав по образованию. В нашем реальном училище «еврейского вопроса» не существовало вовсе: сверху евреи не испытывали никаких ограничений, а в ученической среде расценивались только по своим моральным, вернее, товарищеским качествам.

В 7-м классе я учился уже вне дома, в Ловичском реальном училище, о чем речь впереди. Был «старшим» на ученической квартире (12 человек). Должность «старшего» предоставляла скидку — половину платы за содержание, что было весьма приятно; состояла в надзоре за внутренним порядком, что было естественно; но требовала заполнения месячной отчетности, в одной из граф которой значилось: «уличенные в разговоре на польском языке». Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискуя быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу: «Таких случаев не было».

Месяца через три вызывают меня к директору. Директор Левшин знал меня еще по Влоцлавскому училищу, откуда он был переведен в Лович, и любил. За что — не знаю. Должно быть, за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре — его детище.

— Вы уже третий раз пишете в отчетности, что уличенных в разговоре на польском языке не было...

— Да, господин директор.

— Я знаю, что это неправда.

Молчу.

— Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну, что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти.

Был ли директор твердо уверен в своей правоте и в целесообразности такого метода «замирения» — не знаю. Но до конца учебного года в моем отчете появлялась сакраментальная фраза — «таких случаев не было», а с должности меня не сместили.

Так или иначе в течение 8 лет, проведенных среди поляков в реальном училище, я никогда не испытывал трений на национальной почве. Не раз, когда во время общих наших загородных прогулок кто-либо из товарищей затягивал песни, считавшиеся революционными,— «З дымэм пожарув» или «Боже, цось Польске...», другие останавливали его:

— Брось, нехорошо, ведь с нами идут русские!..

Трения пришли позже... Впоследствии я вышел в офицеры, большинство из моих школьных товарищей-поляков окончили высшие технические заведения. Положение изменилось. Запретов не стало, были мы уже свободными людьми, и я потребовал «равноправия»; при встречах с бывшими товарищами заговорил с ними по-русски, предоставляя им говорить на их родном языке. Одни примирились с этим, другие обиделись, и мы расстались навсегда. Впрочем, встречи происходили лишь в первые годы после выпусков. В дальнейшем судьба разбросала нас по свету, и я никогда больше не встречал своих школьных товарищей.

Один только случай. В 1937 году отозвался самый близкий мой школьный товарищ, с которым мы жили с одной комнате, крепко дружили, вместе учились и совместно разрешали тогда все «мировые вопросы». Это был Станислав Карпинский, первый директор государственного банка новой Польши, кратковременно занимавший пост министра финансов. К этому времени Карпинский был уже в отставке. Прочтя мои книги и узнав через одно из издательств мой адрес, он прислал мне свою книжку воспоминаний, и между нами завязалась переписка, длившаяся до самой второй мировой войны. Что сталось с ним, не знаю.

Карпинский, уроженец русской Польши — один из редких поляков, здраво, без предвзятости смотревший на русско-польские отношения, ясно видевший не только русские, но и польские прегрешения и считавший возможным и необходимым примирение.

Жизнь городка

Городишко наш жил тихо и мирно. Никакой общественной жизни, никаких культурных начинаний, даже городской библиотеки не было, а газеты выписывали лишь очень немногие, к которым в случае надобности обращались за справками соседи. Никаких развлечений, кроме театра, в котором изредка подвизалась заезжая труппа. За 10 лет моей более сознательной жизни во Влоцлавске я могу перечислить все «важнейшие события», взволновавшие тихую заводь нашего захолустья.

Итак...

«Поймали социалиста»... Под это общее определение влоцлавские жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление. В течение нескольких дней «социалиста» в сопровождении двух жандармов водили на допрос к жандармскому подполковнику. Каждый раз толпа мальчишек сопровождала шествие. И так как подобный случай произошел у нас впервые, то вызвал большой интерес и много пересудов среди обывателей.

В доме богатого купца провалился потолок и сильно придавил его. Много народа — знакомые и незнакомые — ходили навещать больного — не столько из участия, сколько из-за любопытства: посмотреть провалившийся потолок. Конечно, побывал и я.

Директор отделения местного банка, захватив суммы, бежал за границу... Несколько дней подряд возле банковского дома собирались, жестикулировали и ругались люди — вероятно, мелкие вкладчики. И на Пекарской улице, где находился банк, царило большое оживление. Кажется, не было в городе человека, который не прошелся бы в эти дни по Пекарской мимо дома с запертыми дверями и наложенными на них казенными печатями...

В нашем реальном училище случилось событие посерьезнее. 7-го класса, или «дополнительного», как он назывался на официальном языке, к моему выпуску уже не было, и вот почему... Раньше училище было нормальным — семиклассным. По установившейся почему-то традиции семиклассники у нас пользовались особыми привилегиями: ходили вне школы в штатском платье, посещали рестораны, где выпивали, гуляли по городу после установленного вечернего срока, с учителями усвоили дерзкое обращение и т. д. В конце концов распущенность дошла до такого предела, что директор решил положить ей конец. После какого-то объяснения с великовозрастным семиклассником последний ударил директора по лицу.

Это событие взволновало, взбудоражило весь город и, конечно, школу. Семиклассник был исключен «с волчьим билетом», т. е. без права приема в какое бы то ни было учебное заведение. Помню, что поступок его вызвал всеобщее осуждение, тем более что директор, которого перевели куда-то в центральную Россию, был человеком гуманным и справедливым. Осуждали и мы, мальчишки.

Седьмой класс был закрыт, как сказано было в официальной бумаге, «навсегда».

Наконец, еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда 7 или 8 лет. В городе стало известным, что из-за границы возвращается император Александр II через Александров-пограничный и что царский поезд остановится во Влоцлавске на 10 минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой. Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости.

В доме — переполох. Мать весь день и ночь шила мне плисовые штаны и шелковую рубашку; отец приводил в порядок военный костюм и натирал до блеска — через особую дощечку с вырезами — пуговицы мундира.

На вокзале я заметил, что, кроме меня, других детей нет, и это наполнило меня еще большей гордостью.

Когда подъехал царский поезд, государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречавших. Отец застыл с поднятой к козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя...

После отхода поезда один наш знакомый полушутя обратился к отцу:

— Что это, Иван Ефимович, сынишка ваш непочтителен к государю. Так шапки и не снимал...

Отец смутился и покраснел. А я словно с неба на землю свалился. Почувствовал себя таким несчастным, как никогда. Теперь уже и перед мальчишками нельзя будет похвастаться встречей царя: узнают про мою оплошность — засмеют...

Прошло некоторое время, и вся Россия была потрясена событием: 1 марта 1881 года убит был император Александр II...

В нашем городке — в переполненной молящимися православной церкви, в русских семьях, в нашем доме — люди плакали. Как отнеслось к событию польское население, я тогда оценить не мог. Помню только, что в течение нескольких дней город был погружен в жуткую тишину и пустоту. По распоряжению растерявшегося местного начальства в полуопустевшем городе ездили конные уланские патрули, и лязг конских копыт, в особенности ночью, усиливал тревожное настроение, которое можно передать словами польского поэта:

Тихо вшендзе, глухо вшендзе.
Цо то бэндзе, цо то бэндзе... *

Школа

Учить меня стали рано. Когда мне исполнилось четыре года, к именинам отца мать подготовила ему подарок: втихомолку выучила меня русской грамоте. Я был торжественно подведен к отцу, развернул книжку и стал ему читать.

— Врешь, брат, ты это наизусть. А ну-ка прочти вот здесь...

Прочел. Радость была большая. Словно два именинника в доме.

Когда переехали из деревни в город, отдали меня в «немецкую» городскую школу. В немецкую потому, что помещалась она насупротив нашего дома, а до нормальной было далеко. Впрочем, немецкой называлась она только ввиду того, что сверх обыкновенной программы там преподавался немецкий язык. Между прочим, начальной школы с польским языком не было...

Помянуть нечем. Вот только разве «чудо» одно... Оставил меня раз учитель за какую-то провинность после уроков на час в классе. Очень неприятно: дома будут пилить полчаса, что гораздо хуже всякого наказания. Стал я перед училищной иконой на колени и давай молиться Богу:

— Боженька, дай, чтобы меня отпустили домой!..

Только что я встал, открывается дверь, входит учитель и говорит:

— Деникин Антон, можешь идти домой.

Я был потрясен тогда. Этот эпизод укрепил мое детское верование. Но — да простится мой скепсис — теперь я думаю, что учитель случайно подглядел в окно (одноэтажное здание), увидел картину кающегося грешника и оттого смиловался. Ибо не раз потом, когда я вновь впадал в греховность и мне грозило дома наказание, я молил Бога:

— Господи, дай, чтобы меня лучше посекли — только не очень больно,— но не пилили!

Однако почти никогда моя молитва не была услышана: не секли, а пилили.

Два следующих года я учился в начальной школе, а в 1882 году, в возрасте 9 лет и 8 месяцев, выдержал экзамен в 1-й класс Влоцлавского реального училища.

Дома — большая радость. Я чувствовал себя героем дня. Надел форменную фуражку с таким приблизительно чувством, как впоследствии первые офицерские погоны. Был поведен родителями в первый раз в жизни в кондитерскую и угощен шоколадом и пирожными.

* Тихо всюду, глухо всюду.
Что-то будет, что-то будет...

Учился я первое время отлично. Но, будучи во втором классе, заболел оспой, потом скарлатиной со всякими осложнениями. Лежал в жару и в бреду. Лечивший меня старичок, бригадный врач, зашел раз, посмотрел, перекрестил меня и, ни слова не сказав родителям, вышел. Родители — в отчаянии. Бросились к городскому врачу. Тот вскоре поднял меня на ноги.

Несколько месяцев учения было пропущено, от товарищей отстал. Особенно по математике, которая считалась главным предметом в реальном училище. С грехом пополам перевалил через 3-й и 4-й классы, а в 5-м застрял окончательно: в среднем за год получил по каждому из трех основных математических предметов по $2^1/_2$ (по пятибалльной системе). Обыкновенно педагогический совет прибавлял в таких случаях половинку, директор Левшин настаивал на прибавке, но учитель математики Епифанов категорически воспротивился:

— Для его же пользы.

Я не был допущен к переводному экзамену и оставлен в 5-м классе на второй год.

Большой удар по моему самолюбию. Не знал, куда деваться от стыда. Мать, видя мои мучения, сочинила для знакомых басню о том, что я оставлен в классе «по молодости лет». Знакомые сочувственно кивали головой, но, конечно, никто не верил.

То лето я провел в качестве репетитора в деревне. Работы с моими учениками было немного, и все свободное время я посвятил изучению математики. Имел терпение проштудировать три учебника (алгебры, геометрии и тригонометрии) от доски до доски и даже перерешил почти все помещенные в них задачи. Труд колоссальный. Вначале дело шло туговато, но мало-помалу «математическое сознание» прояснялось, я начинал входить во вкус дела; удачное решение какой-нибудь трудной задачи доставляло мне истинную радость. Словом, к концу лета я с юношеским задором сказал себе:

— Ну, Епифаша, теперь поборемся!

Учитель Епифанов был влюблен в свою математику и всех не знающих ее считал дураками. В классе он находил всегда двух-трех учеников, особенно способных к математике, с ними он занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу. Класс дал им прозвание «пифагоров». «Пифагоры» были на привилегированном положении: получали круглую пятерку в четверть, никогда не вызывались к доске и иногда только, когда Епифанов чувствовал, что класс плохо понимает его объяснения, приглашал кого-нибудь из «пифагоров» повторить. Выходило иногда понятнее, чем у него... Во время заданной классной задачи «пифагоры» усаживались отдельно и Епифанов предлагал им задачу много труднее или делился с ними новинками из последнего «Математического журнала».

Класс относился к «пифагорам» с признанием и не раз пользовался их помощью.

Первая классная задача после каникул — совершенно пустяковая. Решаю в 10 минут и подаю. Прислушиваюсь, что говорится за «пифагоровской» скамьей:

— В прошлом номере «Математического журнала» предложена была задача: «Определить среднее арифметическое всех хорд круга». А в последнем номере значится, что решения не прислано. Не хотите ли попробовать?..

«Пифагоры» взялись за решение, но не осилили. Я тоже заинтересовался задачей. Мысль заработала... Неужели? Красный от волнения, слегка дрожавшими руками я подал лист Епифанову.

— Кажется, я решил...*

Епифанов прочел, ни слова не сказав, прошел к кафедре, развернул журнал и поставил так ясно, что весь класс заметил, п я т е р к у.

С этого дня я стал «пифагором» со всеми вытекавшими из сего последствиями — почета и привилегий.

Я остановился на этом маловажном со стороны глядя эпизоде, потому что он имел большое значение в моей жизни. После трех лет лавирования между

* Ответ: среднее арифметическое всех хорд $= \frac{\pi r}{2}$.

двойкой и четверкой, после постоянных укоров родителей, вынужденных и вымученных объяснений и уколов самолюбию — дома и в школе — в моем характере проявились какая-то неуверенность в себе, приниженность, какое-то чувство своей «второсортности»... С этого же памятного дня я вырос в собственных глазах, почувствовал веру в себя, в свои силы и тверже и увереннее зашагал по ухабам нашей маленькой жизни.

В 5-м классе, благодаря высоким баллам по математике, я занял третье место, а в 6-м весь год шел первым.

После окончания 6-ти классов во Влоцлавске мне предстояло перейти в одно из ближайших реальных училищ — Варшавское, с «общим отделением дополнительного класса», или в Ловичское — с «механико-техническим отделением». Я избрал последнее. Репутация «пифагора», занесенная перемещенным туда директором Левшиным, помогла мне с первых же дней занять в новом «чужом» училище надлежащее место, и я окончил его с семью пятерками по математическим предметам.

Прочие науки проходил довольно хорошо, а иностранные языки неважно. По русскому языку, конечно, стоял выше других. И, если в аттестате, выданном Влоцлавским училищем, значится только четверка, то потому, что инспектор Мазюкевич никому пятерки не ставил. А может быть, причина была другая... Как-то раз, еще в четвертом классе, Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта:

Куда как упорен в труде человек,
Чего он не сможет, лишь было б терпенье,
Да разум, да воля, да Божье хотенье.

— Под последней фразой,— объяснил нам инспектор,— поэт разумел у д а ч у.

А я свое сочинение закончил словами: «...И, конечно, Б о ж ь е х о т е н ь е. Не «удача», как судят иные, а именно «Божье хотенье». Недаром мудрая русская пословица учит: «Без Бога — ни до порога»...

За такую мою продерзость «иные» поставили мне тогда тройку, и с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался.

С 4-го класса начались мои «литературные упражнения»: наловчился писать для товарищей-поляков домашние сочинения пачками — по три-четыре на одну и ту же тему и к одному сроку. Очень трудное дело. Писал я, по-видимому, неплохо. По крайней мере Мазюкевич обратился раз к товарищу моему, воспользовавшемуся моей работой, со словами:

— Сознайтесь — это не вы писали. Должно быть, заказали сочинение знакомому варшавскому студенту...

Такое заявление было весьма лестно для «анонимного» автора и подымало мой школьный престиж.

Работал я даром, иногда, впрочем, «в товарообмен»: за право пользоваться хорошей готовальней или за одолженную на время электрическую машинку — предел моих мечтаний.

В 13—14 лет писал стихи — чрезвычайно пессимистического характера, вроде:

Зачем мне жить дано
Без крова, без привета.
Нет, лучше умереть —
Ведь песня моя спета.

Посылал стихи в журнал «Ниву» и лихорадочно томился в ожидании ответа. Так, злодеи, и не ответили. Но в 15 лет одумался: не только писать, но и читать стихи бросил — «Ерунда!» Прелесть Пушкина, Лермонтова и других поэтов оценил позднее. А тогда сразу же после Густава Эмара и Жюля Верна преждевременно перешел на «Анну Каренину» Льва Толстого — литература, бывшая строго запретной в нашем возрасте.

В 16—17 лет (6—7 классы) наша компания была уже достаточно «сознательной». Читали и обсуждали вкривь и вкось, без последовательности и руководства, социальные проблемы; разбирали по-своему литературные произведения, интересовались четвертым измерением и новейшими изобретениями техники.

Только политическими вопросами занимались мало. Быть может, потому, что в умах и душах моих товарищей-поляков доминировала и все подавляла одна идея — «Еще Польска не сгинэла»... А со мной на подобные темы разговаривать было неудобно.

Но больше всего, страстнее всего занимал нас вопрос религиозный — не вероисповедный, а именно религиозный — о бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой «безбожной» литературой... Обращаться за разрешением своих сомнений к училищным законоучителям было бесполезно. Наш старый священник, отец Елисей, сам, наверно, не тверд был в Богопознании; ловичский законоучитель, когда к нему решился обратиться раз мой товарищ — семиклассник Дубровский, вместо ответа поставил ему двойку в четверть и обещал срезать на выпускном экзамене; а к своему ксендзу поляки обращаться и не рисковали — боялись, что донесет училищному начальству. По крайней мере списки уклонившихся от исповеди представлял неукоснительно. По этому поводу вызывались к директору родители уклонившихся для крайне неприятных объяснений, а виновникам сбавлялся балл за поведение...

Много лет спустя, когда я учился в Академии Генерального Штаба, на одной из своих лекций профессор психологии А. И. Введенский рассказывал нам:

— Бытие Божие *воспринимается*, но не *доказывается*. Когда-то на первом курсе университета слушал я лекции по Богословию. Однажды профессор Богословия в течение целого часа доказывал нам бытие Божие: «во-первых... во-вторых... в-третьих»... Когда вышли мы с товарищем одним из аудитории — человек он был верующий,— говорит он мне с грустью: «Нет, брат, видимо, Божье дело — табак, если к таким доказательствам прибегать приходится...»

Вспомнил я этот рассказ Введенского вот почему. Мой друг, поляк, шестиклассник, вопреки правилам, пошел на исповедь не к училищному, а к другому молодому ксендзу. Повинился в своем маловерии. Ксендз выслушал и сказал:

— Прошу тебя, сын мой, исполнить одну мою просьбу, которая тебя ничем не стеснит и ни к чему не обяжет.

— Слушаю.

— В минуты сомнений твори молитву: «Боже, если Ты есть, помоги мне познать Тебя»...

Товарищ мой ушел из исповедальни глубоко взволнованный.

Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь (в 7-м классе), буквально в одну ночь пришел к окончательному и бесповоротному решению: человек — существо трех измерений — не в силах осознать высшие законы бытия и творения. Отметаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело приемлю христианство и православие.

Словно гора свалилась с плеч!

С этим жил, с этим и кончаю лета живота своего.

Преподаватели

Кто были нашими воспитателями в школе?

Перебирая в памяти ученические годы, я хочу найти положительные типы среди учительского персонала моего времени и не могу*. Это были люди добрые или злые, знающие или незнающие, честные или корыстные, справедливые или пристрастные, но почти все — только чиновники. Отзвонить свои часы, рассказать своими словами по учебнику, задать «отсюда досюда» — и все. До наших душонок им не было никакого дела. И росли мы сами по себе, вне всякого школьного влияния. Кого воспитывала семья, а кого — и таких было немало — исключительно своя же школьная среда, у которой были свои неписаные законы морали, товарищества и отношения к старшим,— несколько расходившиеся с официальными, но, право же, не всегда плохие.

* Один Епифанов: о нем — дальше.

Зато типов и фактов анекдотических не перечесть.

Вот учитель немецкого языка, невозможно коверкавший русскую речь. Ни мы его не понимали, ни он нас. На протяжении нескольких часов он поучал нас, что величайший поэт мира есть Клопшток. Так надоел со своим Клопштоком, что слово это стало у нас ругательной кличкой.

Сменивший его другой учитель К. был взяточником. Обращался, бывало, к намеченному ученику:

— Вы не успеваете в предмете. Вам необходимо брать у меня частные уроки.

Условия известны: срок — месяц; плата — 25 рублей; время занятий — два-три раза в неделю по полчаса. Хороший балл в году и на экзамене обеспечен. Дешево!

С таким же предложением К. обратился как-то и ко мне. Я ответил:

— Платить нам за уроки нечем. А на тройку я знаю достаточно.

Казалось бы, в крае, подвергавшемся русификации, преподавание русской литературы не только с воспитательной, но, хотя бы, с пропагандной целью должно было быть поставлено образцово. Между тем наши учителя облекали свой предмет в такую скуку, в такую казенщину, что могли бы отбить не только у поляков, но и у нас, русских, всякую охоту к чтению, если бы не природное влечение к живому слову, если бы не внедренная в нас жажда к самообразованию.

В Ловиче прикладную математику (4 предмета) преподавал В.— человек больной, полупаралитик. Не то по природе, не то от болезни злой и раздражительный. Приходил в училище редко, никогда не объяснял уроков, а только задавал и спрашивал. При этом без стеснения сыпал единицы и двойки. Наши тетрадки с домашними работами возвращались от него без каких-либо поправок, очевидно, непроверенные и только скрепленные подписью... с росчерком его жены. Начальство знало все это, но закрывало глаза — учителю не хватало двух или трех лет до полной пенсии...

Класс наш, наконец, возмутился. Решено было заявить протест, что возложено было на меня. Я как «пифагор» подвергался меньшему риску от учительского гнева...

Когда В. вошел в класс, я обратился к нему:

— Сегодня мы отвечать не можем. Никто нам не объяснил, и мы не понимаем заданного.

В. накричал, обозвал нас дураками за то, что мы «не понимаем простых вещей», не объяснил, а стал спрашивать. Но отметок в этот день все же не поставил.

Отец одного из моих товарищей, несправедливо не допущенного к экзаменам, Нарбут подал жалобу попечителю Варшавского учебного округа, нарисовав всю картину оригинального преподавания В. Жалоба была оставлена без последствий, но В. был отстранен от производства выпускных экзаменов, и из Варшавы был прислан для этой цели один из профессоров Варшавского университета. Но так как, паче чаяния, экзамены сошли благополучно, то В. оставили... доslуживать пенсию.

Порядок письменных экзаменов при выпуске был таков: учителя всего округа посылали секретным порядком попечителю проекты экзаменационных тем (или задач) по своим предметам; попечитель избирал основную тему и запасную — для всех училищ одинаковую — и пересылал их на места в запечатанных конвертах, которые вскрывались в час экзамена. Экзаменационные работы посылались потом в округ, где на основании их начальство судило об успешности преподавания. Случилось так, что два года подряд выпускные работы по «приложению алгебры к геометрии» оказывались неудовлетворительными и вызывали выговоры учителю чистой математики Г. Поэтому Г. сказал одному из моих товарищей, с семьей которого он был в дружеских отношениях:

— Хотя это государственное преступление, но я дам тебе для класса проект моего задания. Под одним только условием — чтобы об этом не знал Я-ский. Я ему не доверяю.

Должен признаться, что согласно неписаному кодексу школьной морали эта неожиданная «помощь» была воспринята нами вовсе не как «преступление»,

а как средство самозащиты. Тем более что оказана она была не «любимчикам», а всему классу. Совершенно так же школьная мораль расценивала «списывание», подсказывание, шпаргалки и всякий другой обман учителей, если только он не шел вразрез с интересами других товарищей.

Я-ского, который жил на одной квартире со мной, обойти было, конечно, невозможно, ибо был он порядочный человек и хороший товарищ. Г. ошибался в нем. По поручению класса мне пришлось долго повозиться с ним, чтобы, не объясняя мотивов, заставить его заняться решением этой задачи.

Но тут возник другой вопрос: имеем ли мы нравственное право воспользоваться такой льготой, если варшавские семиклассники ею не воспользуются и многие могут «срезаться»... Класс решил, что это было бы нечестно. Снарядили в Варшаву тайно посланца, который повидался там со своими приятелями — тамошними семиклассниками, взял с них ганнибалову клятву о сохранении тайны, передал им задание и благополучно вернулся.

Настал день экзамена. Нас рассадили за отдельные столики, комиссия вскрыла конверт, и учитель написал на доске текст задания.

Увы! Задача другая и притом, на первый взгляд, очень трудная...

Читаю условие... Что за чепуха! Нет никакого смысла. Перечитываю еще раз — конечно, чепуха. Переглядываюсь с «пифагорами». Те глазами и жестами высказывают свое недоумение. Встал, подал свой штампованный лист пустым:

— Задание составлено неверно.

За мной — другие. Члены комиссии давно уже недоуменно беседовали между собою шепотом. Пошли на совещание с директором... Оказалось впоследствии, что чиновник окружной канцелярии при переписке задания пропустил одну строчку, благодаря чему оно потеряло смысл.

Скоро комиссия вернулась, вскрыла запасный конверт.

Ура! Задание Г.

Нечего говорить, что и у нас, и в Варшаве экзамен по «приложению алгебры к геометрии» прошел блестяще, а Г. получил благодарность от окружного начальства.

Веселыми были экзамены по Закону Божию. Знали мы предмет неважно. Законоучитель-ксендз для сохранения лица расписывал, бывало, программу заранее между выпускными; каждый подготовлял один — с в о й билет и отвечал именно по этому билету, а не по тому, который вытаскивал на экзамене. Трудно было начало, и потому изощрялись по-разному:

— Прежде чем перейти к событиям... (тема законного билета) необходимо бросить взгляд на... (тема билета незаконного)...

Председатель комиссии — инспектор слушал невнимательно, и все сходило с рук.

Призывает нас, четырех выпускных-православных, отец Елисей и говорит:

— Наслышан я, что ксендз на экзамене плутует. Нельзя и нам, православным, ударить в грязь лицом перед римскими католиками. Билет билетом, а спрашивать я буду вот что...

Указал каждому тему.

— А потом, будто невзначай, задам еще по вопросу. Вас спрошу: «Не знаете ли, какой двунадесятый праздник предстоит в ближайшее время?» Вы ответите и объясните значение праздника. А вас спрошу: «Не знаете ли, какого святого память чтит сегодня святая церковь?» Вы ответите... «А чем примечательна его кончина?» Вы ответите: «Распилен был мучителями деревянной пилой». А вас я спрошу...

Мне достался двунадесятый праздник, и потому все сошло правдоподобно. Но товарищ мой бедный, которому досталось сказание про деревянную пилу, под пронизывающим, насмешливым взглядом инспектора, понявшего инсценировку, краснел, пыхтел и так и не докончил жития.

Но довольно.

Исключение представлял учитель чистой математики, Александр Зиновьевич Епифанов. Москвич, старообрядец, народник, немного толстовец, он приехал в наш городишко тотчас по окончании Московского технического училища с молодою женой и сразу привлек к себе внимание всех обитателей. Прислуги они не держали. И когда соседи увидели, что «пани-профэссорова»* сама стирает белье и развешивает его на дворе, а «пан-профэссор» выносит ведра во двор в помойную яму (водопровода и канализации в то время не было), то удивлению и осуждению не было границ. А когда рабочие привезли «пану-профэссорови» мебель и он после установки усадил их вместе с собой и женой обедать, об этом говорил весь город, толкуя событие на все лады. Одни решили — «тронутый», другие, качая головой, произносили малопонятное слово — «социалист». А жена жандармского подполковника по секрету передавала моей матери, что над Епифановым установлен негласный надзор...

Епифанов никакой «противоправительственной деятельностью» не занимался и, конечно, никакой «политики» не касался в беседах со своими питомцами. А влиянием на них пользовался большим. В качестве классного наставника он вникал в нашу жизнь, старался найти причины проступков и неуспешности, помогал советами, защищал от неумеренного гнева инспекторского и умел наказывать и прощать так, что все мы чувствовали справедливость его решений.

Однажды мы — человека четыре — зашли к нему на дом за какими-то разъяснениями. Принял радушно, угостил чаем, пригласил заходить вечерами, «когда появятся волнующие вопросы». Заходили не раз. Не морализируя, не навязывая своих мнений на темы литературные и просто житейские, в свободных спорах, что нам особенно льстило, он незаметно внушал нам понятия о добре, правде, о долге, об отношении к людям.

Много добрых семян заложил в молодые души Александр Зиновьевич Епифанов.

Однажды вечером помощник классных наставников, проверяя ученические квартиры, не застал меня и других дома и узнал, что мы находимся у Епифанова. Училищное начальство тотчас же приказало прекратить эти посещения.

Во Влоцлавске Епифанов не ужился. Перевели, помимо желания, в Лович. В Ловиче также не пришелся ко двору. После бурного протеста против поощрявшегося начальством «доносительства» был переведен на низший оклад в Замостье, где находилась тогда не то прогимназия, не то ремесленное училище. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Смерть отца

Меня отец не «поучал», не «наставлял». Не в его характере это было. Но все то, что отец рассказывал про себя и про людей, обнаруживало в нем такую душевную ясность, такую прямолинейную честность, такой яркий протест против всякой человеческой неправды и такое стоическое отношение ко всяким жизненным невзгодам, что все эти разговоры глубоко западали в мою душу.

Невзирая на возраст, был он здоров и крепок. Помню, шли мы с ним как-то по городу и встретили подростка лет пятнадцати, который стоял над тяжелым мешком с мукой и плакал. Снял мешок с плеч, чтобы отдохнуть, а взвалить обратно не мог. Отец поднял мешок, вымазавшись в муке, и тут же схватил... солидную грыжу. Это была первая в жизни болезнь или повреждение, если не считать раны в руку, нанесенной польским косиньером в рукопашной схватке и оставившей довольно глубокий след. Рану отец считал несерьезной и в формуляр не заносил.

Только последние годы жизни отец стал страдать болями в желудке. Лечиться не на что было, да и не привык он обращаться к врачам. Пользовался несколько лет подряд каким-то народным средством. К весне 1885 года отец не вставал уже с постели; сильные боли и непрестанная икота; приглашенный врач определил — рак в желудке...

Мать не отходила от постели больного, меня на ночь выдворяли в соседнюю комнату.

* У поляков была склонность повышать людей в ранге: маленький писец — радца (советник), учитель — профэссор, гимназист — студэнт, студент — акадэмик. А лицо вовсе без определенной профессии — пан мэцэнас (меценат).

Стал отец часто и спокойно говорить о своей близкой смерти, что наполняло мое сердце жгучей болью. Осталось в памяти его последнее напутствие:

— Скоро я умру. Оставляю тебя, милый, и мать твою в нужде. Но ты не печалься — Бог не оставит вас. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно. За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон...

Шли дни великого поста. Отец часто молился вслух:

— Господи, пошли умереть вместе с Тобою...

В страстную пятницу я был в церкви на выносе плащаницы и пел по обыкновению на клиросе. Подходит ко мне знакомый мальчик и говорит:

— Иди домой, тебя мать требует.

Прибежал домой — отец уже мертв.

Исполнилось желание его — умереть в страстную пятницу. Самовнушение или милость Божия?

На третий день Пасхи отца похоронили. Хор музыкантов 1-го Стрелкового батальона играл похоронный марш; сотня пограничников проводила гроб в могилу тремя ружейными залпами; могилу засыпали землей, и мы с матерью, жалкие и несчастные в тот день, как никогда, вернулись в свой осиротевший дом.

Для могильной плиты приятель отца, ротмистр Ракицкий, составил надпись: «В простоте души своей он боялся Бога, любил людей и не помнил зла».

Со смертью отца материальное положение наше оказалось катастрофическим. Мать стала получать пенсию всего 20 руб. в месяц. Пришлось мне, хотя я и сам был тогда еще юн и нетверд в науках, репетировать двух второклассников. За два урока получал 12 руб. в месяц. Никакого влечения к педагогической деятельности я не имел, и тяготили меня эти занятия ужасно. В особенности зимой, когда рано темнело. Вернувшись из училища часа в 4 и наскоро пообедав, бежал на один урок, потом — в противоположный конец города на другой. А тут уж и ночь, да свои уроки готовить надо... Никакого досуга ни для детских игр, ни для Густава Эмара. Праздника ждал, как манны небесной.

Года два еще кое-как перебивались, наконец стало невмоготу. На «семейном совете» (мать, нянька и я) решили попытаться получить разрешение на держание ученической квартиры. Пошли с матерью к директору Левшину. Тот дал разрешение на квартиру для 8 учеников. Нормальная плата была 20 руб. с человека. Так как к тому времени повысилась сильно моя школьная репутация («пифагор»), то меня же директор назначил «старшим» по квартире.

С тех пор, если и не было у нас достатка, то кончилась та беспросветная нужда, которая висела над нами в течение стольких лет.

К этому же времени относится и резкое изменение нашего «семейного статута». Школьные успехи, некоторая серьезность характера, вызванная впечатлением от кончины отца и его предсмертного наказа — «береги мать»... и участие в добывании средств на хлеб насущный — с одной стороны. С другой — одиночество моей бедной матери, инстинктивно искавшей хоть какой-нибудь опоры, даже такой ничтожной, какую мог дать 15-летний сын... Все это незаметно создало мне положение равноправного члена семьи. Меня никогда больше не наказывали и не пилили. Мать делилась со мной своими переживаниями, иногда советовалась по вопросам нашего несложного домашнего быта.

Со времени производства моего в офицеры мать жила при мне до самой своей смерти, последовавшей в Киеве в 1916 году, когда я был на войне и командовал уже корпусом.

Выбор карьеры

В первый год моей жизни, в день какого-то семейного праздника, по старому поверью, родители мои устроили гадание: разложили на подносе крест, детскую саблю, рюмку и книжку. К чему первому дотронусь, то и предопределит мою судьбу. Принесли меня. Я тотчас же потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего ни за что не захотел дотронуться.

Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся:

— Ну, думаю, дело плохо: будет мой сын рубакой и пьяницей!

Гаданье и сбылось и не сбылось. «Сабля», действительно, предрешила мою жизненную дорогу, но и от книжной премудрости я не отрекся. А пьяницей не стал, хотя спиртного вовсе не чуждаюсь. Был пьян раз в жизни — в день производства в офицеры.

Рассказы отца, детские игры (сабли, ружья, «война») — все это настраивало на определенный лад. Мальчишкой я по целым часам пропадал в гимнастическом городке 1-го Стрелкового батальона, ездил на водопой и купанье лошадей с литовскими уланами, стрелял дробинками в тире пограничников. Ходил версты за три на стрельбище стрелковых рот, пробирался со счетчиками пробоин в укрытие перед мишенями. Пули свистели над головами — немножко страшно, но занятно очень, придавало вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть... На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню:

Греми, слава, трубой
За Дунаем, за рекой.

Словом, прижился к местной военной среде, приобретя знакомых среди офицерства и еще более приятелей среди солдат.

У солдат покупал иной раз боевые патроны — за случайно перепавший пятак или за деньги, вырученные от продажи старых тетрадок; сам разряжал патроны, а порох употреблял на стрельбу из старинного отцовского пистолета или закладывал и взрывал фугасы.

Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и лихости. В нашем доме жили два корнета 5-го Уланского полка. Я видал их не раз лихо скакавшими на ученье, а в квартире их всегда дым стоял коромыслом. Через открытые окна доносились веселые крики и пение. Особенно меня восхищало и... пугало, когда один из корнетов, сидя на подоконнике и спустив ноги за окно, с бокалом вина в руке, бурно приветствовал кого-либо из знакомых, проходивших по улице. «Ведь третий этаж, вдруг упадет и разобьется!..»

Через 25 лет во время японской войны мы вспоминали мое детское увлечение: бывший корнет, теперь генерал Ренненкампф — прославленный начальник Восточного отряда Маньчжурской армии, и я — его начальник штаба...

По мере перехода в высшие классы свободного времени становилось меньше, появились другие интересы, и «воинские упражнения» мои почти прекратились. Не бросил только гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введен в училищную программу в 1889 году.

Во всяком случае, когда я окончил реальное училище, хотя высокие баллы по математическим предметам сулили легкую возможность прохождения любого высшего технического заведения, об этом и речи не было.

Я избрал военную карьеру.

В военном училище

В конце 80-х годов для комплектования русской армии офицерами существовали училища двух типов:

Военные училища, имевшие однородный состав по воспитанию и образованию, так как комплектовались они юношами, окончившими кадетские корпуса (средние учебные заведения с военным режимом). И юнкерские училища, предназначенные для молодых людей «со стороны» — всех категорий и всех сословий. Огромное большинство поступавших в них не имело законченного среднего образования, что придало училищам этим характер второсортности. Военные училища выпускали своих питомцев во все роды оружия офицерами, а юнкерские — только в пехоту и кавалерию в звании, среднем между офицерским и сержантским, и только впоследствии они производились в офицеры.

В 80-х годах соотношение выпускаемых из военных и юнкерских училищ

было 26% и 74%. Путем постепенных реформ перед первой мировой войной в 1911 году все училища стали «военными», и русский офицерский состав по своей квалификации не уступал германскому и был выше французского.

В 1868 году создано было училище третьего типа под названием «Московское юнкерское училище с военно-училищным курсом». Программа и права были те же, что и в военных училищах, и принимались туда вольноопределяющиеся (солдаты) с законченным высшим или средним образованием гражданских учебных заведений. Потребность в нем так назрела, что стены его не могли вместить желающих. Поэтому такие же курсы были открыты при Киевском юнкерском училище, куда я и поступил осенью 1890 года, предварительно записавшись в 1-й Стрелковый полк, квартировавший в Плоцке.

Собралось нас там 90 человек. Для классных занятий мы были распределены по трем отделениям с особым составом преподавателей, а во всех прочих отношениях — размещения, довольствия, обмундирования и строевого обучения — нас слили с юнкерами «юнкерского курса». Большие преимущества наши по правам выпуска вызывали в них невольно ревнивое чувство.

Училище наше помещалось в старинном крепостном здании со сводчатыми стенами-нишами, с окнами, обращенными на улицу, и с пушечными амбразурами, глядевшими в поле, к реке Днепр. Началась новая жизнь, замкнутая в четырех стенах, за которыми был запретный мир, доступный только в отпускные дни. Строгое и точное, по часам и минутам, расписание повседневного обихода... День и ночь, работа и досуг, даже интимные отправления — все на людях, под обстрелом десятков чужих взоров...

Для людей с воли — гимназистов, студентов — было ново и непривычно это полусвободное существование. Некоторые юнкера поначалу приходили в уныние и, тоскливо слоняясь по неуютным казематам, раскаивались в выборе карьеры. Я лично, приобщившийся с детства к военному быту, не так уж тяготился юнкерским режимом. Но и я вместе с другими в тихие ночи благоуханной южной весны не раз, бывало, просиживал по целым часам в открытых амбразурах в томительном созерцании поля, ночи и воли... Бывали и такие «непоседы», что, рискуя непременным изгнанием из училища, спускались на жгутах из простынь через амбразуру вниз, на пустырь. И уходили в поле, на берег Днепра. Бродили там часами и перед рассветом условленным свистом вызывали соумышленников, подымавших их наверх.

А на случай обхода дежурного офицера на кровати самовольно отлучившегося покоилось отлично сделанное чучело.

По тем же причинам отпускные дни (нормально — раз в неделю) были весьма ценными для нас, а лишение отпуска (за дурное поведение или неудовлетворительный балл) — самым чувствительным наказанием. Поэтому лишенные отпуска или нуждающиеся в нем в неурочный день уходили иногда в город самовольно — тайком. Возвращались обыкновенно через классные комнаты, расположенные в нижнем этаже. Там юнкера готовились по вечерам к очередной репетиции. Случился раз грех и со мной. Вернувшись из самовольной отлучки, стучу осторожно в окно своего отделения. Приятели услышали. Один становится на пост у стеклянных дверей, другой открывает окно, в которое бросаю штык, фуражку и шинель; потом прыгаю в окно и тотчас же углубляюсь в книгу. Потом уже общими усилиями проносятся в роту компрометирующие «выходные» предметы. Труднее всего с шинелью... Одеваю ее в накидку и с опаской иду в роту. Навстречу, на несчастье, дежурный офицер.

— Вы почему в шинели?

— Что-то знобит, господин капитан.

У капитана во взгляде сомнение. Быть может, и самого когда-то «знобило»...

— Вы бы в лазарет пошли...

— Как-нибудь перемогусь, господин капитан.

Пронесло. От исключения из училища спасен.

Возвращались юнкера из легального отпуска к вечерней перекличке. Опоздать хоть на минуту — Боже сохрани. Пьянства как сколько-нибудь широкого явления в училище не было. Но бывало, что некоторые юнкера возвращались из города под хмельком, и это обстоятельство вызывало большие осложнения: за пьяное состояние грозило отчисление от училища, за «винный дух» — арест и «третий разряд по поведению», который сильно ограничивал юнкерские права, в особенности при выпуске. Если юнкер не мог, не запинаясь, отрапортовать дежурному офицеру, то приходилось принимать героические меры, сопряженные с большим риском. Вместо выпившего рапортовал кто-либо из его друзей, конечно, если дежурный офицер не знал его в лицо. Не всегда такая подмена удавалась. Однажды подставной юнкер К. рапортовал капитану Левуцкому:

— Господин капитан, юнкер Р. является...

Но под пристальным взглядом Левуцкого голос его дрогнул и глаза забегали. Левуцкий понял:

— Приведите ко мне юнкера Р., когда проспится.

Когда утром оба юнкера в волнении и страхе предстали перед Левуцким, капитан обратился к Р.:

— Ну-с, батенька, видно, вы не совсем плохой человек, если из-за вас юнкер К. рискнул своей судьбой накануне выпуска. Губить вас не хочу. Ступайте!

И не доложил по начальству.

Юнкерская психология воспринимала кары за пьянство как нечто суровое и неизбежное. Но преступности «винного духа» не признавала, тем более что были мы в возрасте 18—23 лет, а на юнкерском курсе и под 30; что в армии в то время производилась по военным праздникам выдача казенной «чарки водки», да и училищное начальство вовсе не состояло из пуритан...

Вообще воинская дисциплина в смысле исполнения прямого приказа и чинопочитания стояла на большой высоте. Но наши юнкерские традиции вносили в нее своеобразные «поправки». Так, обман вообще и, в частности, наносящий кому-либо вред, считался нечестным. Но обманывать учителя на репетиции или экзамене разрешалось. Самовольная отлучка или рукопашный бой с «вольными», с употреблением в дело штыков, где-нибудь в подозрительных предместьях Киева, когда надо было выручать товарищей или «поддержать юнкерскую честь», вообще действия, где проявлены были удаль и отсутствие страха ответственности, встречали полное одобрение в юнкерской среде. И наряду с этим кара за них, вызывая сожаление, почиталась все же правильной... Особенно крепко держалась традиция товарищества, главным образом в одном ее проявлении — «не выдавать». Когда один из моих товарищей побил сильно доносчика и был за это переведен в «третий разряд», не только товарищи, но и некоторые начальники старались выручить его из беды, а побитого преследовали.

Ввиду того что по содержанию нас приравняли к юнкерскому курсу, жили мы почти на солдатском положении. Ели чрезвычайно скромно, так как наш суточный паек (около 25 копеек) был только на 10 копеек выше солдатского; казенное обмундирование и белье получали также солдатское, в то время плохого качества. Большинство юнкеров получали из дому небольшую сумму денег (мне присылала мать 5 рублей в месяц). Но были юнкера бездомные или очень бедных семей, которые довольствовались одним казенным жалованьем, составлявшим тогда в месяц $22^1/_2$ (рядовой) или $33^1/_3$ копейки (ефрейтор). Не на что было им купить табаку, зубную щетку или почтовые марки. Но переносили они свое положение стоически.

Вообще условия жизни в училище отличались суровой простотой и скромностью, являясь хорошей школой для вступления в обер-офицерскую жизнь. Надо заметить, что в начале 90-х годов младший офицер получал в месяц около 50 рублей содержания. И хотя до революции дважды увеличивалось содержание, но стандарт офицерской жизни стоял всегда на низком уровне. И потому, когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата.

Строевое образование во всех училищах стояло на должной высоте. Военная муштра скоро преображала бывших гимназистов, семинаристов, студентов в за-

Недостаточная осведомленность в области политических течений и особенно социальных вопросов русского офицерства сказалась уже в дни первой революции и перехода страны к представительному строю. А в годы второй революции большинство офицерства оказалось безоружным и беспомощным перед безудержной революционной пропагандой, спасовав даже перед солдатской полуинтеллигенцией, натасканной в революционном подполье.

И второе последствие, о котором человек социалистического лагеря *, вряд ли склонный идеализировать военный быт, говорит:

«Интеллигент презирал спорт так же, как и труд, и не мог защитить себя от физического оскорбления. Ненавидя войну и казарму, как школу войны, он стремился обойти или сократить единственную для себя возможность приобрести физическую квалификацию — на военной службе. Лишь офицерство получило иную школу, и потому лишь оно одно оказалось способным вооруженной рукой защищать свой национальный идеал в эпоху гражданской войны».

Без этих двух предпосылок невозможно понять ход русской революции и гражданской войны 1917—1920 годов.

Выпуск в офицеры

После окончания двухлетнего курса, перед выходом в последний лагерный сбор, устраивались «похороны» с подобающей торжественностью. Хоронили «науки» (учебники) или юнкера, оканчивающего курс по «третьему разряду» — конечно, с его полного согласия. За «гробом» (снятая дверь) шествовали «родственники», а впереди «духовенство», одетое в ризы из одеял и простынь. «Духовенство» возглашало поминание, хор пел — впоследствии, когда заведены были училищные оркестры, чередуясь с похоронными маршами. Несли зажженные свечи и кадила, дымящиеся дешевым табаком. И процессия в чинном порядке следовала по всем казематам до тех пор, пока неожиданное появление дежурного офицера не обращало в бегство всю компанию, включая и «покойника».

Никто из нас не влагал в эти «похороны» кощунственного смысла. Огромное большинство участников были люди верующие, смотревшие на традиционный «обряд» как на шалость, но не кощунство. Подобно тому, как не было кощунства в русском народном эпосе, представлявшем в песнях (южные «колядки») небесные силы в сугубо земной обстановке и фамильярном виде.

Юнкера отлично разбирались в характере своих начальников, подмечали их слабости, наделяли меткими прозвищами, поддевали в песне, слегка вуалируя личности. Про одних с похвалой, про других зло и обличительно. Певали, бывало, под сурдинку в казематах, а теперь перед выпуском — даже всей ротой, в строю, возвращаясь с ученья. Начальство не реагировало.

Перед выходом в последний лагерь происходил важный в юнкерской жизни акт — разбор вакансий. В списке по старшинству в голове помещались фельдфебеля, потом училищные унтер-офицеры, наконец юнкера по старшинству баллов.

Еще в начале первого курса со мной случился неприятный казус. Я относился к юнкерам «юнкерского курса» без всякой предвзятости и имел среди них немало друзей. Совершенно неожиданно друзья эти стали избегать меня, а юнкерское начальство (первый год все оно было «юнкерского курса») стало преследовать меня наказаниями и своей властью, что в отношении других не практиковалось, и докладом дежурному офицеру. За что — мы не могли понять — ни я, ни мои товарищи. Наконец один из моих приятелей («юнкерского курса») по секрету объяснил мне, что юнкерское начальство нашей роты (1-й) сговорилось наказать меня за оскорбление, нанесенное всему «юнкерскому курсу»: я будто бы во время вечерней подготовки в классах, когда в наше отделение зашел один из юнкеров «юнкерского курса», сказал: «Терпеть не могу, когда к нам заходят эти шморгонцы **...»

* Статья профессора Г. Федотова «Революция идет».
** Оскорбительная кличка.

Юнкер этот обознался: такой инцидент действительно имел место, но сказал эту фразу не я, а юнкер 2-й роты Силин. Силин, очень порядочный человек, пошел тотчас же в 1-ю роту и заявил фельдфебелю, что произнес эту фразу он. После этого преследования сразу прекратились, отношения с приятелями возобновились, но мой кондуит был безнадежно погублен: до конца года я оставался во 2-м разряде по поведению и, несмотря на хорошие баллы, не был произведен в училищные унтер-офицеры.

Прошел второй год — без взысканий и с выпускным баллом 10,4. Меня произвели наконец, и таким образом хорошая вакансия была обеспечена.

На юнкерской бирже вакансии котировались в такой последовательности: гвардия (1 вакансия), полевая артиллерия (5—6 вакансий), инженерные войска (5—6 вакансий), остальные пехотные. Наш фельдфебель взял единственную вакансию в гвардию. В позднейших выпусках их было больше. Однако гвардейские вакансии не общедоступны. Хотя такого закона не существовало, но по традиции в гвардию допускались лишь потомственные дворяне. На этой почве выходили большие недоразумения, когда не предупрежденные о таких порядках юнкера не дворянского сословия брали гвардейские вакансии. Выходили иногда громкие истории, доходившие до государя, но и он не мог или не хотел нарушить традицию: молодые офицеры, претерпев моральный урон, удалялись из гвардейских полков и получали другие назначения.

Я взял вакансию во 2-ю артиллерийскую бригаду, квартировавшую в городе Беле Седлецкой губернии, которая впоследствии, по Рижскому договору 1920-го года, перешла к Польше

Помню, какое волнение и некоторую растерянность вызывал в нас акт разбора вакансий. Ведь помимо объективных условий и личных вкусов было нечто провиденциальное в этом выборе тропинки на нашем жизненном пути, на переломе судьбы. Этот выбор во многом предопределял уклад личной жизни, служебные успехи и неудачи — и жизнь, и смерть. Для помещенных в конце списка остаются лишь «штабы» с громкими историческими наименованиями — так назывались казармы в открытом поле, вдали от города, кавказские «урочища» или стоянки в отчаянной сибирской глуши. В некоторых из них вне ограды полкового кладбища было и «кладбище самоубийц», на котором похоронены были молоденькие офицеры, не справившиеся с тоской и примитивностью захолустной жизни...

Судьба разбросала нас по свету, по разным станам. Среди моих однокашников Киевского училища выпуска 1892 года только двое выдвинулись на военном поприще...

Военно-училищный курс окончил тогда, выйдя подпоручиком в артиллерию, Павел Сытин. Впоследствии он прошел курс Академии Генерального Штаба и был возвращен в строй. В конце первой мировой войны в чине генерала командовал артиллерийской бригадой. С началом революции неудержимой демагогией и «революционностью» ловил свою фортуну в кровавом безвременье. И преуспел: поступив одним из первых на службу к большевикам, занял вскоре, но не надолго пост главнокомандующего Южным красным фронтом.

Это он вел красные полчища зимою 1918 года против Дона и моей Добровольческой армии...

Юнкерский курс окончил, выйдя подпрапорщиком в пехоту, Сильвестр Станкевич. Свой первый Георгиевский крест он получил в китайскую кампанию 1900 года, командуя ротой сибирских стрелков, за громкое дело — взятие им форта Таку. В первой мировой войне он был командиром полка, потом бригады в 4-й стрелковой «Железной дивизии», которой я командовал, участвуя доблестно во всех ее славных боях; в конце 1916 года принял от меня «Железную дивизию». После крушения армии, имея возможность занять высокий пост в нарождавшейся польской армии, как поляк по происхождению, он не пожелал оставить своей второй родины: дрался искусно и мужественно против большевиков во главе Добровольческой дивизии в Донецком бассейне против войск... Павла Сытина. Там же и умер.

Трагическое раздвоение старой русской армии: два пути, две совести.

Близится день производства. Мы чувствуем себя центром мироздания. Предстоящее событие так важно, так резко ломает всю жизнь, что ожидание его заслоняет собою все остальные интересы. Мы знаем, что в Петербурге производство обставлено весьма торжественно, происходит блестящий парад в Красном Селе в Высочайшем присутствии, причем сам Государь поздравляет производимых. Как будет у нас — неизвестно: в Киеве за время существования училища это первый офицерский выпуск.

4 августа вдруг разносится по лагерю весть, что в Петербурге производство уже состоялось, несколько наших юнкеров получили от родных поздравительные телеграммы. Волнение и горечь: про нас забыли... Действительно, вышло какое-то недоразумение, и только к вечеру другого дня мы услышали звонкий голос дежурного юнкера:

— Господам офицерам строиться на передней линейке!

Мы летим стремглав, на ходу застегивая пояса. Подходит начальник училища, читает телеграмму, поздравляет нас с производством и несколькими задушевными словами напутствует в новую жизнь.

И все.

Мы несколько смущены и даже как будто растеряны: такое необычайное событие, и так просто, буднично все произошло... Но досадный налет скоро расплывается под напором радостного чувства, прущего из всех пор нашего преображенного существа. Спешно одеваемся в офицерскую форму и летим в город. К родным, знакомым, а то и просто в город — в шумную толпу, в гудящую улицу, чтобы окунуться с головой в полузапретную доселе жизнь, несущую — так крепко верилось — много света, радости, веселья.

Вечером во всех увеселительных заведениях Киева дым стоит коромыслом. Мы кочевали гурьбой из одного места в другое, принося с собой буйное веселье. С нами большинство училищных офицеров. Льется вино, затеваются песни, сыплются воспоминания... В голове — хмельной туман, а в сердце — такой переизбыток чувства, что взял бы вот в охапку весь мир и расцеловал!

Потом люди, столики, эстрада — все сливается в одно многогранное, многоцветное пятно и уплывает.

В старой России были две даты, когда бесшабашное хмельное веселье пользовалось в глазах общества и охранителей порядка признанием и иммунитетом. Это день производства в офицеры и еще ежегодный университетский «праздник просвещения» — Татьянин день. Когда, забыв и годы, и седины, и больную печень, старые профессора и бывшие универсанты всех возрастов и положений, сливаясь со студенческой молодежью, кочевали из одного ресторана в другой, пили без конца, целовались, пели «Gaudeamus» и от избытка чувств и возлияний клялись в «верности заветам», не стесняясь никакими запретами.

Через два дня поезда уносили нас из Киева во все концы России — в 28-дневный отпуск, после которого для нас начиналась новая жизнь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В артиллерийской бригаде

Осенью 1892 года я прибыл к месту службы во 2-ю полевую артиллерийскую бригаду — в город Белу Седлецкой губернии.

Это была типичная стоянка для большинства войсковых частей, заброшенных в захолустья Варшавского, Виленского, отчасти Киевского военных округов, где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей. Быт нашей бригады и жизнь городка переплетались так тесно, что о последней приходится сказать несколько слов.

Население Белы не превышало 8 тысяч. Из них тысяч 5 евреев, остальные поляки и немного русских — главным образом служилый элемент.

Евреи держали в своих руках всю городскую торговлю, они же были поставщиками, подрядчиками, мелкими комиссионерами («факторы»). Без «фактора» нельзя было ступить ни шагу. Они облегчали нам хозяйственное бремя жизни, доставали все — откуда угодно и что угодно; через них можно было обзаводиться обстановкой и одеваться в долгосрочный кредит, перехватить денег под вексель на покрытие нехватки в офицерском бюджете. Ибо бюджет был очень скромный: я, например, получал содержание 51 рубль в месяц.

Возле нас проходила жизнь местечкового еврейства — внешне открытая, по существу же — совершенно замкнутая и нам чуждая. Там создавались свои обособленные взаимоотношения, свое обложение, так же исправно взимаемое, как государственным фиском, свои негласные нотариальные функции, свой суд и расправа, чинимые кагалом и почитаемыми цадиками и раввинами; своя система религиозного и экономического бойкота.

Среди бельских евреев был только один интеллигент — доктор. Прочие, исключая местного «миллионера» Пижица, держались крепко «старого закона» и обычаев. Мужчины носили длинные «лапсердаки», женщины — уродливые парики, а детей, избегая правительственной начальной школы, отдавали в свои средневековые «хедэры» — школы, допускавшиеся властью, но не дававшие никаких прав по образованию. Редкая молодежь, проходившая курс в гимназиях, не оседала в городе, рассеиваясь в поисках более широких горизонтов.

То специфическое отношение офицерства к местечковым евреям, которое имело место еще в шестидесятых — семидесятых годах и выражалось когда анекдотом, когда и дебошами, отошло уже в область преданий. Буянили еще изредка неуравновешенные натуры, но выходки их оканчивались негласно и прозаически: вознаграждением потерпевшим и командирской карой.

Связанный сотнями нитей с еврейским населением Белы в области хозяйственной русский служилый элемент во всех прочих отношениях жил совершенно обособленно от него.

Однажды на почве этих отношений Бела потрясена была небывалым событием...

Немолодой уже подполковник нашей бригады Ш. влюбился в красивую и бедную еврейскую девушку. Взял ее к себе в дом и дал ей приличное домашнее образование. Так как они никогда не показывались вместе и внешние приличия были соблюдены, начальство не вмешивалось; молчала и еврейская община. Но когда прошел слух, что девушка готовится принять лютеранство, мирная еврейская Бела пришла в необычайное волнение. Евреи грозили не на шутку убить ее. В отсутствие Ш. большая толпа их ворвалась однажды в его квартиру, но девушки там не нашли. В другой раз евреи в большом числе подкараулили Ш. на окраине города и напали на него. О том, что там произошло, обе стороны молчали, можно было только догадываться... Мы были уверены, что по офицерской традиции, не сумевший защитить себя от оскорбления Ш. будет уволен в отставку. Но произведенное по распоряжению командующего войсками округа дознание окончилось для подполковника благополучно: он был переведен в другую бригаду и на перепутье, обойдя формальности и всякие препятствия, успел жениться.

Польское общество жило замкнуто и сторонилось русских. С мужскими представителями его мы встречались на нейтральной почве — в городском клубе или в ресторане, играли в карты и вместе выпивали, иногда вступали с ними в дружбу. Но **домами** не знакомились. Польские дамы были более нетерпимыми, чем их мужья, и эту нетерпимость могло побороть только увлечение...

Наше офицерство в отношении польского элемента держало себя весьма тактично, и каких-либо столкновений на национальной почве у нас не бывало.

Русская интеллигенция Белы была немногочисленна и состояла исключительно из служилого элемента — военного и гражданского. В этом кругу сосредотачивались все наши внешние интересы: там «бывали», ссорились и мирились, дружили и расходились, ухаживали и женились.

Из года в год все то же, все то же. Одни и те же разговоры и шутки. Лишь два-три дома, где можно было не только повеселиться, но и поговорить

на серьезные темы. Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредали в нашу глушь. Словом, серенькая жизнь, маленькие интересы — «чеховские будни». Только деловые и бодрые, без уездных «гамлетов», без нытья и надрыва. Потому, вероятно, они не засасывали и вспоминаются теперь с доброй улыбкой.

В такой обстановке прошло с перерывами в общей сложности 5 лет моей жизни.

Мои два товарища, одновременно со мной вышедшие в бригаду, сделали визиты всем в городе, как тогда острили, «у кого только был звонок у подъезда». И всюду бывали. Я же предпочитал общество своих молодых товарищей. Мы собирались поочередно друг у друга, по вечерам играли в винт, умеренно пили и много пели. Во время своих собраний молодежь разрешала попутно и все «мировые вопросы», весьма, впрочем, элементарно. Государственный строй был для офицерства фактом предопределенным, не вызывающим ни сомнений, ни разнотолков. «За веру, царя и отечество». Отечество воспринималось горячо как весь сложившийся комплекс бытия страны и народа — без анализа, без достаточного знания его жизни. Офицерство не проявляло особенного любопытства к общественным и народным движениям и относилось с предубеждением не только к левой, но и к либеральной общественности. Левая отвечала враждебностью, либеральная — большим или меньшим отчуждением.

Когда я вышел в бригаду, ею правил генерал Сафонов — один из вымиравших типов старого времени — слишком добрый, слабый и несведущий, чтобы играть руководящую роль в бригадной жизни. Но то сердечное отношение, которое установилось между офицерством и бригадным, искупало его бездеятельность, заставляя всех работать за совесть, с бескорыстным желанием не подвести бригаду и добрейшего старика. Немалое влияние на бригаду оказывал и тот боевой дух, который царил в Варшавском округе в период командования им героя русско-турецкой войны генерала Гурко. И та любовь к своему специальному делу, которая была традицией артиллеристов и заслужила русской артиллерии высокое признание наших врагов и в японскую кампанию, и в первую мировую войну, и даже, невзирая на умерщвление духа большевиками, во вторую мировую...

Наконец, батареями у нас командовали две крупные личности — Гомолицкий и Амосов, по которым равнялось все и вся в бригаде. Их батареи были лучшими в артиллерийском сборе. Их любили как лихих командиров и одновременно как товарищей-собутыльников, вносивших смысл в работу и веселие в пиры. Особенно молодежь, находившая у них и совет, и заступничество.

Словом, в бригаде кипела работа, выделявшая ее среди других частей артиллерийского сбора.

Но на втором году моей службы генерал Сафонов умер. Доброго старика искренно пожалели. Никто, однако, не думал, что с его смертью так резко изменится судьба бригады.

Приехал новый командир, генерал Л.

Этот человек с первых же шагов употребил все усилия, чтобы восстановить против себя всех, кого судьба привела в подчинение ему. Человек грубый по природе, Л. после производства в генералы стал еще более груб и невежлив со всеми — военными и штатскими. А к обер-офицерам относился так презрительно, что никому из нас не подавал руки. Он совершенно не интересовался нашим бытом и службою, в батареи просто не заходил, кроме дней бригадных церемоний. При этом раз — на втором году командования — он з а б л у д и л с я среди казарменного расположения, заставив прождать около часа всю бригаду, собранную в конном строю.

Он замкнулся совершенно в канцелярию, откуда сыпались предписания, запросы, по форме резкие и ругательные, по содержанию — обличавшие в Л. не только отжившие взгляды, но и незнание им артиллерийского дела. Сыпались ни за что на офицеров и взыскания, даже аресты на гауптвахте, чего раньше в бригаде не бывало. Словом, сверху грубость и произвол, снизу озлобление и апатия.

И все в бригаде перевернулось.

Амосов ушел, получив бригаду у Гомолицкого, которого Л. стал преследовать; опустились руки. Все, что было честного, дельного, на ком держалась бригада, замкнулось в себя. Началось явное разложение. Пьянство и азартный картеж, дрязги и ссоры стали явлением обычным. Многие забыли дорогу в казармы. Трагическим предостережением прозвучали три выстрела, унесшие жизни молодых наших офицеров. Эти самоубийства имели, конечно, подкладку субъективную, но, несомненно, на них повлияла обстановка выбитой из колеи бригадной жизни.

Наконец, нависшие над бригадой тучи разразились громом, который разбудил заснувшее начальство.

В бригаде появился новый батарейный командир подполковник З.— темная и грязная личность. Похождения его были таковы, что многие наши офицеры — факт в военном быту небывалый — не отдавали чести и не подавали руки штаб-офицеру своей части. Летом в лагерном собрании З. нанес тяжкое оскорбление всей бригаде. Тогда обер-офицеры решили собраться вместе и обсудить создавшееся положение.

Небольшими группами и поодиночке стали стекаться на берег реки Буга, на котором стоял наш лагерь, в глухое место. Я был тогда уже в Академии в Петербурге. Мне рассказывали потом участники об испытанном ими чувстве смущения в необычайной для военных людей роли «заговорщиков». На собрании установили преступления З., и старший из присутствовавших, капитан Нечаев, взял на себя большую ответственность — подать рапорт по команде от лица всех обер-офицеров *. Рапорт дошел до начальника артиллерии корпуса, который положил резолюцию о немедленном увольнении в запас подполковника З.

Но вскоре отношение к нему начальства почему-то изменилось и мы в официальной газете прочли о переводе З. в другую бригаду. Тогда обер-офицеры, собравшись вновь, составили коллективный рапорт, снабженный 28-ю подписями, и направили его главе всей артиллерии, великому князю Михаилу Николаевичу, прося «дать удовлетворение их воинским и нравственным чувствам, глубоко и тяжко поруганным».

Гроза разразилась. Из Петербурга назначено было расследование, в результате которого начальник артиллерии корпуса и генерал Л. вскоре ушли в отставку; офицерам, подписавшим незаконный коллективный рапорт, объявлен был выговор, а З. был выгнан со службы.

С приездом нового командира, генерала Завацкого, как будет видно ниже, жизнь бригады скоро вошла в нормальную колею.

Вследствие ряда причин и в русской армии существовала некоторая рознь между родами оружия — явление старое и свойственное всем армиям. Общими чертами ее были: гвардия глядела свысока на армию; кавалерия — на другие роды оружия; полевая артиллерия косилась на кавалерию и конную артиллерию и снисходила к пехоте; конная артиллерия сторонилась полевой и жалась к кавалерии; наконец, пехота глядела исподлобья на всех прочих и считала себя обойденной вниманием и власти, и общества. Надо сказать, однако, что рознь эта была неглубока и существовала лишь в мирное время. С началом войны — так было и в японскую, и в первую мировую — она исчезала совершенно.

Наша бригада жила отлично с пехотой своей дивизии, но не входила в сношения ни с конной артиллерией, ни с конницей своего корпуса. Однажды отношения эти замутились, оставив за собой кровавый след и тяжелое воспоминание у всех стоявших близко к событию.

В Брест-Литовске, в ресторане, произошло столкновение между нашим штабс-капитаном Славинским и двумя конно-артиллерийскими поручиками — Квашниным-Самариным и другим — на почве «неуважительных отзывов об их родах оружия». Славинский — человек храбрый и отличный стрелок — имел гражданское мужество не желать дуэли и принести извинение. Готовы были по-

* Всякое коллективное выступление считалось по военным законам преступлением.

мириться и его противники. Но командир конной батареи подполковник Церпицкий потребовал от обоих офицеров послать вызов Славинскому. Славинский с разрешения бригадного суда чести * принял вызов.

Условия дуэли установлены были сравнительно нетяжелые: на пистолетах, 25 шагов дистанции, по одному выстрелу — по команде.

Накануне вечером в нашем лагере, возле адъютантского барака, собралось много офицеров, взволнованно обсуждавших событие; характерно, что пришли и из чужих бригад. Особенно возмущало всех то обстоятельство, что Церпицкий «для защиты чести своей батареи» выставил двух против одного... Наша молодежь всю ночь не спала. Не спали и солдаты той батареи, в которой служил Славинский. То же, говорят, происходило и в конной батарее.

Место для дуэли назначено было возле лагеря, на опушке леса. На рассвете, в четыре часа, мимо бригадного лагеря проскакала группа конных артиллеристов, потом все смолкло. Через некоторое время показался скачущий по направлению к конной батарее фейерверкер; он был послан, как оказалось, за лазаретной линейкой...

Славинский тяжело ранил Квашнина-Самарина в живот. От помощи бригадного врача и от нашей лазаретной линейки конно-артиллеристы отказались... Квашнин-Самарин, отвезенный в госпиталь, дня через два в тяжких мучениях умер.

Результаты первой дуэли произвели на всех присутствовавших тяжелое впечатление. Нервничали секунданты. Славинский мрачно курил одну папиросу за другой. Через своих секундантов он опять предложил второму дуэлянту принести ему извинение. Тот отказался. Через четверть часа — вторая дуэль, окончившаяся благополучно. Славинский стрелял в воздух.

Назначенное по делу следствие признало поведение Славинского джентльменским, а на подполковника Церпицкого были наложены начальством кары.

Был на такой же почве и другой случай — без кровавого исхода, но имевший последствия исторические.

Однажды, когда бригада шла походом через Седлец, где квартировал Нарвский гусарский полк, между нашим подпоручиком Катанским — человеком порядочным и хорошо образованным, но буйного нрава — и гусарским корнетом поляком Карницким исключительно на почве корпоративной розни возникло столкновение: Катанский оскорбил Карницкого. Секунданты заседали всю ночь. Пришлось и мне как «старшему подпоручику» потратить много времени и уговоров, чтобы предотвратить кровавую, быть может, развязку... Только на рассвете, когда трубачи играли в сонном городе «поход» и бригаде пора было двигаться дальше, дело закончилось примирением.

Закончилось, но не совсем... В Нарвском гусарском полку сочли, что примирение не соответствовало нанесенному Карницкому оскорблению. Возник вопрос о возможности для него оставаться в полку... По этому поводу к нам в Белу приехала делегация суда чести Нарвского полка для выяснения дела. Переговорив между собою, мы с товарищами условились представить инцидент в возможно благоприятном для Карницкого свете. В результате он был оправдан судом чести и оставлен на службе.

Мистические нити опутывают людей и события...

Через четверть века судьба столкнула меня с бывшим корнетом в непредвиденных ролях: я — главнокомандующий и правитель Юга России, он — генерал Карницкий — посланец нового Польского государства, прибывший ко мне в Таганрог в 1919 году для разрешения вопроса о кооперации моих и польских армий на противобольшевистском фронте...

Вспомнил? Или забыл? Не знаю: о прошлом мы не говорили. Но Карницкий в донесениях своему правительству употребил все усилия, чтобы представить в самом темном и ложном свете белые русские армии, нашу политику и наше отношение к возрождавшейся Польше. И тем внес свою лепту в предательство

* По закону вопрос о допустимости дуэли в крупных частях, где были суды чести, разрешался ими. В малых частях — командиром.

Вооруженных сил Юга России Пилсудским, заключившим тогда тайно от меня и союзных западных держав соглашение с большевиками *.

Невольно приходит в голову мысль: как сложились бы обстоятельства, если бы я тогда в Беле не старался реабилитировать честь корнета Карницкого?!

Киевское училище, выпуская нескольких своих воспитанников в артиллерию, не дало нам соответствующей подготовки. Нас, шесть юнкеров, посылали в соседнюю с училищным лагерем батарею для артиллерийского обучения ровным счетом 6 раз. Поэтому в первый год службы пришлось много работать, чтобы войти в курс дела. Положение облегчалось тем, что вначале мне поручили не артиллерийскую специальность, а батарейную школу. К началу первого лагерного сбора я имел уже достаточную подготовку, а потом был даже назначен учителем бригадной учебной команды (подготовка унтер-офицеров — «сержантов»).

При генерале Л. мне пришлось прослужить около года. Непосредственно столкновений с ним я не имел, да и разговаривать с ним почти не приходилось. Наша молодая компания в своем кругу бурно и резко осуждала эксцессы Л. и выражала свое отношение к нему единственно возможным способом: демонстративным отказом от его приглашений на пасхальные разговены или на какой-либо семейный праздник.

Так или иначе первые два года офицерской жизни прошли весело и беззаботно. На третий год я и три моих сверстника «отрешились от мира» и сели за науки — для подготовки к экзамену в Академию Генерального штаба. С тех пор для меня лично мир замкнулся в тесных рамках батареи и учебников. Надо было повторить весь курс военных наук военного училища и, кроме того, изучить по расширенной программе ряд общеобразовательных предметов: языки, математику, историю, географию...

Нигде больше не бывал. Избегал и пирушек у товарищей. Начиналось настоящее подвижничество, академическая страда в годы, когда жизнь только еще раскрывалась и манила своими соблазнами.

В Академии Генерального штаба

Мытарства поступающих в Академию Генерального штаба начинались с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими приблизительно цифрами: держало экзамен при округах 1 500 офицеров; на экзамен в Академию допускалось 400—500; поступало 140—150; на третий курс (последний) переходило 100; из них причислялось к Генеральному штабу 50. То есть после отсеивания оставалось всего 3,3%.

Выдержав благополучно конкурсный экзамен, осенью 1895 года я поступил в Академию.

Академическое обучение продолжалось три года. Первые два года — слушание лекций, третий год — самостоятельные работы в различных областях военного дела — защита трех диссертаций, доставшихся по жребию. Теоретический курс был очень велик и, кроме большого числа военных предметов, перегружен и общеобразовательными, один перечень которых производит внушительное впечатление: языки, история с основами международного права, славистика, государственное право, геология, высшая геодезия, астрономия и сферическая геометрия. Этот курс, по соображениям государственной экономии втиснутый в двухгодичный срок, был едва посилен для обыкновенных способностей человеческих.

Академия в мое время, то есть в конце девяностых годов, переживала кризис.

От 1889-го до 1899 года во главе Академии стоял генерал Леер, пользовавшийся заслуженной мировой известностью в области стратегии и философии войны. Его учение о вечных, неизменных основах военного искусства, одинаково присущих эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и современной, лежало в осно-

* Об этом — будет впереди.

ве всего академического образования и проводилось последовательно и педантично со всех военных кафедр. Но постепенно и незаметно неподвижность мудрых догм из области идей переходила в сферу практического их воплощения. Старился учитель — Лееру было тогда около 80 лет,— старились и приемы военного искусства, насаждаемые Академией, отставали от жизни...

Вооруженные народы сменили регулярные армии, и это обстоятельство предуказывало резкие перемены в будущей тактике масс. Бурно врывалась в старые схемы новая, не испытанная еще данная — скорострельная артиллерия. Давала трещины идея современного учения о крепостной обороне страны. Вне академических стен военная печать в горячих спорах искала истины... Но все это движение находило недостаточный отклик в Академии, застывшей в строгом и важном покое.

Мы изучали военную историю с древнейших времен, но не было у нас курса по последней русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Последнее обстоятельство интересно как показатель тогдашних нравов военных верхов. Как это ни странно, русская военная наука около 30 лет после окончания этой войны не имела документальной ее истории, хотя в недрах Главного штаба и существовала много лет соответственная историческая комиссия. Причины такой странной медлительности обнаружились наконец. В 1897 году по желанию государя поручено было лектору Академии подполковнику Мартынову по материалам комиссии прочесть стратегический очерк кампании в присутствии старейшего генералитета — с целью выяснения: «возможно ли появление в печати истории войны при жизни видных ее участников».

Слушателям Академии разрешено было присутствовать на этих сообщениях, состоявшихся в одной из наших аудиторий. На меня произвели они большое впечатление ярким изображением доблести войск, талантов некоторых полководцев и вместе с тем плохого общего ведения войны, хотя и победоносной. Должно быть, сильно задета была высокосановная часть аудитории (присутствовал и бывший главнокомандующий на Кавказском театре войны, вел. кн. Михаил Николаевич), так как перед одним из докладов Мартынов обратился к присутствовавшим с такими словами:

— Мне сообщили, что некоторые из участников минувшей кампании выражают крайнее неудовольствие по поводу моих сообщений. Я покорнейше прошу этих лиц высказаться. Каждое слово свое я готов подтвердить документами, зачастую собственноручными, тех лиц, которые выражали претензию.

Не отозвался никто. Но, видимо, вопрос, поставленный государем, разрешился отрицательно, так как выпуск истории был опять отложен. Издана она была только в 1905 году.

Говоря об отрицательных сторонах Академии, я должен, однако, сказать по совести, что вынес все же из стен ее чувство искренней признательности к нашей alma mater, невзирая на все ее недочеты, на все мои мытарства, о которых речь впереди. Загромождая нередко курсы несущественным и ненужным, отставая подчас от жизни в прикладном искусстве, она все же расширяла неизмеримо кругозор наш, давала метод, критерий к познанию военного дела, вооружала весьма серьезно тех, кто хотел продолжать работать и учиться в жизни. Ибо главный учитель все-таки ж и з н ь.

Трижды менялся взгляд на Академию — то как на специальную школу комплектования Генерального штаба, то одновременно как на в о е н н ы й у н и в е р с и т е т. Из Академии стали выпускать вдвое больше офицеров, чем требовалось для Генерального штаба, причем не причисленные к нему возвращались в свои части «для поднятия военного образования в армии».

Из «военного университета», однако, ничего не вышло. Для непривилегированного офицерства иначе, как через узкие ворота Генерального штаба, выйти на широкую дорогу военной карьеры в мирное время было почти невозможно. Достаточно сказать, что ко времени первой мировой войны высшие командные должности занимало подавляющее число лиц, вышедших из Генерального штаба: 25% полковых командиров, 68—77% начальников пехотных и кавалерийских дивизий, 62% корпусных командиров... А академисты второй категории, не попавшие в Генеральный штаб, быть может, благодаря только нехватке какой-нибудь маленькой дроби в выпускном балле, возвращались в строй с подавленной психикой, с печатью неудачника в глазах строевых офицеров и с совершенно туманными перспективами будущего.

Это обстоятельство, недостаточность содержания в петербургских условиях (81 рубль в месяц), наконец, конкурс, свирепствовавший в академической жизни, придавали ей характер подлинной борьбы за существование.

В академические годы мне пришлось впервые и потом неоднократно видеть императора Николая II и его семью — в различной обстановке.

Открытие офицерского Собрания гвардии, армии и флота, заложенного повелением императора Александра III... Громадный зал переполнен. Присутствует император Николай II, великие князья, высший генералитет и много рядового офицерства. На кафедре — наш профессор, полковник Золотарев, речь которого посвящена царствованию основателя Собрания. Пока Золотарев говорил о внутренней политике Александра III, как известно, весьма консервативной, зал слушал в напряженном молчании. Но вот лектор перешел к внешней политике. Очертив в резкой форме «унизительную для русского достоинства, крайне вредную и убыточную для интересов России пронемецкую политику предшественников Александра III», Золотарев поставил в большую заслугу последнему установление лозунга — «Россия для русских», отказ от всех обязательств в отношении Гогенцоллернов и возвращение себе свободы действий по отношению к другим западным державам...

И вот, п е р в ы е р я д ы зашевелились. Послышался глухой шепот неодобрения, задвигались демонстративно стулья, на лицах появились саркастические улыбки, и вообще высшие сановники всеми способами проявляли свое негодование по адресу докладчика.

Я был удивлен и таким ярким германофильством среди сановной знати, и тем, как она держала себя в присутствии государя.

Когда Золотарев кончил, государь подошел к нему и в теплых выражениях поблагодарил за «беспристрастную и правдивую характеристику» деятельности его отца...

В Зимнем дворце давались периодически балы в тесном кругу высшей родовой и служебной знати. Но первый бал — открытие сезона — был более доступен. На нем бывало тысячи полторы гостей. Гофмаршальская часть, между прочим, рассылала приглашения для офицеров петербургского гарнизона и в военные академии. Академия Генерального штаба получила 20 приглашений, одно из которых досталось на мою долю. Я и двое моих приятелей держались вместе. На нас — провинциалов — вся обстановка бала произвела впечатление невиданной феерии по грандиозности и импозантности зал, по блеску военных и гражданских форм и дамских костюмов, по всему своеобразию придворного ритуала. И вместе с тем в публике, не исключая нас, как-то не чувствовалось никакого стеснения ни от ритуала, ни от неравенства положений.

Придворные чины, быстро скользя по паркету, привычными жестами очистили в середине грандиозной залы обширный круг, раздвинулись портьеры, и из соседней гостиной под звуки полонеза вышли попарно государь, государыня и члены царской семьи, обходя живую стену круга и приветливо кивая гостям. Затем государь с государыней уселись в соседней открытой гостиной, наблюдая за танцами и беседуя с приглашенными в гостиную лицами. Танцы шли внутри круга, причем по придворному этикету все гости стояли, так как стульев в зале отсутствовали.

Нас не особенно интересовали танцы. Пододвинувшись к гостиной, мы с любопытством наблюдали, что там происходит. Интересен был не только придворный быт, но и подбор собеседников. Мы знали, что если, например, посол одной державы приглашен для беседы, а другой — нет или один приглашен раньше другого, то это знаменует нюансы внешней политики; что приглашение министра, о ненадежности положения которого ходили тогда упорные слухи, свидетельствует об его реабилитации, и т. д.

А в промежутках между своими наблюдениями мы отдавали посильную дань царскому шампанскому, переходя от одного «прохладительного буфета» к другому. В то время при дворе пили шампанское французских марок. Но вскоре по инициативе императора Николая пошло в ход отечественное «Абрау-Дюрсо» (виноградники возле Новороссийска), которое было ничуть не хуже французских. И мода эта пошла по всей России в большой ущерб французскому экспорту.

После танцев все приглашенные перешли в верхний этаж, где в ряде зал был сервирован ужин. За царским столом и в соседней зале рассаживались по особому списку, за всеми прочими — свободно, без чинов. Перед окончанием ужина, во время кофе, государь проходил по анфиладе зал, останавливаясь иногда перед столиками и беседуя с кем-либо из присутствовавших.

Меня удивила доступность Зимнего дворца. При нашем входе во дворец нас пропустила охрана, даже не прочитав нашего удостоверения, чего я несколько опасался. Ибо случился со мной такой казус: одеваясь дома, в последний момент я заметил, что мои эполеты недостаточно свежи, и у своего соседа-артиллериста занял новые его эполеты, второпях не обратив внимания, что номер на них другой (мой был — 2)... Еще более доступен бывал Зимний дворец ежегодно, 26 ноября, в день орденского праздника св. Георгия *, когда приглашались на молебен и к царскому завтраку все находившиеся в Петербурге кавалеры ордена. Во дворце состоялся «высочайший выход». Я бывал на этих «выходах». Среди шпалер массы офицерства из внутренних покоев в дворцовую церковь проходила процессия из ветеранов севастопольской кампании, турецкой войны, кавказских и туркестанских походов — история России в лицах, свидетели ее боевой славы... В конце процессии шел государь, в обе государыни **, проходя в трех-четырех шагах от наших шпалер.

На эти «высочайшие выходы» имели доступ все офицеры. Но никогда не бывало во время их какого-либо несчастного случая. Очевидно, к этим легким для покушения путям боевые революционные элементы не имели никакого доступа.

Действительно, после восстания декабристов (1825) был только один случай (в середине 80-х годов) более или менее значительного участия офицеров в заговоре против режима (дело Рыкачева); позднее прикосновенность офицерства к революционным течениям была единичной и несерьезной.

В мое время в Академии, как и в армии, не видно было интереса к активной политической работе. Мне никогда не приходилось слышать о существовании в Академии политических кружков или об участии слушателей ее в конспиративных организациях. Задолго до нашего выпуска, еще в дни дела Рыкачева, тогдашний начальник Академии, генерал Драгомиров, беседуя по этому поводу с академистами, сказал им:

— Я с вами говорю, как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические партии. Но прежде чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам.

Этой традиции, без сомнения, придерживались и позднейшие поколения академистов.

Некоторые академические курсы, серьезное чтение, общение с петербургской интеллигенцией разных толков значительно расширили мой кругозор. Познакомился я случайно и с подпольными изданиями, носившими почему-то условное название «литературы», главным образом пропагандными, на которых воспитывались широкие круги нашей университетской молодежи. Сколько искреннего чувства, подлинного горения влагала молодежь в ту свою работу!.. И сколько молодых жизней, многообещающих талантов исковеркало подполье!

Приходят однажды ко мне две знакомые курсистки и в большом волнении говорят:

* Высшее боевое отличие.
** Александра Федоровна и вдовствующая императрица.

— Ради Бога помогите! У нас ожидается обыск. Нельзя ли спрятать у вас на несколько дней «литературу»?..

— Извольте, но с условием, что я лично все пересмотрю.

— Пожалуйста!

В тот же вечер они притащили ко мне три объемистых чемодана. Я познакомился с этой нежизненной, начетнической «литературой», которая составляла во многих случаях духовную пищу передовой молодежи. Думаю, что теперь дожившим до наших дней составителям и распространителям ее было бы даже неловко перечитать ее. Лозунг — разрушение, ничего созидательного, и злоба, ненависть — без конца. Тогдашняя власть давала достаточно поводов для ее обличения и осуждения, но «литература» оперировала часто и заведомой неправдой. В рабочем и крестьянском вопросе — демагогия, игра на низменных страстях, без учета государственных интересов. В области военной — непонимание существа армии как государственно-охранительного начала, удивительное незнание ее быта и взаимоотношений. Да что говорить про анонимные воззвания, когда бывший офицер, автор «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира», яснополянский философ Лев Толстой сам писал брошюры *, призывавшие армию к бунту и поучавшие: «Офицеры — убийцы... Правительства со своими податями, с солдатами, острогами, виселицами и обманщиками-жрецами — суть величайшие враги христианства»...

Такое же отрицательное впечатление производило на меня позже чтение нелегальных журналов, издававшихся за границей и проникавших в Россию: «Освобождение» Струве — органа, который имел целью борьбу за конституцию, но участвовал в подготовке первой революции (1905 года); «Красного Знамени» Амфитеатрова, в особенности — за его грубейшую демагогию. В этом последнем журнале можно было прочесть такое откровение: «Первое, что должна будет сделать победоносная социалистическая революция, это, опираясь на крестьянскую и рабочую массу, объявить и сделать военное сословие упраздненным»...

Какую участь старалась подготовить России «революционная демократия» перед лицом надвигавшейся, вооруженной до зубов пангерманской и паназиатской (японской) экспансии? Что же касается «социалистической революции» и «военного сословия», то история уже показала нам, как это бывает...

В академические годы сложилось мое политическое мировоззрение. Я никогда не сочувствовал ни «народничеству» (преемники его социал-революционеры) с его террором и ставкой на крестьянский бунт, ни марксизму с его превалированием материалистических ценностей над духовными и уничтожением человеческой личности. Я принял российский либерализм в его идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В широком обобщении это приятие приводило меня к трем положениям: 1) Конституционная монархия, 2) Радикальные реформы и 3) Мирные пути обновления страны.

Это мировоззрение я донес нерушимо до революции 1917 года, не принимая активного участия в политике и отдавая все свои силы и труд армии.

Первый год академического учения окончился для меня печально. Экзамен по истории военного искусства сдал благополучно у профессора Гейсмана и перешел к Баскакову. Досталось Ваграмское сражение **. Прослушав некоторое время, Баскаков прервал меня:

— Начните с положения сторон ровно в 12 часов.

Мне казалось, что в этот час никакого перелома не было. Стал сбиваться. Как я ни подходил к событиям, момент не удовлетворял Баскакова, и он раздраженно повторял:

— Ровно в 12 часов.

Наконец, глядя, как всегда, бесстрастно-презрительно, как-то поверх собеседника, он сказал:

— Быть может, вам еще с час подумать нужно?

* «Письмо к фельдфебелю», «Солдатская памятка», «Не убий»...
** Произошло 6 июля 1809 г. в нижнеавстрийской деревне Ваграм. Войска Наполеона I в этом сражении одержали победу над австрийцами. (Прим. ред.).

— Совершенно излишне, господин полковник.

По окончании экзамена комиссия совещалась очень долго. Томление... Наконец, выходит Гейсман со списком, читает отметки и в заключение говорит:

— Кроме того, комиссия имела суждение относительно поручиков Иванова и Деникина и решила обоим прибавить по полбалла. Таким образом, поручику Иванову поставлено 7, а поручику Деникину 6½.

Оценка знания — дело профессорской совести, но такая «прибавка» была лишь злым издевательством: для перевода на второй курс требовалось не менее 7 баллов. Я покраснел и доложил:

— Покорнейше благодарю комиссию за щедрость.

Провал. На второй год в Академии не оставляли, и, следовательно, предстояло исключение.

Забегу вперед.

Через несколько лет я получил реванш. Война с Японией... 1905 год... Начало Мукденского сражения... Генерал Мищенко лечится от ран, а для временного командования его Конным отрядом прислан генерал Греков и при нем начальником штаба — профессор, полковник Баскаков... Я был в то время начальником штаба одной из мищенковских дивизий. Мы уже повоевали немножко и приобрели некоторый опыт. Баскаков — новичок в бою и, видимо, теряется. Приезжает на мой наблюдательный пункт и спрашивает:

— Как вы думаете, что означает это движение японцев?

— Ясно, что это начало общего наступления и охвата правого фланга наших армий.

— Я с вами вполне согласен.

Еще три-четыре раза приезжал Баскаков осведомиться, «как я думаю», пока не попал у нас под хороший пулеметный огонь, после чего визиты его прекратились.

Должен сознаться в человеческой слабости: мне доставили удовлетворение эти встречи, как отплата за «12-й час» Ваграма и за прибавку полбалла...

Итак, провал. Возвращаться в бригаду после такого афронта не хотелось. Отчаяние и поиски выхода: отставка, перевод в Заамурский округ пограничной стражи, инструктором в Персию?

В конце концов принял наиболее благоразумное решение — начать все с начала. Вернулся в бригаду и через три месяца держал экзамен вновь на первый курс; выдержал хорошо (14-м из 150-ти) * и окончил Академию... можно бы сказать, благополучно, если бы не эпизод, о котором идет речь в следующей главе.

Академический выпуск

Военный министр Куропаткин решил произвести перемены в Академии. Генерал Леер был уволен, а начальником Академии назначен бывший профессор и личный друг Куропаткина, генерал Сухотин. Назначение это оказалось весьма неудачным.

Я не буду углубляться в специальный круг научной академической жизни. Буду краток. По характеру своему человек властный и грубый, ген. Сухотин внес в жизнь Академии сумбурное начало. Понося гласно и резко и самого Леера, и его школу, и его выучеников, сам он не приблизил нисколько преподавание к жизни. Ломал, но не строил. Его краткое — около 3-х лет — управление Академией было наиболее сумеречным ее периодом.

Весною 1899 года последний наш «лееровский» выпуск заканчивал третий курс при Сухотине. На основании закона были составлены и опубликованы списки окончивших курс по старшинству баллов. Окончательным считался средний балл из двух: 1) среднего за теоретический двухлетний курс и 2) среднего за три диссертации. Около 50 офицеров, среди которых был я, тогда штабс-капитан артиллерии, причислялись к корпусу Генерального штаба; остальным, также около

* Много помогали мне для конкурса высокие баллы по двум предметам: по математике — 11½ и за русское сочинение — 12.

50-ти, предстояло вернуться в свои части. Нас, причисленных, пригласили в Академию, от имени Сухотина поздравили с причислением, после чего начались практические занятия по службе Генерального штаба, длившиеся две недели.

Мы ликвидировали свои дела, связанные с Петербургом, и готовились к отъезду в ближайшие дни.

Но вот однажды, придя в Академию, мы были поражены новостью. Список офицеров, предназначенных в Генеральный штаб, был снят, и на место его вывешен другой, на совершенно других началах, чем было установлено в законе. Подсчет окончательного балла был сделан как средний из ч е т ы р е х элементов: среднего за двухгодичный курс и каждого в отдельности за три диссертации. Благодаря этому в списке произошла полная перетасовка, а несколько офицеров попали за черту и были заменены другими.

Вся Академия волновалась. Я лично удержался в новом списке, но на душе было неспокойно.

Предчувствие оправдалось. Прошло еще несколько дней, и второй список был также отменен. При новом подсчете старшинства был введен отдельным пятым коэфициентом балл за «полевые поездки», уже раз входивший в подсчет баллов. Новый — т р е т и й список, новая перетасовка и новые жертвы — лишенные прав, попавшие за черту офицеры...

Новый коэффициент имел сомнительную ценность. Полевые поездки совершались в конце второго года обучения. В судьбе некоторых офицеров балл за поездки как последний являлся решающим. По традиции на прощальном обеде партия, если в рядах ее был офицер, которому не хватало «дробей» для обязательного переходного балла на третий курс (10), обращалась к руководителю с просьбой о повышении оценки этого офицера. Просьба почти всегда удовлетворялась, и офицер получал высший балл, носивший у нас название «благотворительного».

При просмотре т р е т ь е г о списка оказалось, что четыре офицера, получивших некогда такой «благотворительный» балл (12), попали в число избранных и столько же состоявших в законном списке было лишено прав *.

В числе последних был и я. Казалось, все кончено... Еще через несколько дней академическое начальство, сделав вновь изменения в подсчете баллов, объявило ч е т в е р т ы й список, который оказался окончательным. И в этот список не вошел я и еще три офицера, лишенные таким образом прав.

Кулуары и буфет Академии, где собирались выпускные, представляли в те дни зрелище необычайное. Истомленные работой, с издерганными нервами, неуверенные в завтрашнем дне, они взволнованно обсуждали стрясшуюся над нами беду. Злая воля играла нашей судьбой, смеясь и над законом и над человеческим достоинством.

Вскоре было установлено, что Сухотин, помимо конференции и без ведома Главного штаба, которому была подчинена тогда Академия, ездит запросто к военному министру с докладами об «академических реформах» и привозит их обратно с надписью «согласен».

Несколько раз сходились мы, четверо выброшенных за борт, чтобы обсудить свое положение. Обращение к академическому начальству ни к чему не привело. Один из нас попытался попасть на прием к военному министру, но его без разрешения академического начальства не пустили. Другой, будучи лично знаком с начальником канцелярии военного министерства, заслуженным профессором Академии, генералом Редигером, явился к нему. Редигер знал все, но помочь не мог.

— Ни я, ни начальник Главного штаба ничего сделать не можем. Это осиное гнездо опутало совсем военного министра. Я изнервничался, болен и уезжаю в отпуск.

На мой взгляд, оставалось только одно — прибегнуть к средству законному и предусмотренному Дисциплинарным Уставом: к жалобе. Так как нарушение наших прав произошло по резолюции военного министра, то жалобу надлежало по-

* У меня в нормальном порядке был балл — 11.

дать его прямому начальнику, т. е. государю. Предложил товарищам по несчастью, но они уклонились.

Я подал жалобу на Высочайшее имя.

В военном быту, проникнутом насквозь идеей подчинения, такое восхождение к самому верху иерархической лестницы являлось фактом небывалым. Признаюсь, не без волнения опускал я конверт с жалобой в ящик, подвешенный к внушительному зданию, где помещалась Канцелярия прошений, на Высочайшее имя подаваемых.

Итак, жребий брошен.

Эпизод этот произвел впечатление не в одной только Академии, но и в высших бюрократических кругах Петербурга. Главный штаб, канцелярия военного министерства и профессура посмотрели на него как на одно из средств борьбы с Сухотиным. Казалось, что такой скандал не мог для него пройти бесследно... Борьба шла наверху, а судьба маленького офицера вклинилась в нее невольно и случайно, подвергаясь тем большим ударам со стороны всесильной власти.

Начались мои мытарства.

Не проходило дня, чтобы не требовали меня в Академию на допрос, чинимый в пристрастной и резкой форме. Казалось, что вызывали меня нарочно на какое-нибудь неосторожное слово или действие, чтобы отчислить от Академии и тем покончить со всей неприятной историей. Меня обвиняли и грозили судом за совершенно нелепое и нигде законом не предусмотренное «преступление»: за подачу жалобы без разрешения того лица, на которое жалуешься...

Военный министр, узнав о принесенной жалобе, приказал собрать академическую конференцию для обсуждения этого дела. Конференция вынесла решение, что «оценка знаний выпускных, введенная начальником Академии, в отношении уже окончивших курс незаконна и несправедлива, в отношении же будущих выпусков нежелательна».

В ближайший день получаю снова записку — прибыть в Академию. Приглашены были и три моих товарища по несчастью. Встретил нас заведующий нашим курсом полковник Мошнин и заявил:

— Ну, господа, поздравляю вас: военный министр согласен дать вам вакансии в Генеральный штаб. Только вы, штабс-капитан, возьмете обратно свою жалобу и все вы, господа, подадите ходатайство этак, знаете, пожалостливее. В таком роде: п р а в, м о л, м ы н е и м е е м н и к а к и х, но, принимая во внимание потраченные годы и понесенные труды, просим начальнической милости...

Теперь я думаю, что Мошнин добивался собственноручного нашего заявления, устанавливающего «ложность жалобы». Но тогда я не разбирался в его мотивах. Кровь бросилась в голову.

— Я милости не прошу. Добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву.

— В таком случае нам с вами разговаривать не о чем. Предупреждаю вас, что вы окончите плохо. Пойдемте, господа.

Широко расставив руки и придерживая за талью трех моих товарищей, повел их наверх в пустую аудиторию; дал бумагу и усадил за стол. Написали.

После разговора с Мошниным стало еще тяжелее на душе и еще более усилились притеснения начальства. Мошнин прямо заявил слушателям Академии:

— Дело Деникина предрешено: он будет исключен со службы.

Чтобы умерить усердие академического начальства, я решил пойти на прием к директору Канцелярии прошений — попросить об ускорении запроса военному министру. Я рассчитывал, что после этого дело перейдет в другую инстанцию и меня перестанут терзать.

В приемной было много народа, преимущественно вдов и отставных служилых людей — с печатью горя и нужды; людей, прибегающих в это последнее убежище в поисках правды моральной, заглушенной правдой и кривдой официальной... Среди них был какой-то артиллерийский капитан. Он нервно беседовал о чем-то с дежурным чиновником, повергнув того в смущение; потом подсел ко мне.

Его блуждающие глаза и бессвязная речь обличали ясно душевнобольного. Близко нагнувшись, он взволнованным шепотом рассказывал о том, что является обладателем важной государственной тайны: высокопоставленные лица — он называл имена — знают это и всячески стараются выпытать ее; преследуют, мучают его. Но теперь он все доведет до царя... Я с облегчением простился со своим собеседником, когда подошла моя очередь.

Меня удивила обстановка приема: директор стоял сбоку, у одного конца длинного письменного стола, мне указал на противоположный; в полуотворенной двери виднелась фигура курьера, подозрительно следившего за моими движениями. Директор стал задавать мне какие-то странные вопросы... Одно из двух: или меня приняли за того странного капитана, или вообще на офицера, дерзнувшего принести жалобу на военного министра, смотрят как на сумасшедшего. Я решил объясниться:

— Простите, ваше превосходительство, но мне кажется, что здесь происходит недоразумение. На приеме у вас сегодня два артиллериста. Один, по-видимому, ненормальный, а перед вами — нормальный.

Директор засмеялся, сел в свое кресло, усадил меня; дверь закрылась, и курьер исчез.

Выслушав внимательно мой рассказ, директор высказал предположение, что закон нарушен, чтобы «протащить в Генеральный штаб каких-либо маменькиных сынков». Я отрицал: четыре офицера, неожиданно попавшие в список, сами чувствовали смущение немалое. Впрочем, может быть, он был и прав — ходили и такие слухи в Академии...

— Чем же я могу помочь вам?

— Я прошу только об одном: сделайте как можно скорее запрос военному министру.

— Обычно у нас это довольно длительная процедура, но я обещаю вам в течение двух-трех дней исполнить вашу просьбу.

Так как Мошнин грозил увольнением меня от службы, я обратился в Главное артиллерийское управление, к генералу Альтфатеру, который заверил меня, что в рядах артиллерии я останусь во всяком случае. Обещал доложить обо всем главе артиллерии, великому князю Михаилу Николаевичу.

Запрос Канцелярии прошений военному министру возымел действие. Академия оставила меня в покое, и дело перешло в Главный штаб. Для производства следствия над моим «преступлением» назначен был пользовавшийся в Генеральном штабе большим уважением генерал Мальцев. Вообще в Главном штабе я встретил весьма внимательное отношение и поэтому был хорошо осведомлен о закулисных перипетиях моего дела. Я узнал, что генерал Мальцев в докладе своем стал на ту точку зрения, что выпуск из Академии произведен незаконно и что в действиях моих нет состава преступления. Что к составлению ответа Канцелярии прошений привлечены юрисконсульты Главного штаба и Военного министерства, но работы их не удовлетворяют Куропаткина, который порвал уже два проекта ответа, сказав раздражительно:

— И в этой редакции сквозит между строк, будто я не прав.

Так шли неделя за неделей... Давно уже прошел обычный срок для выпуска из военных академий; исчерпаны были кредиты и прекращена выдача академистам добавочного жалованья и квартирных денег по Петербургу. Многие офицеры бедствовали, в особенности семейные. Начальники других академий настойчиво добивались у Сухотина, когда же наконец разрешится инцидент, задерживающий представление выпускных офицеров четырех академий * государю императору...

Наконец, ответ военного министра в Канцелярию прошений был составлен и послан; испрошен был день Высочайшего приема; состоялся Высочайший приказ о производстве выпускных офицеров в следующие чины «за отличные успехи

* Генерального штаба, Артиллерийская, Инженерная и Юридическая.

в науках». К большому своему удивлению, я прочел в нем и о своем производстве в капитаны.

По установившемуся обычаю, за день до представления государю в одной из академических зал выпускные офицеры представлялись военному министру. Генерал Куропаткин обходил нас, здороваясь, и с каждым имел краткий разговор. Подойдя ко мне, он вздохнул глубоко и прерывающимся голосом сказал:

— А с вами, капитан, мне говорить трудно. Скажу только одно: вы сделали такой шаг, который не одобряют все ваши товарищи.

Я не ответил ничего.

Военный министр был плохо осведомлен. Он не знал, с каким трогательным вниманием и сочувствием отнеслись офицеры к опальному капитану. Не знал, что в том году впервые за существование Академии состоялся общий обед выпускных, на котором в резких и бурных формах вылился протест против академического режима и нового начальства.

Я молчал и ждал.

Особый поезд был подан для выпускных офицеров четырех академий и начальствующих лиц. Еще на вокзале я несколько раз ловил на себе испытующие и враждебные взгляды академического начальства. Со мной они не заговаривали, но на лицах их видно было явное беспокойство: не вышло бы какого-нибудь «скандала» на торжественном приеме...

Во дворце нас построили в одну линию вдоль анфилады зал — в порядке последнего незаконного списка старшинства. По прибытии Куропаткина и после разговора его с Сухотиным полковник Мошнин подошел к нам, извлек из рядов ниже меня стоявших трех товарищей по несчастью и переставил их выше — в число назначенных в Генеральный штаб. Отделил нас интервалом в два шага... Я оказался на правом фланге офицеров, не удостоенных причисления.

Все ясно.

Генерал Альтфатер, как оказалось, исполнил свое обещание. Присутствовавший на приеме великий князь Михаил Николаевич подошел ко мне перед приемом и, выразив сочувствие, сказал, что он доложил государю во всех подробностях мое дело.

Ждали долго. Наконец по рядам раздалась тихая команда:

— Господа офицеры!

Вытянулся и замер дворцовый арап, стоявший у двери, откуда ожидалось появление императора. Генерал Куропаткин, стоявший против нее, низко склонил голову...

Вошел государь. По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема — нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантом.

Подошел, наконец, ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры... Скользнул взглядом: Куропаткин, Сухотин, Мошнин — все смотрели на меня сумрачно и тревожно.

Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя:

— Ну, а вы как думаете устроиться?

— Не знаю. Жду решения Вашего Императорского Величества.

Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:

— Этот офицер, Ваше Величество, не причислен к Генеральному штабу за характер.

Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбант и задал еще два незначительных вопроса: долго ли я на службе и где расположена моя бригада? Приветливо кивнул и пошел дальше.

Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых близ стоявших чинов свиты. У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остался тяжелый осадок на душе и разочарование... в «правде воли монаршей»...

Мне предстояло отбыть лагерный сбор в одном из штабов Варшавского военного округа и затем вернуться в свою 2-ю артиллерийскую бригаду. Но варшавский штаб, возглавлявшийся тогда генералом Пузыревским, проявил к моей судьбе большое участие. Генерал Пузыревский оставил меня на вакантной должности Генерального штаба и, послав в Петербург лестные аттестации, трижды возбуждал ходатайство о моем переводе в Генеральный штаб. На два ходатайства ответа вовсе не было получено, на третье пришел ответ: «Военный министр воспретил возбуждать какое бы то ни было ходатайство о капитане Деникине».

Через некоторое время пришел ответ и от Канцелярии прошений: «По докладу такого-то числа военным министром вашей жалобы, Его Императорское Величество повелеть соизволил — оставить ее без последствий».

Тем не менее на судьбу обойденных офицеров обращено было внимание: вскоре всем офицерам, когда-либо успешно кончившим 3-й курс Академии, независимо от балла предоставлено было перейти в Генеральный штаб. Всем, кроме меня.

Больше ждать было нечего и неоткуда. Начальство Варшавского округа уговаривало меня оставаться в прикомандировании. Но меня тяготило мое неопределенное положение, не хотелось больше жить иллюзиями и плавать между двумя берегами, не пристав к Генеральному штабу и отставая от строя.

Весною 1900 года я вернулся в свою бригаду.

Публикация В. КОЗАЧЕНКО

(Продолжение следует.)

Лариса ПИЯШЕВА

Реформа

Парадоксы планово-рыночной экономики

Когда в рыночной экономике начинается экономический кризис, все газеты пестрят сообщениями: темпы роста сократились на столько-то процентов, прибыли упали на ..., размер инвестиций сократился на ..., безработица выросла на ..., число банкротств составило ..., в том числе такие-то фирмы потерпели крах, такие-то банки обанкротились. Правительство приняло такие-то шаги по оживлению конъюнктуры, в том числе: на помощь безработным столько-то, для поддержания спроса столько-то, для оживления инвестиционной активности столько-то. Это классическая схема описания любого кризиса, в котором отражено движение главных показателей. Точно так же, как врач, прежде чем поставить диагноз, измеряет пульс, температуру, давление, экономист по состоянию рынка труда, числу банкротств, движению цен определяет характер и глубину кризиса.

Наш кризис — особый. Нет среди показателей ни числа банкротств, ни размеров безработицы, ни способов ее сокращения. Констатируя наличие кризиса, правительство одновременно констатирует недостаточное сокращение инвестиций. Под заявлением «не происходит оздоровления в инвестиционной сфере» имеется в виду тот факт, что сокращение капитальных вложений и незавершенного строительства недостаточно для того, чтобы началось высвобождение труда и капитала, свидетельствующее о начале экономического выздоровления. Втайне помышляя о классическом кризисе, с высвобождением «излишков» и очищением от убыточности, наяву правительство поддерживает монопольные ведомства, которые и не думают сокращать инвестиции и выполнять спущенное им сверху распоряжение — «снизить размер незавершенного производства».

В этом и заключен первый парадокс планово-рыночной системы: необходимость директивно-административно толкать кризис вниз. До классического конъюнктурного кризиса мы еще не доросли. В отличие от «стихийного» кризиса перепроизводства, когда насытившая потребительский спрос и морально устаревшая продукция уходит с рынка, мы имеем специфический социалистический кризис недопроизводства — вынужденное сокращение и без того дефицитных товаров и услуг. Если в рыночной экономике черно-белые телевизоры вообще ушли бы с рынка, а заводы перестроились бы на выпуск какой-нибудь новой электроники, в нашей «смешанной» они стали предметом острого дефицита.

Другой парадокс — в заинтересованности производителей самочинно занижать свои производственные программы и все шире пользоваться услугами «черного рынка». Все уже привыкли к словосочетанию «госзаказ», символизирующему разворот в сторону рыночного начала. В период директивного планирования был «план-закон», под который спускались лимиты на сырье, теперь «план-заказ», также обязательный к выполнению, но с сокращенными по сравнению с прежним планом лимитами. Под «индикативную», подвижную, часть в новых, «околорыночных» условиях надо добывать себе сырье самостоятельно, по законам «черного рынка» и теневой экономики, ибо открытого свободного рынка оптовой торговли как не было, так и нет.

Поскольку спускающее свой госзаказ государство готово предоставлять предприятиям льготы для сверхприбыли, полученной от сверхпланового выпуска продукции, идет постоянная «торговля» за размер госзаказа. С одной стороны, под него выдают вечно дефицитные лимиты на сырье и материалы, топливо и запчасти, что стимулирует доведение его до всех 100% мощностей (и некоторые предприятия этого добиваются), но с другой стороны — манящая возможность самостоятельно использовать сверхприбыли побуждает занижать свои производственные программы, открещиваться от госзаказа, рвать прежние связи и обязательства и напрямую выходить на рынок.

Так, на 1990 год было предусмотрено «право предприятий оставлять в своем распоряжении до 70 процентов прибыли, полученной *сверх* (разрядка моя — Л. П.) расчетов пятилетки, и льготы за *выполнение* госзаказа». Не 70 процентов от прибыли, а 70 процентов от *сверх*прибыли, полученной *сверх* гениальных, научно обоснованных, потолочно рассчитанных, государственно узаконенных планов нашего доблестного Госплана. Стимулировать не нормальную хозяйственную деятельность и получать свое в виде банального налога, а выполнять священный госзаказ! Порочная логика. Порочные стимулы. Порочные результаты.

Учитывая разрастающиеся на глазах масштабы чернорыночной торговли, где не только дефицитные сырье да детали, но и пушку можно прикупить, наша «планово-рыночная» экономика медленно, но верно перемещается в сферу мафиозно-подвального бытия.

И все это потому, что на «капиталистическом» рынке действуют частные производители, а на «социалистическом», по выражению А. Аганбегяна,— «как бы частные». Там — частные кооперативы. Здесь — либо государственные («Государственными кооперативами в настоящее время являются колхозы... и потребительская кооперация в торговле и общественном питании». А. Аганбегян), либо «частно-государственные» (те же колхозы, но уже немножко разгосударствленные), либо «частные социалистические», сидящие на тонком поводке у министерств и уголовной мафии.

На «капиталистическом» рынке все продается и все покупается. На «социалистическом» открытом не продается и не покупается ни сырье, ни жилье, ни средства производства, ни земля, ни стройматериалы, ни грузовики, а теперь пропали и одежда с продовольствием. Практически все — от легковых автомобилей до сигарет — «по лимитам», карточкам, талонам и «спискам». Нет рынка труда и капитала, рынка ценных бумаг и оборудования. Нет бирж, акций и векселей, не колеблется банковский процент, не выдается коммерческий кредит. Зато есть много того, что начинается со слова «Гос»: Госплан, который устанавливает пропорции, Госснаб, который распоряжается ресурсами, Госкомцен, который «научно» устанавливает цены, Госкомтруд, который распределяет нас по областям да регионам. А также широчайший ассортимент всего, что можно приобрести на теневом — мафиозно приблатненном, «закрытом» рынке. Там и земля, и грузовики находятся в обороте — и продаются, и покупаются, и меняются, и наследуются. Но только не за рубли и не по государственным или рыночным ценам. Дают и берут «натурой».

На протяжении последних «перестроечных» лет любимой темой наших ученых остается идея «планомерного регулирования рынка» или — еще лучше — «планирования свободных цен». А самым любимым детищем — образование рыночного сектора с коммерческими ценами для сверхплановой продукции.

Создатели этой идеи считают, что в государственном планируемом секторе цены должны оставаться твердыми, стабильными и узаконенными, а в свободных уголках рыночного сектора — в коммерческих магазинах, на «черном рынке» — вольными и свободными.

В программе Абалкина — Рыжкова эта мысль звучала так:

«В кратчайшие сроки необходимо перейти к реализации по свободным ценам части (не менее 5—10 процентов) всех видов продукции производственно-технического назначения, производимой сверх государственного заказа. Предприятия получили бы возможность использовать часть накопленных ими средств, начать процесс приспособления к рыночной конъюнктуре. В дальнейшем объем реализуемой таким образом продукции должен быстро расти (до 80—90 процентов к 1995 году) по мере финансового оздоровления экономики и стабилизации рубля». Говоря нашим привычным языком, расплатившиеся с госзаказчиком предприятия в качестве поощрения получали право «спекуляции» сверхплановой продукцией. Иначе это не назвать. Те, кто распоряжается лимитами, должны были остаться монопольными владельцами «заказанной» ими части продукции, получая ее по льготным, низким, так называемым социальным ценам, с тем чтобы можно было потом всем этим приторговывать, а остальные потребители — драться между собой на аукционах и приобретать необходимое по монопольно-высоким «коммерческим» ценам черно-белого рынка, на который поступала бы значительная часть «госзаказной» дешевой продукции. Почему по монопольно-высоким?

Да потому, что в условиях монополии министерств и ведомств (а ведь упразднять их никто не намеревается!) взяться альтернативной продукции — конкуренту, могущему сбивать цены,— было просто неоткуда. И не надо кончать экономический факультет МГУ, чтобы наверняка знать, что подобная «планомерность» перехода к рынку ничего, кроме резкого скачка цен, дальнейшего оживления бартерной торговли («ты — мне, я — тебе»), роста дефицита, хаоса, спекуляции и нового произвола распределителей госзаказов и лимитов, нам не несет.

Кому и зачем потребовалась эта нелепая модель? Кто сотворил этакое «экономическое чудо», обязывающее предприятия 80 процентов своей продукции сдавать по «дешевым государственным» ценам и разрешающее 20 процентов той же продукции, того же качества продавать по свободно-договорным ценам «открытого» в закоулках остродефицитного рынка? Разве уже произошедшего к тому времени вымывания дешевых товаров с рынка и учиненной руками реформаторов свистопляски с кооперативными ценами было недостаточно для того, чтобы

остановиться и не настаивать на нелепой логике двойных цен? Если бы кооператорам изначально позволили покупать все необходимое для их жизни по государственным ценам, с них можно было бы требовать соответствующих цен на их продукцию. Если бы открыли рынок оптовой торговли и пустили туда кооператоров наряду со всеми другими товаропроизводителями, мы и тогда не получили бы эффекта «кооперативного сервелата», когда государственная колбаска для всех тех, кто не имел доступа к партраспределителям, пошла в продажу по монопольно-высоким кооперативным ценам. Излюбленная стратегия «двойных цен» — и наше самое социальное и справедливое в мире правительство воспользовалось именно этой стратегией. Результат? Колбаса в распределителях осталась по низким госценам, а государственная, переименованная в кооперативную, пришла к нам втридорога, озлобив и ожесточив покупателей против кооперации, а также против тех, кто так страстно призывал правительство перейти к рынку.

Сегодня правительство начало «второй тур» перехода к рынку. В первом, пообещав экономическую свободу и самостоятельность, оно обещало также и реформу ценообразования с рынком оптовой торговли. Но как только вопрос действительно встал ребром — либо Госснаб с конкурсом министров на дефицитное сырье, либо рынок с ценовой конкуренцией,— вопрос о реформе ценообразования ненавязчиво перевели во «всенародную дискуссию» на тему — поднимать цены на мясо или не поднимать, а если поднимать, то платить «мясные надбавки» или не платить. Народ сказал — не поднимать, и облегченно вздохнувшее правительство перенесло дискуссию о свободном ценообразовании на начало следующего столетия. К тому моменту, когда у нас уже «сбалансируются рынки» и «нормализуются» цены. Закрыв тему свободного ценообразования, закрыли и возможность начать реформу.

Сегодня страна вновь встревожена правительственной стратегией перехода к рынку: опять объявлено о готовящемся повышении цен. И опять народ пишет свои петиции «против рынка», а академики на полном серьезе обсуждают тему «хлебных» надбавок. Давать или не давать? А если давать, то кому, по сколько и как?

Когда через несколько месяцев все цены на все товары будут подняты, мы услышим в утешение: «Хотели рынка? Нате!» И какое бы звено «смешанной» экономики со «смешанной» концепцией перехода ни возьми, результат везде один: уголовщина, сочетающаяся с бесцеремонным наступлением на наши права и желудки. Этакая «разрешительно-запретительная» благотворительность со стороны власть имущих, заманивающих идеями свободного рынка в жесткие клещи мафиозных структур, заставляющих каждого новоиспеченного коммерсанта-кооператора или индивидуала-арендатора пройти через унизительную процедуру посвящения в «мафию». Ибо, дав взятки коммунисту из местных Советов, откупившись от рэкетиров, сговорившись с директором овощной базы и мясокомбината о поставках телятины, говядины по «рыночно-государственным», «договорным» ценам, практически любой новоиспеченный кооператор в случае малейшего неповиновения «готов» для кутузки.

Но не только с разобщенными кооператорами и индивидуалами, но и с новообразованными структурами в условиях «планово-рыночной» экономики расправляться легче легкого.

Взять, к примеру, нарождающуюся банковскую структуру. Наверху — Совмин, Минфин и Госбанк, имеющие неограниченные права и возможности открытого официально объявленного рэкета. Под ними — подчиненные и ничем не защищенные коммерческие и кооперативные банки. Захотели Совмин и Минфин — написали постановление № 971 (от 14 ноября 1989 года), по которому коммерческие банки должны 60 процентов от фактической балансовой прибыли ежеквартально в бюджет отстегивать. Но и этого им показалось мало. Взяли да инструкцию написали, а в инструкции той размер налогов уже в 80 процентов определили.

Разве это сравнить с банальным уголовным рэкетом? Там единовременно и «по доходам», правда, под ночным покровом, с физическим насилием и угрозами. А здесь легально да поквартально, у всех на виду, среди бела дня.

Да какой же он «коммерческий», банк-то, если ему 80 процентов дохода в бюджет приписали сдавать? Честный разорится, а «уголовный» — откупится. Так вот и плодят наши «смешанники» уголовников. Плодят да приговаривают: от наших завоеваний мы не откажемся. А право конфисковывать — это и есть самое главное их завоевание.

Постановление о хозяйственной самостоятельности и самофинансировании предполагало право самим предприятиям осуществлять рационализацию, модернизацию, проводить свою инвестиционную политику и пользоваться всеми предоставленными экономическими свободами. Предполагать-то оно предполагало... А на практике у прибыльных предприятий размер отчислений в бюджет даже возрос по сравнению с доперестроечным периодом. Для них хозяйственная свобода и самостоятельность вылились в свободу вышестоящих органов изымать «излишние» доходы в повышенных размерах.

Не получив никаких реальных прав распоряжаться заработанной прибылью — ни права откладывать на «черный день», ни права на собственную инвестиционную политику, предприятия начали «играть на ценах» (ибо это им как раз и разрешили) и делить оставленное после всех вычетов и изъятий. Не было ни малейшего шанса на то, что, не став собственниками и не обретя подлинной хозяйственной самостоятельности, они поведут себя как настоящие хозяева, заботящиеся о завтрашнем дне, и начнут накапливать капитал, вместо того чтобы прогуливать его «на яхтах с шампанским».

Для «всенародной поддержки» нового правительства гражданам пообещали платить «по труду». Заработал 600 рублей — и получай свои заработанные сполна — так объяснили ученые замысел реформаторов. Но стоило доходам действительно поползти вверх, как академики сразу же обнаружили в этом новый фактор дестабилизации и правительство объявило, что основной причиной нашего кризиса является несбалансированность рынка, а причина несбалансированности — «опережающий спрос, который не удается погасить уже длительное время». Идеология для новой погони за ведьмами ждать себя не заставила.

Консерваторы бросают вызов

Л. АБАЛКИН: «Я не хочу на эту тему даже рассуждать. Возврат означал бы катастрофу».

Для того чтобы прописать рецепты по оздоровлению экономики и определить направленность социально-этической терапии, необходимо правильно поставить диагноз: назвать болезнь, определить ее стадию и выявить породившие ее причины.

Диагноз Госплана был: «усиление несбалансированности», возникшее в результате «массированного воздействия на экономику целого комплекса уже новых *негативных* явлений и тенденций, особенно сильно проявившихся за последние два года».

Всего «новых негативных явлений и тенденций» Л. А. Воронин назвал восемь, четыре из которых составляли «экономическую сторону», а еще четыре объявлялись следствием общей дестабилизации обстановки в обществе.

Перечислим их в предоставленном самим Госпланом порядке.

Повышение политической активности масс. «Повышение политической активности масс, к сожалению, сопровождается такими тенденциями, как падение трудовой и исполнительской дисциплины. Это находит свое выражение и в снижении ответственности к договорным и плановым обязательствам».

Самым главным и самым бессмысленным лозунгом всех наших прежних экономических реформ был призыв к росту трудовой и исполнительской дисциплины. Главным потому, что все спускаемые предприятиям плановые нормативы всегда рассчитывались на максимум трудовой исполнительности. Бессмысленным же потому, что всякая реформа (и хрущевская, и косыгинская, и горбачевская) обещала расширение хозяйственной самостоятельности, предполагающей высвобождение предпринимательской инициативы, в результате чего как раз должна была возникнуть ответственность по отношению к новым начинаниям, новым договорам и новым обязательствам и ослабеть к прежним, административно-командным, договорным и плановым. Понятно, что повышение предпринимательской инициативы неизбежно должно было сопровождаться падением исполнительской, а предоставление предприятиям хозяйственных свобод — привести к замене директивно навязанных плановых обязательств добровольными — экономическими. Представители Госплана совершенно справедливо усмотрели в повышении политической активности масс угрозу собственному существованию. Ибо демократизация экономической жизни в первую очередь означала ликвидацию экономически неэффективных, навязанных сверху связей и обязательств. Предприниматель, заботящийся о собственной прибыли и процветании своего бизнеса, сразу же перестал бы гонять вагоны по необъятной нашей Родине порожняком, так же как не стал бы заказывать сырье, одна доставка которого превышает цену его продукции.

Идея перехода к рынку в том и заключалась, чтобы разорвать навязанные порочные связи и найти новые, выгодные, эффективные.

Второй «негативный» фактор — **демократизации управления экономикой.** «Демократизация управления экономикой, вывод из сферы централизованного планирования и распределения большой массы продукции в условиях диктата производителя, неразвитости рынка, неупорядоченности и неприспособленности нашего ценообразования к рыночным отношениям привели к нарушению, казалось бы, прочно установившихся за долгие годы прямых кооперационных связей».

Суть административно-командной системы управления заключается в том, что Центр строго предписывает предприятиям их «кооперационные связи», четко распределяя, у кого брать, что и сколько производить и кому продавать. Под это даются лимиты, по выполнению этого судится о результатах, за нарушение этого отдают под суд. Демократизация управления, даже на самом зачаточном уровне, сразу же повела к разрыву некоторых явно невыгодных

и неудобных связей, к поиску удобных и выгодных, за что и попала в разряд «новых негативных явлений и тенденций».

Третьим фактором была названа **достигнутая сегодня экономическая самостоятельность**. «Достигнутая сегодня экономическая самостоятельность предприятий при отсутствии еще отлаженных глобальных экономических рычагов, таких, как конъюнктура рынка, конкуренция, система союзных и региональных налогов и т. д., и при снятии всеохватывающих директивных плановых заданий вызвала мощный взрыв **группового эгоизма**, выразившийся в создании условий для ценового нагнетания прибыли, а отсюда доходов и оплаты труда, неадекватных реальному продукту, вымыванию дешевого ассортимента, к переключению интересов трудовых коллективов от выполнения договорных поставок и государственных заказов к использованию любой своей продукции как средству прямого обмена».

Бесправие предприятий в условиях полного отсутствия у них экономической самостоятельности заключается в том, что они вынуждены идти на выпуск невыгодного «дешевого» ассортимента, тупо и безукоснительно выполнять государственные заказы (приказы, оформленные законодательно) и так называемые «договорные» обязательства. Представленная новым законом экономическая самостоятельность сразу же стала ломать эту командную благодать. Получив возможность выбора ассортимента (в пределах отпущенных лимитов на сырье и материалы), «выбора» цен (в заданном сверху диапазоне в соответствии с новой иерархической классификацией товаров по группам) и хотя бы самого малого приближения уровня заработной платы к цене труда, предприятия начали переходить на экономически выгодный для них режим работы. Понятно, что сразу обнажились все дыры, которые тщательно замазывал Госплан, все ценовые диспропорции, в том числе заниженные цены на сырье, на так называемые «социальные товары» и, что еще важнее, на труд, все структурные неувязки, связанные с «договорными» поставками и государственными заданиями. Тайное стало явным. А явное — нелицеприятным. В результате чего «экономическая самостоятельность» сразу же оказалась в числе негативных явлений.

Следующей по счету негативной тенденцией было названо **кооперативное движение**. «Кооперативное движение, которое должно было стать источником насыщения потребительского рынка товарами и услугами, пока, как известно, в основном перебатывает, а то и просто перепродает по крайне высоким ценам государственное сырье, становясь все больше и больше дополнительным фактором социальной напряженности. Есть все основания считать, что в ряде случаев через кооперативы легализовалась теневая экономика, которая также выплеснула в обращение лежащие ранее под спудом деньги».

Похоже на то, что Госплан мечтал: без принятия закона о частной собственности на средства производства, закона об акционерной собственности, закона о частном землевладении, закона об аренде, без проведения реформы ценообразования (перехода к системе свободных рыночных цен), без рынка оптовой торговли сырьем и материалами, без гарантированного кооператорам умеренного и стабильного, не сдерживающего, а стимулирующего предпринимательскую активность налогового законодательства, кто-то, презрев наш семидесятилетний опыт борьбы с бизнесом, развернет долгосрочные инвестиционные проекты, по мановению волшебной палочки сформирует новую производственную инфраструктуру и начнет «конкурировать» с государственными министерствами.

Госплан надеялся, что осевшие в теневой экономике уворованные высокими государственными чинами (номенклатурой) средства (а кто еще у нас имел доступ к сырью, материалам, золоту, валюте?) безвозвратно сгинут в дачных подвалах или замуруются в личных сейфах. Теневая экономика рождается и процветает там, где душат легальное предпринимательство. Наша теневая экономика — незаконнорожденное детище Госплана. И морально то или аморально, но детище есть детище, с этим приходится мириться. Деньги же, чья избыточность была порождена инфляционной политикой Минфина, печатавшего банкноты без оглядки на то, как и где они оседают, так или иначе должны быть выплеснуты. Ибо лежащие под спудом деньги — это куча мусора, а вложенные в кооперативы — это инвестиционные средства, источник будущего насыщения потребительского рынка товарами и услугами.

Так что в случае, если бы теневая экономика действительно легализовалась в кооперативы, открыв кафе и рестораны, ателье и модные салоны, можно было бы считать, что одно очко у реформаторов в кармане. Но в том-то и беда, что, поставив кооперативы в криминальные условия и объявив им с первых же робких шагов смертный бой, Госплан со своими друзьями — «Госами», чье существование ставилось под угрозу, загнал «теневые» капиталы еще глубже в тень, еще больше преград поставил на пути свободного капиталовложения, необходимого для становления нового сектора.

Всплеск межнациональных и забастовочных конфликтов также был отнесен в разряд негативных явлений. «Всплеск межнациональных и забастовочных конфликтов буквально разрегулировал многие народнохозяйственные связи, вызвал дополнительный, неотоваренный выброс денег в обращение».

По поводу «неотоваренного выброса денег в обращение» можно только сказать, что нет более глупого решения, чем лечить материальные и социальные раны с помощью денежной эмиссии. Ибо бумажками ни сыт, ни согрет не будешь, а ущерб экономике, который нанес ей Минфин своей денежной политикой, придется восполнять общим недоеданием и недосыпанием.

Забастовочный всплеск продемонстрировал нам три вещи: во-первых, то, что народ доведен, что называется, до ручки; во-вторых, то, что громадные, сытые, раскормленные и говорливые бюрократические профсоюзы, на протяжении долгих десятилетий собиравшие с нас взносы, при первом же серьезном прецеденте оказались в кустах, сбоку, и не только не поддержали забастовщиков, не оплатили «забастовочные издержки», а переложили все на плечи общества. Было официально объявлено, что каждый из нас, включая пенсионеров и детей, будет платить по десятке в месяц за «забастовочную блажь» шахтеров.

Однако главный урок забастовочного лета 1989 года состоял в демонстрации того, что наша планируемая экономика является сооружением, построенным на песке, которое при первом же маленьком сбое (а что такое двухнедельная забастовка по сравнению, скажем, с годовой забастовкой английских горняков, которая чуть поколебала, но никак не повлияла на общий ход конъюнктуры) вывело из равновесия полстраны.

Шестым по счету фактором была названа **«дестабилизация всего материального производства, выражающаяся прежде всего в абсолютном уменьшении выпуска нужной народному хозяйству и населению страны продукции»**, а седьмым и восьмым — **«ослабление дисциплины цен» и «необоснованный и нерегулируемый рост оплаты труда, дестабилизирующий внутренний рынок на фоне неудовлетворительной работы»**.

После драки, как говорится, кулаками не машут. Но все же надо об этом сказать, ибо следующее поколение реформаторов, которое когда-нибудь начнет новую экономическую реформу, уже после того, как в стране введут на десятилетия всеобщую карточную систему и плановая анархия окончательно разметет нашу экономику, должно будет учесть уроки этой реформы.

Урок же заключается в том, что Госплан, снизивший свой план, который переименовали в «госзаказ», и сократив лимиты, заставил всех снизить выпуск продукции. Кризис, восемь причин которого назвал нам Л. Воронин, был организован Госпланом вместе с теми, кто похоронил (отложил на следующее десятилетие) реформу цен и переход к рынку оптовой торговли сырьем и материалами.

Расчеты А. Аганбегяна — автора концепции «ускорения» — на то, что получившие хозяйственную самостоятельность предприятия ринутся сломя голову изыскивать скрытые резервы, припрятанные ресурсы и мобилизуют работающих на новые подвиги трудового энтузиазма, не оправдались. Никто не соблазнился предложенной псевдосамостоятельностью, никто не поверил в добрые намерения властей.

И хотя высказанные правительством обществу претензии были и несправедливы и необоснованны, именно такое понимание событий легло в основу предложенной Абалкиным — Рыжковым и принятой программы «чрезвычайных мер».

Триединая формула экономиста с уточнениями финансиста

Л. АБАЛКИН: «Ситуация толкает к тому, чтобы вернуться назад, к командной системе».
«...Мы, правительство, просим полтора года спокойной работы. Дайте поработать, потом спрашивайте за результат».

Академик Л. И. Абалкин ситуацию называл «патовой» и утверждал, что «чрезвычайные обстоятельства потребуют и чрезвычайных мер». «Триединая формула» оздоровления Л. Абалкина (Совмина) включала в себя: сдерживание экономического роста, финансовое оздоровление народного хозяйства и резкое усиление социальных приоритетов в развитии экономики.

Речь шла об отказе от политики «ускорения» и переходе к политике «холодного душа».

Как известно, к политике охлаждения правительства западных стран всегда прибегают в ситуации инфляционного перегрева в верхних стадиях бума, когда экономика достигает своего «потолка занятости» и «потолка инвестиций», а предложение товаров на рынке намного опережает спрос. Охлаждением экономики лечатся от инфляции, изымая часть денег из обращения. Логика такой политики чрезвычайно проста: в период кризиса следует подстегивать экономику, в том числе дополнительными инвестициями и вкачиванием новых денег в обращение, стимулировать спрос, содействовать капиталовложениям, организовывать общественные работы для поддержания безработных. В период далеко зашедшего бума экономику следует охлаждать, в том числе и для того, чтобы присобрать немного денег на периоды кризиса, когда необходимо оказывать стимулирующие впрыскивания.

Если в своем диагнозе, резко отличном от госплановского — совминовского,— «тяжелый экономический кризис, который будет в ближайшие месяцы усугубляться»,— были правы Г. Ханин и В. Селюнин, то «рецепт» Л. Абалкина —

«сдерживать экономический рост» во имя выхода из кризиса — можно было смело представлять к Госпремии как за самое оригинальное решение в области антикризисной стратегии.

Вторая составляющая «триединой формулы» — финансовое оздоровление народного хозяйства — должна была стать сердцевиной реформы, ибо за несколько перестроечных лет правительство своей финансовой политикой фактически развалило тот зыбкий, хрупкий, но все же условно сбалансированный товарный рынок, который был у нас до перестройки.

Программа финансового оздоровления Л. Абалкина включала выпуск на полсуммы бюджетного дефицита пятипроцентных долговых обязательств сроком на 15 лет, которые должны были разместить через банковскую систему на предприятиях, то есть фактически принудительные займы в госсекторе, а также сокращение на треть централизованных капиталовложений и расходов на оборону и управление. «Во всей нашей истории нет аналога тем соотношениям, которые заложены в плане 1990 года: продукция группы А должна вырасти на 0,5%, а группы Б — на 6,7%. Без решительного разрыва с традициями прошлого, без смелой, радикальной ломки сложившихся пропорций нам из болота финансового кризиса не вырваться»,— комментировал свою программу автор.

Хотелось бы знать: каким это образом изменение пропорций распределения национального дохода могло бы вывести нас из финансового кризиса, который возник в связи с необузданной денежной эмиссией последних лет?

«Темпы эмиссии потрясают воображение,— писал В. Селюнин,— в 1988 году бумажных денег выпущено в 2 раза больше, чем в 1987, и в 4 раза больше, нежели печатали в среднем за год в прошлой пятилетке. Такой порчи рубля не наблюдалось с военных времен» (Селюнин В. Черные дыры экономики.— Новый мир, 1989, № 10, с. 155). Больным бюджет стал не от природной склонности к дурным привычкам, а от того, что государство жило не по средствам, делало большое количество долгов и прогуливало значительную часть казны.

Намерение выйти из финансового кризиса в первую очередь должно было означать стабилизацию денежного обращения, прекращение денежной эмиссии и резкое сокращение государственных расходов.

Учитывая, что с 1 января 1988 года страна теоретически перешла на режим хозяйственного расчета (самофинансирования), бюджетные поступления объективно должны были сокращаться, тем более что мы уже вступили в полосу структурно-конъюнктурного кризиса.

Так должно было быть по логике вещей. По принципу (социалистическому) все случилось иначе:

«В целом впервые за многие десятилетия удалось предусмотреть опережающий рост доходов государства в сравнении с увеличением расходов»,— рапортовал Л. Воронин.

Расплачиваться с долгами правительство решило за счет дополнительных доходов от налога с оборота (со 105,9 миллиарда рублей в 1989 году до 121,9 миллиарда в 1990 году), налогов с населения, поступлений от внешней торговли, взносов предприятий на социальное страхование.

Одновременно было предусмотрено сокращение расходов на государственные капиталовложения (на 23,4 миллиарда) и на оборону (на 6,4 миллиарда). «В результате стало возможным... полностью профинансировать все то, что намечалось социальной программой»,— писал министр финансов В. Павлов.

Напомним, что третьим элементом «триединой формулы» оздоровления Л. Абалкина было резкое усиление социальных приоритетов в развитии экономики, предусматривающее рост социальных расходов.

Надо сказать, что, когда в середине 70-х годов на Западе началась структурная перестройка, которая на первых порах сопровождалась государственной инфляционной политикой, все программы по оздоровлению экономики и по борьбе с инфляцией так или иначе крутились вокруг сокращения социальных расходов. Казалось очевидным, что в тяжелые для экономики периоды уместно экономить и хотя бы пытаться не расширять социальных расходов до тех пор, пока не восстановятся привычно нормальные темпы экономического роста и экономика не наберет энергии для нового бума. Все дебаты в конгрессах сводились к вопросу: какие расходы надо сократить, на чем сэкономить?

Хотелось бы все же понять логику наших правительственных экспертов: за счет каких средств в условиях углубляющегося кризиса и обещанной структурной перестройки они были намерены расширять социальные расходы, да еще столь существенно? Где намеревались они взять дополнительные средства на назначенные приросты?

В. Павлов: «Сверхплановые денежные доходы населения за вычетом налогов в текущем году оцениваются в 44 млрд. руб., в то время как продажа товаров и оказание платных услуг —4 млрд. руб.».

Л. Воронин: «Правительство СССР представило проект плана на 1990 год с эмиссией денежных средств в сумме 10 млрд. рублей. Это примерно на 40 проц. меньше, чем ожидается в текущем году, но все-таки ощутимо».

В. Павлов: «Эмиссия (в текущем году.— Л. П.) составит 18 млрд. руб., т. е. в 1,5 раза больше, чем в прошедшем году».

Таким образом, программа финансового оздоровления, направленная на «обуздание» инфляции и укрепление рубля,

увеличение вложений на социальные нужды, предусматривала: 1) рост денежной эмиссии в 1989 году на 18 миллиардов рублей, а в 1990-м — еще на 10 миллиардов; 2) превышение бюджетных расходов над доходами (при этом размер доходов превышал утвержденный по плану 1990 года) на 54,2 миллиарда рублей, а расходы должны были сократиться по сравнению с запланированными только на 6,6 миллиарда; 3) рост иностранных кредитов, которые предполагалось потратить на закупку продовольствия, кормов, металла и сырья для легкой промышленности, а также на обслуживание нашей внешней задолженности. (Л. Воронин: «Положение таково, что объем импорта в 1990 г. определяется уже не только наличием средств, которые предусматривается выручить от экспорта советских товаров, но и размерами крупных иностранных кредитов)».

Выходит, что правительство объявляло программу «финансового оздоровления», центральным звеном которой являлся рост денежной эмиссии (очень высокий рост, надо подчеркнуть!), для того чтобы изменить «направленность проектировок бюджета»: «В нем предполагается последовательно провести линию на усиление его социальной ориентации».

Из программы социальной ориентации следовало, что, несмотря на большой напряг с инвестициями, агропромышленный комплекс получит свои 10—11 процентов и трактора в полном объеме.

Запланированный на 80 процентов рост общественных фондов потребления означал, что у нас более чем на 80 процентов вырастут отчисления (недоплаты) от заработной платы, из которых эти самые «бесплатные» фонды формируются.

Как из столь инфляционной программы «финансового оздоровления», которая должна была многократно обесценить наши прежние сбережения, снизить покупательную способность сегодня заработанного рубля, повысить размер государственной задолженности и привлечь новые иностранные кредиты (долги), за которые нам предстояло в ближайшем же будущем расплачиваться, можно было получить «социальную направленность бюджета», я понять так и не смогла. Если, правда, под «социальной направленностью» не понимать то, что экономика вместо самоедства кое-что должна была начать выбрасывать на потребительский рынок.

В чем же состоял замысел реформаторов? Вначале разрешить предприятиям зарабатывать свои средства и повышать заработную плату. Этим должен был стимулироваться трудовой энтузиазм по новой формуле «лучше работаешь, больше получаешь». Потом государство в целях изменения структуры производства (переориентации на группу Б) устанавливает жесткий прогрессивный налог на прирост заработной платы (свыше 3 процентов) во всех отраслях группы А и одновременно выпускает в обращение дополнительно 10 миллиардов не обеспеченных товарами банкнот, обесценивая тем самым прирост заработной платы, а также все текущие доходы и прошлые сбережения. Понятно, что товарный дефицит с учетом психологических факторов инфляционной лихорадки должен был опередить рост товарооборота и магазинные полки должны были совсем уж опустеть.

«Все мы должны серьезно поддержать Н. И. Рыжкова и правительство, чтобы программа стала осуществимой»,— писал С. Шаталин. «Многое будет зависеть от того, сумеем ли обуздать рост незаработанных доходов, справимся ли с пещерным эгоизмом предприятий и кооперативов». «Нужно создать мотивационный механизм».

Ключевой вопрос, «которому пока не найден должный ответ в социалистической экономике,— проясняло правительство свою идею по созданию нового мотивационного механизма эпохи перестройки,— это формирование долгосрочной заинтересованности предприятий и их работников в оптимальных пропорциях потребления и накопления, в обновлении и наращивании производственного потенциала» («Радикальная экономическая реформа: первоочередные и долговременные меры». «Экономическая газета» № 43, октябрь 1989 г.). За все наши долгие 70 лет «строительства» мы так ничему и не научились. Так и не постигли простую формулу стимулирования: дай людям свободно владеть, действовать, решать и распоряжаться результатами собственного труда, и они быстро встанут на ноги и начнут кормить и себя и свое государство. До каких же высот экономического здравомыслия следовало дорасти, чтобы ключевым посчитать вопрос о том, как обязать производителя заботиться об «оптимальных пропорциях»?

В нормальной рыночной экономике оптимальные пропорции складываются всегда сами по себе, и никому и никогда не приходило в голову создавать институт по «формированию» чьих-либо интересов, долгосрочных либо краткосрочных. Только пороки социалистической идеологии позволили так сформулировать цель и смысл своих действий.

Предложенная Леонидом Абалкиным мера по замораживанию фонда заработной платы была вынужденной. Поскольку естественный механизм, регулирующий рост цен и рост заработной платы, не был включен из-за половинчатости предпринятых мер и усеченности предоставленных прав и свобод, а никакие сдерживающие «моральные» критерии сработать не могли, пришлось насильственно, чисто административным путем попытаться заморозить рост заработной платы.

У Л. Абалкина был выбор: либо настаивать на предоставлении хозяйственной свободы предприятиям (переводить их в режим собственников, акционерных ли, арендных или кооперативных — вопрос чисто технический), резко изменить

налоговое законодательство в сторону сокращения изъятий и отрезать предприятия от диктата Госплана и отраслевых министерств, либо отнять те элементы свободы, которые предусматривались новым законом о промышленном предприятии.

Л. Абалкин избрал второй вариант. Решившись на замораживание доходов, он принес в жертву элементы хозяйственной свободы.

Однако «обуздать рост незаработанных доходов» и справиться с «пещерным эгоизмом предприятий и кооперативов» в условиях командно-рыночной системы оказалось гораздо сложней, чем в условиях «чисто» административной.

С. Шаталин писал, что без помощи твердой экономической руки, без употребления власти мы просто не сможем снизить капиталовложения в группу А. О «твердой экономической руке» сегодня вряд ли кто станет спорить. Все устали от «административной анархии» пустых прилавков, карточек и выездных форм торговли. Вопрос — в чем конкретно следовало проявить административную твердость, а где была необходима целительная «рыночная анархия». Та таинственная «невидимая рука провидения» Адама Смита, которая, невзирая на «чины», убрала бы с рынка всех не умеющих там хозяйствовать. Та «железная рука», которая всегда действует безошибочно, стремительно и беспощадно.

И здесь мы вновь стояли перед выбором: либо выпущенный на волю инвестиционный процесс сам начнет формировать нашу новую промышленную инфраструктуру, направляя ресурсы в те отрасли и сферы, где высокий потребительский спрос обещал высокие и быстрые доходы пусть не так скоро, но надежно и эффективно, либо мы вновь «употребим власть» и «твердой рукой» попытаемся сдвинуть структуру в сторону группы Б. Власть-то мы употребили: ограничили рост фонда заработной платы в «неугодных» отраслях, чтобы простимулировать таким образом высвобождение излишков. Да толку-то? Разве такой микромерой структурную перестройку начнешь? Первая же забастовка обиженных производителей из группы А расставила все акценты по-своему.

Вместо того чтобы «обуздывать рост незаработанных доходов» и бороться с «пещерным эгоизмом предприятий», надо было сыграть на этом самом эгоизме и поспешить выпустить из-под государственного контроля зажатые элементы хозяйственной свободы и самостоятельности.

Реформа по всей своей логике должна была переориентировать потоки доходов и сократить долю средств, изымаемых у предприятий в бюджет. Ведь переход к самоокупаемости и самофинансированию промышленных предприятий подразумевал, что большая часть заработанного ими будет оставаться «на местах». Та же логика должна была касаться кооперативов, которые, будучи освобождены от необходимости кормить непомерно разросшийся и дорогостоящий административно-управленческий аппарат, могли бы свободно начать накапливать средства для создания новой промышленной инфраструктуры, постепенно заменяющей собой старую, износившуюся и низкоэффективную.

Того же следовало ждать и для частных доходов граждан, у которых должны были перестать изымать все под завязку и открыть хоть какие-то каналы для зарабатывания нормальных, не на уровне выживания, доходов.

Очевидно, что кооператоры, получи они право и возможность свободно инвестировать, не стали бы строить новый тракторный завод. Так же, как очевидно и то, что производители, получи они реальную самостоятельность действий, ринулись бы заполнять бреши в потребительском спросе, сулящем им высокие и надежные прибыли. Тот мотивационный механизм, который нам «нужно создавать», был давно создан всей историей рыночных отношений, в которых производители всегда стремились производить то, в чем нуждались люди, своим поведением, вкусами и кошельками формировавшие ту промышленную инфраструктуру, которая точно отражала имеющиеся в обществе нужды. Нужно было начать высвобождать этот механизм из-под пут социальной демагогии с ее особой моралью и мотивацией. А за производителями бы дело не стало.

А что же мы?

Вместо того чтобы принять закон о приватизации собственности, частном землепользовании и выпустить производителей на волю вольную, попытавшись таким способом не только накормить народ, но и сэкономить валюту на закупке хлеба (в широком смысле — хлеба насущного) с тем, чтобы направить эти средства на решение кричащих социальных проблем, было «принято решение о закупке значительного количества сырья, оборудования и материалов для производства», и две с половиной тысячи плановиков сели считать, как в новых, перестроечных условиях получше изымать доходы с предприятий, какими прогрессивными налогами надо обложить кооперативы и индивидуалов для того, чтобы не дать им получить «нетрудовые» доходы. Л. Абалкин в качестве рычага по изменению производственной структуры предложил воздействовать (нет, не на предпринимательский, коммерческий, инвестиционный инстинкт) на фонд заработной платы, вводя ограничение на ее рост в тех отраслях, которые должны были, по замыслам реформаторов, сократить выпуск продукции. Формула «заработал — получи сполна», которую реформаторы обещали внедрить в жизнь, под натиском инфляционных проблем тотчас же отступила. Более того, именно в этом звене хозяйственной жизни (а в новых условиях создания мотивационного механизма надо было быть особенно осмотрительными) изыскали средство осуществления антиинфляционной политики.

Мировой опыт свидетельствует: еще никогда и нигде меры по замораживанию заработной платы не оказывали антиинфляционного эффекта. Ибо причина инфляции лежит не в росте доходов, а в той денежной политике, которую проводит правительство, и не было ни малейшего шанса на то, что в условиях растущего бюджетного дефицита и высокой денежной эмиссии замораживание доходов даст сколь-нибудь положительный эффект. Причины нашего кризиса не в чрезмерности денежных доходов населения по отношению к размеру выпускаемых потребительских товаров и услуг, как это считает (или делает вид, что считает) наше правительство.

Причин несколько. Во-первых, это уже осмысленное нами классическое состояние перенакопления капитала, то есть чрезмерное, а в нашем случае супергипертрофированное развитие отраслей, производящих товары производственного назначения или капитальные товары, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары. Во-вторых, это столь же классическая нехватка капитала для завершения начатого строительства. Сбережения, явившиеся стимулом начала широкой сети инвестирования, оказались недостаточными для его практически безграничного продолжения. Дальнейшее же расширение кредита поставило нас перед прямой угрозой финансового краха.

В-третьих, это длительное время практикуемая у нас принудительная, а еще более точно — конфискационная форма сбережений, составляющих инвестиционный фонд. Как показывает мировой опыт, жертвы принудительного сбережения, вынужденные сокращать свое потребление, будут при любом удобном случае стремиться восстановить нормальное соотношение между потреблением и сбережениями. В нашем случае как только предприятия получили возможность увеличить фонд заработной платы, они тотчас же этим воспользовались, создав тем самым дополнительное давление на рынке потребительских товаров и оттянув часть планируемых для инвестирования средств.

Это три лежащие на поверхности причины. Причинами же, породившими эти диспропорции, являются, во-первых, беспредел в возможностях кредитования, в размерах денежной эмиссии и в масштабах изымаемых на инвестирование средств, порожденный абсолютной государственной монополией на право печатать деньги, предоставлять кредит и определять долю накопления-инвестирования в ВНП. Дополнительные банковские кредиты отнимают часть потребительских товаров и передают их все на то же инвестирование. Банкиры, передавая инвесторам покупательную способность, передают им реальный продукт нашего с вами потребления. Это равнозначно тому, что они воровски залезают в наши карманы и передают украденное местным мафиози. Увеличение капитала сверх добровольных сбережений (а кредитная инфляция, т. е. кредиты, выданные без товарного обеспечения, всегда принудительна!) влечет за собой сокращение потока товаров, предназначенных для потребления.

Во-вторых, «бесплатность» земли, средств производства и инвестиционного капитала для инвесторов, связанная с практическим отсутствием кредитного регулирования (размер ставки процента является величиной чисто условной, никак не ограничивающей возможности пользоваться заемными средствами), с системой безвозмездного (некоммерческого) кредитования — фактической передачей средств инвесторам в полное распоряжение на некоммерческой основе. В-третьих — существование госснабовской системы лимитного распределения, порождающей полнейший произвол в инвестиционных потоках.

Это три промежуточные причины кризиса. Настоящей же причиной является государственная система собственности и монополия власти распоряжаться этой собственностью в соответствии со своей волей.

Имя нашему кризису — кризис социализма, со всеми его замыслами, идеалами и завоеваниями. Ведь что такое социализм? Это примат общего по отношению к частному. Коллективного по отношению к личному. Общественного по отношению к индивидуальному при абсолютном приоритете «государственных нужд» по отношению к нуждам человеческим, частным, личным.

Господство «общественного», «коллективного» и «государственного» начал мы получили в строгом соответствии с замыслом создателей. Теперь же нам предстоит обратный процесс — от государственной собственности к частной, от общественных фондов потребления к личным, от коллективной морали, коллективной ответственности и коллективизма как принципа устройства нашей жизни ко всему частному, личному, индивидуальному. К личной ответственности за неверно потраченные средства, за неэффективность производства, за дурное качество продукции, разбазаривание и растранжиривание вверенных тебе средств. К личной ответственности и за себя, и за детей своих, к личному распоряжению всем тобой заработанным. К жизни негосударственной, приватной, достойной, ответственной и самоустроительной. Ибо что может быть выше для человека ценности, чем его собственная свобода и ответственность? Не придумало, не познало человечество более высшей цели и ценности человеческого бытия.

На этих путях и следует искать нам возможности выхода из кризиса.

Есть только один путь побудить людей сберегать больше, чем расходовать,— позволить им покупать капитальные товары — станки, дома и оборудование, землю и сырье, с тем чтобы начинать самим заниматься предпринимательством и ремеслами. Здесь и лежит путь к преодолению кризиса, к оживлению хозяйственной инициативы, к росту предпринимательской активности. Это первая линия возрождения.

Мобильность труда и капитала, возможность свободного перелива их из отраслей, выпускающих средства производства, в отрасли, выпускающие предметы потребления. Никаких предписок, прописок и распределений по «разверсткам» в соответствии с «приоритетами». Это второе условие преодоления кризиса.

И, наконец, третье. Жесткий контроль над кредитно-денежной политикой.

Мы — экстремисты из «левого» лагеря!

Почему так пристально вчитывалась я в абалкинские интервью? Помню, за одним из них, которое ТАСС за валюту продавал иностранным журналистам, даже специально ездила к знакомой западной журналистке. Очень уж задел меня его пассаж, напечатанный под заголовком «Судьба реформы: тактика и стратегия правительства»:

«И еще о крайностях, об опасности «левого» и «правого» экстремизма. Они разобщают силы, сталкивают различные социальные слои и группы... Закономерный результат таких действий — отравление общественной атмосферы, своеобразный экологический кризис социальной среды... Левацкие призывы вызывают опасное усиление давления справа. Всегда ли мы ведаем, что творим?» — задавался вопросом Абалкин.

В своих речах М. Горбачев не уставал повторять: «экстремисты» из «левого лагеря» «подбрасывают» нам идеи свободного рынка. Так вот, это — не наш путь». Потом, спустя некоторое время, он заговорил о «регулируемом рынке» как «нашем пути», но не забывал добавить об «отравителях общественной атмосферы», которые требуют рынка «чистого», «капиталистического», «не нашего».

Я все не теряла надежды услышать от Л. Абалкина, ученого, претендующего на роль и главного советника, и автора экономической реформы, концепцию стратегии приватизации собственности и перехода к свободному ценообразованию и конвертируемому рублю. Ждала тщетно, ибо такой концепции у него не было. Был стратегический замысел того, как отсрочить принятие жизненно необходимых решений: вначале на следующее столетие, а затем на середину следующей пятилетки, когда уже будут распределены все плановые задания и лимиты на сырье и материалы и ничего реального сделать опять не удастся. Подготовленный пакет законодательных актов для Верховного Совета не обещал нам никаких сюрпризов: «В этих документах учитывается общая логика перестройки, ее направленность на обновление социализма, но именно социализма, а не отступлений от него»,— подчеркивал наш главный экономист. Это значило, что ничего, кроме паллиативности, двусмыслия и неработоспособности, от законов о земле, о собственности, об аренде и налогах ждать не приходилось.

Последующие события подтвердили мои выводы. Когда народные депутаты начали шельмовать на съезде «кооператоров-перекупщиков», разработчикам новой социалистической стратегии возразить было нечего. Кооперативы были грубо освистаны, а с ними и программа «кооперативного социализма». Правительству, которое не устраивали ни стоящие на гранитных глыбах планового централизма «правые», ни зовущие к свободному рынку и возврату людям отнятой у них большевиками собственности «левые», опереться было не на кого. Первые кляли Горбачева за ревизионизм, реформизм и прокапиталистическую ориентацию, а вторые — за соглашательский конформизм и отсутствие сколь-нибудь серьезной воли к преобразованиям. Вместо того чтобы отстоять кооперативы, правительство встало на защиту собственной паллиативности, в результате чего и сделалось возможным вынесение на голосование вопроса о закрытии части кооперативов и государственном контроле над их ценами.

Почему так возмутили наших приверженцев социалистических принципов именно торгово-закупочные кооперативы? Да потому, что они действительно начали составлять конкуренцию нашей государственной торговой мафии, монопольно распределявшей до сих пор всю продукцию. Как только монополия в распределении — наше самое главное социалистическое завоевание — начала давать трещины, профсоюзы, на протяжении всей социалистической истории только и занятые «защитой интересов трудящихся», тотчас же и защитили эти самые интересы. Удивительно, но факт: вот уже трижды за непродолжительный период перестройки профсоюзы выступили в роли провокаторов: за закрытие кооперативов, за замораживание цен и контроль над ними, за введение в Москве карточной системы распределения.

Следующим этапом борьбы с рынком станет удушение производственных кооперативов и арендных предприятий, ибо в правительственной программе именно они были объявлены основными виновниками обрушившегося на нас кризиса. Провинились же они перед нами тем, что у них «темпы роста заработной платы были особенно заметны».

Точно такой же сценарий развернулся вокруг земельной реформы. Не сказав частной собственности на землю твердого «да», правительство перекрыло все пути для полноценного фермерства или арендаторства.

А защитить фермера значило выделить ему стройматериалы, зерно, сельхозтехнику, льготный, а возможно, и безвозмездный кредит под застройку, помочь поставить теплички и снабдить кормом для скота, который также предоставить на самых что ни на есть льготных условиях. Ведь не инопланетян и не чужеземцев мы в фермеры приглашали — своих родных мужиков да баб, которые решились бы бросить городские общаги, очереди в полжизни на квартиры и вернулись бы к земле. Очередь свою на городскую квартиру они уже кто наполовину, а кто и целиком отстояли и квартиру эту с лихвой оплатили трудом своим у станков и на конвейерах. Так что не «бесплатно» получили бы они от государства стройматериалы и льготные кредиты. Свое, оплаченное, заработанное.

Когда большевики отнимали землю, когда сгоняли скот и людей в колхозы, когда выбирали подчистую семенное зерно, они в каждое село пригоняли свои продотряды, свою «социалистическую милицию» выставляли на грабеж чужого добра. Почему же сейчас не нашлось у правительства сил хотя бы соответствующие распоряжения разослать? Простого и короткого содержания, такого примерно: «Постановлением Совета Министров — каждого желающего выделиться из колхоза и совхоза обустроить (перечень). Каждому желающему вернуться в село выделить (перечень). А каждому горожанину, пожелавшему арендовать или купить,— сдать в аренду или продать (и перечень условий, на которых сдать или продать)».

Когда народные депутаты, обсуждая какую-нибудь запятую в проекте закона, ссылались на уже избитое: «Наши избиратели ждут от нас решений»,— то что, скажите на милость, они имели в виду? Или они действительно серьезно полагали, что мужики затаив дыхание ждут решения вопроса о том, как их будут «индивидуалами» или «фермерами» называть и какая, индивидуальная или частная, собственность будет венчать их двадцать соток?

Депутаты рыдали о том, как плохо живется народу. Но хоть бы кто вышел, стукнул кулаком по трибуне и сказал: баста! Либо отдавайте людям землю, семена, скот, машины, либо отправляйтесь в отставку.

Давайте посмотрим трезво. Какие реальные шаги за пятилетний период реформы сделаны в сторону к экономической свободе? Обсудили право на «плюрализм» собственности? Так это же чисто идеологическое завоевание. Ибо и в XIX веке вопрос о частной собственности был решен со всей предельной ясностью. Что еще? Приняли конфискационное налоговое законодательство. А может, за пять лет отменили прописку в городах? Может, начали структурную перестройку в промышленности? Может, сократили свой сырьевой экспорт и торгуем теперь машинами и телевизорами?

Давайте же будем объективны. Даже закона о свободе слова у нас еще нет. Даже церкви ее земли, храмы и утварь не возвращены. О каких же «свободах» речь? Где те свободные фермеры — крестьяне, которые торгуют своим хлебом на рынках? Где клубника с фермерских полей? А может, мы что-нибудь в области демонополизации промышленности сделали? Заводы разукрупнили? Может, мафиозно-монопольную министерскую структуру хотя бы пошатнули, с места сдвинули, конкурентов на рынок выпустили? Или хотя бы предприятиям поменять ассортимент да самостоятельно модернизировать собственное производство позволили? Где, в чем, в каком месте поприбавилось хозяйственной самостоятельности в нашем монолитном планируемом хозяйстве?

Все это вещи простые, предельно ясные, «теоретически» обдуманные и в учебниках давно прописанные. Мы все ищем новые «рецепты», «прожекты», все принимаем программы то «ускорения», то «замедления», а то «чрезвычайных мер», направленных на лечение от начатого «ускорения». Меняем консультантов-экономистов, как будто не замечая, что все они из единого монолитного «коммунистического» лагеря строителей социализма с человеческим лицом. Даже новый институт рынка поначалу решили назвать не конъюнктурным, а ИСРАНОМ — институтом социалистического рынка, и если бы не неблагозвучие вывески, так бы и оставили. ИСРАН, занятый изучением функционирования «социалистического регулируемого рынка» в условиях «многообразия форм социалистической общественной собственности».

«У нас пять-шесть различных форм собственности»,— писал Л. Абалкин. Теперь нам предстоит сделать «новый принципиальный шаг»: «признание возможности существования нескольких собственников у одного и того же объекта». Речь идет о том, что имущество может принадлежать одному или одновременно нескольким собственникам. В частности, это касается таких объектов, как земля, природные ресурсы, которые могут быть одновременно как общесоюзной, так и республиканской собственностью. Здесь просматривается формирование такого нового феномена, как «союзно-республиканская собственность» (!) «Это ново, непривычно, но полностью отвечает реалиям нынешнего состояния общества». А ведь действительно «отвечает реалиям» — и духовного, и мате-

риального, и политического состояния нашего общества!

«Мы живем не хуже, чем работаем»,— сказал на сессии Верховного Совета Леонид Абалкин. «Мы живем так, как работаем»,— обвинил общество в своем докладе Михаил Горбачев. Вы иждивенцы, сказал Абалкин: «Мы сформировали удивительную разновидность какого-то социалистического иждивенчества: с помощью нажима на правительство выколачивать из него снабжение, льготы, фонды. Будто оно глава патриархальной общины — сильный, добрый, мудрый батя: попроси, оно дарит от щедрот своих... Кончается время, когда за все неурядицы можно было кивать на Совмин, Госплан и так далее».

Нет, уважаемый Леонид Иванович, так не получится. Не евреи и не иждивенцы, а именно «Совмин, Госплан и так далее» ответственны за тот развал экономики, который обрушился на наше общество. И именно они, оплоты КПСС и ее плановой централизации, сделавшие каждого из нас зависимым от «доброго, мудрого бати», вынужденным клянчить для себя «льготы и фонды», квартиру и место в ясельках, должны теперь нести ответ.

Мы заняты тяжелым, унылым, монотонным, низкооплачиваемым, нетворческим трудом на старом, физически и морально изношенном оборудовании, в старых, ветхих, разрушенных временем и незаботой, плохо проветриваемых, грязных заводских помещениях, на отработавших свое технологиях с допотопной техникой безопасности. В подвалах наших магазинов живут крысы, а по прилавкам ползают тараканы. В сырых и зловонных овощехранилищах растет плесень и гниют «дары полей». В наших больницах нет ваты и аспирина, а в конторах не стоят кондиционеры и компьютеры.

Производя морально устаревшую, некачественную, а в ряде случаев просто непригодную к употреблению продукцию, мы работаем в конфликте с самими собой — те, у кого не окончательно разрушен моральный императив и не до конца сформировано «коммунистическое» отношение к труду. (При коммунизме, как говорили классики, денег не будет и труд будет бесплатным, полностью ориентированным на «общее благо».) Получая нищенскую заработную плату за свой нелегкий — конвейерный, плохо механизированный, еще хуже автоматизированный и вовсе не компьютеризированный, в своей значительной части и вовсе ручной труд, мы работаем в конфликте с собственным начальством, которое по зависящим или по не зависящим от него причинам не в состоянии обеспечить нам *нормальных* — соответствующих стандартам технологии — условий работы и *нормальной* — соответствующей трудовому вкладу — оплаты. Мы работаем в конфликте с собственной системой, обещавшей нам «светлое будущее», а предоставляющей карточное настоящее. А живем мы так, как работаем: с верой и энтузиазмом, совершенствуя наши «социалистические завоевания». Грешно винить общество, которое 70 лет ломали, крушили, выкорчевывали, натравливали и уничтожали за отсутствие трудового усердия и иждивенчество. Мы усмиренное, выкорчеванное общество, лишенное собственности и инициативы, прав и ответственности. Общество без права на жизнь. Да, добрые пролетарские диктаторы решали за нас все — где рождаться, как лечиться и учиться. Да ведь и сегодня «экономическая политика партии включает решение следующих вопросов: как организовать производство, обмен, распределение, потребление материальных благ; какие экономические рычаги необходимо использовать для повышения производительности труда; каким должен быть хозяйственный механизм для реализации экономических программ; каковы приоритеты в развитии техники и технологии производства». Так может, стоит вернуть гражданам собственность, имущество, средства производства, право на предпринимательскую деятельность, самостоятельность и ответственность, а потом и выяснять, кто же в действительности был иждивенцем в нашем обществе?

Пять лет постепенного перехода к рынку обернулись пятилетием вползания в большой экономический кризис, грозящий перерасти в «Великую депрессию», кризис, который, по оценкам некоторых экономистов, грозит кончиться для нас полным крахом, ибо положение усугубляется еще и кризисом политическим, повсеместно обострившимися национальными проблемами.

Почему же за пять лет перестройки мы, несмотря на начавшуюся демократизацию и целительную гласность, получили вместо «строя цивилизованных кооператоров» озлобленное пустотой магазинных прилавков и кооперативными ценами «общественное мнение», готовое сокрушить и самих кооператоров, и тех, кто выдал им путевку в жизнь?

Что это были за «объективные условия», которые помешали нам и в 1985-м, и в 1990 году вернуть людям собственность и свободу и выпустить на волю вольную имеющуюся, а вернее сказать, уцелевшую в расщелинах нашей жизни творческую и предпринимательскую энергию и инициативу? Их, на мой взгляд, было три:

— коммунистическая идеология с ее классовым представлением о равенстве, свободе и социальной справедливости;

— однопартийная система власти, безальтернативная и сконцентрировавшая в своих руках все рычаги управления как экономической, так и социальной жизнью общества;

— социалистическая экономическая доктрина, вобравшая в себя идеи общественной собственности на средства производства, планирования экономического процесса и управления из единого центра.

Все те силы, которые стояли на страже этих трех столпов нашей действительности, и создали те «объективные условия», которые не позволили нам вовремя сделать скачок из царства «познанной необходимости» в мир многопартийной плюралистической рыночной анархии с частной собственностью и широким диапазоном экономических, политических и социальных свобод.

Партийные идеологи и экономисты, предлагающие отсрочить наш переход еще на одну, пусть последнюю, «несчастливую» 13-ю пятилетку, постепенно внушили нам страх перед социальными последствиями рыночного выбора: инфляцией, безработицей (которая, кстати, у нас из тайной давно стала явной, но все еще не имеет своего официального статуса, дающего права на пособие), социальной и медицинской незащищенностью, нищетой, неустроенностью быта и отсутствием жилья. Тонкие политики, они всеми силами старались приучить нас к реальностям социализма так, как будто бы это социальные последствия нашего нового «рыночного выбора».

Проблема социальных последствий рыночного выбора, безусловно, существует. Ибо переход этот будет долог и труден. Долог настолько, насколько потребуется нам времени для того, чтобы выросли и зацвели наши персиковые рощи, чтобы зазеленела виноградная лоза на вырубленных землях, чтобы зарезвилась рыба в водоемах, чтобы возродились в людях вера и надежда, воля к жизни и любовь к себе и своему ближнему. Труден настолько, насколько потребуется сил, упорства и выдержки, чтобы преодолеть все остатки нашей революционной идеологии по выкорчевыванию самих основ человеческой жизни. Мы столкнемся на этом пути и с безработицей, и неумением хозяйствовать, и с незнанием элементарных основ банковской и коммерческой жизни, и с банкротствами, с отсутствием предпринимательской и протестантской этики. Но у нас появится реальная надежда — выжить. Вырастить здоровыми и сильными наших детей, которые будут жить... не при коммунизме. Ибо упаси Бог еще когда-нибудь привести на эту многострадальную землю пророка, который посулит нам новую коммунистическую аркадию. У меня очень скромные желания. Я хочу, чтобы мои дети не уехали в далекую Америку искать счастья. Я хочу, чтобы их дети не носили на шее радиационные дозиметры, чтобы не боялись вкусить сочной дыни или спелой черешни. Но для этого нам предстоит сделать новый выбор, сделать прямо сегодня, сейчас. Ибо социальные последствия рыночного перехода несопоставимы с тем, что ожидает нас в случае, если мы промедлим. В два прыжка через пропасть не перепрыгнуть. Мы и не перепрыгнули... Но у нас, катящихся вниз, еще есть надежда уцепиться за наскальные кустики и уцелеть.

Продолжительность человеческой жизни определяется несколькими десятилетиями. На втором десятке человек уже зрел, а на седьмом по-стариковски мудр. Но что такое наши 70 лет в жизни общества, продолжительность которой отсчитывается тысячелетиями? Лишь на мгновение затянувшаяся «простуда», перебившая нормальный пульс общественной жизни и несколько нарушившая общее кровообращение.

Надо вернуть людям собственность и свободу. И только тогда общество без всяких изощренных стимулов, новых мобилизаций и идеологических призывов и увещеваний работать лучше, больше и с энтузиазмом само мобилизует свой предпринимательский потенциал и высвободит десятилетиями задавленную инициативу. Только не мешайте!

На пути к рыночной стабильности

Понимание того, что надвигающаяся на нас «Великая депрессия» есть результат долгосрочного разрушения рыночных структур и предпринимательства, не избавляет нас от возможности попытаться избежать уготованной нам судьбы и сделать новый выбор. Выбор, который приведет нас к стартовой прямой и впишет в общий ритм мировой конъюнктуры.

Никакой оригинальной теории, никакого нового экономического закона и изобретенного мной «авторского» рецепта перехода к рынку я не предлагаю. Моя программа — апробированный историей и выдержавший проверку на дееспособность добротный «английский» путь к «благосостоянию народов» — путь классического рыночного либерализма. Прообразом нашей реформы может послужить концепция «социального рыночного хозяйства», реализованная в послевоенной ФРГ.

Ни в какие «чрезвычайные» меры перехода к рынку типа закупки продовольствия или кредитов на Западе для насыщения таким путем внутреннего рынка потребительскими товарами я не верю. Точно так же, как и в идею республиканского хозрасчета и свободных экономических зон. Только решительное, радикальное реформирование государственных институциональных структур, всей финансовой системы, коренное изменение функций государства и смена власти способны стабилизировать ситуацию в стране и положить начало выходу из кризиса.

Надо отказаться от ложного представления о том, что можно росчерком пера, используя получивший гран-при проект, ввести в оборот конвертируемый рубль

через другую валюту, заменив его на «меченые» деньги или на «золотой червонец». Как справедливо пишет Милтон Фридман, происхождение так называемой «неконвертируемой валюты» изобличает ее «авторитарную подоплеку». Наш рубль неконвертируем в первую очередь потому, что правительство отказывается обменивать обесцененные им самим бумажки на золото и валюту других стран. А также потому, что оно запрещает гражданам самим совершать этот обмен. Нет никакой сложности перехода от неконвертируемости к конвертируемости советского рубля. Достаточно отказаться от «авторитарной подоплеки» и снять государственный контроль над экономикой, государственную монополию на внешнюю торговлю, нормирование импорта, отказаться от прямого государственного контроля над валютным обменом, то есть, попросту говоря, перейти от тоталитарной системы к демократической, рыночной.

В планируемой экономике с фиксированными ценами, устанавливаемой «сверху» заработной платой, экономике, в которой действует принцип «полной занятости» и отсутствует *независимая* от воли главы государства финансовая система, валюта конвертируемой быть не может. А без нее невозможен и рынок. Если правительство имеет ничем не ограниченное право «портить деньги», оно этим правом непременно воспользуется. Для перехода к конвертируемости нашей валюты первым, главным и непременным условием должен стать переход к рыночной экономике, то есть к системе свободного ценообразования и свободного движения труда и капитала. Для этого необходимо реформирование институциональных основ нашей экономической жизни: ликвидация таких институтов, как Госплан, Госснаб, Госкомцен, Госкомтруд, других органов власти, регламентирующих хозяйственную деятельность, а также ликвидация всех отраслевых министерств и ведомств. Это — первое и непременное условие перехода к рынку.

Так как монопольное существование государственной собственности на средства производства исключает возможность свободной хозяйственной деятельности предприятий (независимой инвестиционной политики, свободного права выхода на внешний рынок, свободного ценообразования и др.), непременным условием реформы является приватизация собственности. Это позволит перейти к системе свободного ценообразования, отказаться от лимитного распределения ресурсов, перейти на режим самоокупаемости. В условиях государственной собственности и стабильных цен жесткая денежная политика, являющаяся непременным условием конвертируемости валюты, невозможна в силу бездействия ценового регулятора, который только и может определить размер роста денежной массы, необходимой для обращения.

Так как главными причинами инфляции являются правительственные прошлые и настоящие грехи в плане печатания денег и пользования инфляционными (не обеспеченными сбережениями) кредитами, а также монополизированная экономическая структура, не дающая возможности возникновения конкурирующих фирм и производств, третьим условием реформы является жесткая денежная политика, подконтрольная высшему органу власти, и демонополизация производственной структуры. Это тесным образом связано с условием о приватизации собственности и демонтажем отраслевой структуры министерского правления.

Поскольку, говоря словами Нобелевского лауреата Ф. Хайека: «Одним из парадоксов современного мира является то, что именно коммунистические страны более свободны от демона «социальной справедливости» и более готовы возложить бремя приспособления на тех, против кого повернулось развитие, чем страны капитализма», непременным условием перехода должна быть защищенность жизненного уровня граждан. Конвертируемость рубля не должна быть обеспечена за счет «затягивания поясов». Самый простой, но и самый социально несправедливый переход — обмен денег (если доллар на «черном рынке» стоит 20 рублей, то достаточно каждый накопленный рубль обменять на пятак и каждые 20 тысяч неконвертируемых сбережений превратить в одну тысячу конвертируемых) должен быть исключен.

Точно так же исключен и переход через шоковый рост цен без приватизации собственности. Рубль может стать конвертируемым, если резко отпустить все цены и начать жить в условиях «здоровой рыночной системы».

Ни денежная реформа (изъятие сбережений), ни ценовая шокотерапия не являются желанными рецептами, так как противоречат условию — перейти к рынку, не наступив на горло гражданам.

Нельзя допустить того, чтобы наше пока еще относительно умеренное сокращение деловой активности переросло в экономическую катастрофу. Предпринятые меры не должны ввергнуть нас в пучину вековой депрессии, привести к дефляционному шоку с длительной массовой безработицей, бунтами и волнениями.

Решение не должно быть и игрой с нулевой суммой. Кто-то должен выиграть, но при условии, что остальные не проиграют. Ибо конвертируемость рубля и свободные цены не есть самоцель. Они лишь средство, инструмент функционирования здоровой экономики. Простой «черный передел» смысла не имеет.

Морально устаревшая и сильно поизносившаяся экономическая инфраструктура, выпускающая продукцию низкого качества, устаревший станочный парк, использование отработавших свой век технологий, низкая квалификация рабо-

чих и высокая себестоимость продукции ввиду огромных непроизводственных расходов и неэффективности управленческих структур полностью перекрывают наше явное преимущество для внешней торговли — чрезвычайно дешевый труд советских рабочих, делая неконкурентоспособными наши товары.

Государство в своей стратегии перестройки намерено пожертвовать доходами, благосостоянием и положением граждан, оставив в неприкосновенности всю свою идеологическую громадину, сжирающую миллионы рублей. Инфляционный бюджет, продолжение роста денежной эмиссии, конфискационное налоговое законодательство, попытки заморозить фонды заработной платы, платность уже оплаченных нашими налогами и недоплатами к заработной плате социальных услуг, рост отчислений от доходов в так называемые «бесплатные» общественные фонды потребления и т. д. — все это свидетельствует о том, что началась большая атака на наш жизненный уровень.

Но ведь для «жертвенника» есть и альтернативные кандидатуры. Это прежде всего идеология со всем обслуживающим ее огромным аппаратом (кафедры научного коммунизма и научного атеизма, аппарат ЦК, донельзя раздутые штаты партийных институтов, издательств и объектов привилегированного потребления). Пожертвовать можно и нужно разнообразными формами социального и экономического паразитизма. В нашем обществе — это все убыточные предприятия, сидящие на дотациях колхозы и совхозы, огромное число НИИ и контор, находящихся на бюджетном финансировании. И все же, даже при условии подобных «жертв», в случае перехода к рынку нам предстоит пройти через сеть драматических событий, которых не избежать ни при каком, самом благоприятном раскладе. Это:

— **рост цен.** Источником оптимизма может быть то, что рост ранее искусственно сдерживаемых, бюджетно субсидируемых «социально низких» цен не есть инфляция. В условиях жесткой денежной политики выравнивание цен не будет катастрофическим;

— **безработица.** Высвобождение труда и капитала из морально устаревших и неконкурентоспособных отраслей промышленности поставит нас перед фактом многомиллионной безработицы. Одновременно начатый стимулированный подъем обеспечит вовлечение высвобождаемой рабочей силы. Пособия по безработице и широкие программы по переквалификации и смене места жительства будут способствовать по возможности безболезненному протеканию этого процесса;

— **банкротства.** В основной части банкротства промышленных предприятий будут означать смену формы собственности и системы управления;

— **классический экономический кризис,** со сбросом морально и физически устаревшего оборудования, отработанных технологий, старых профессий, потребность в которых исчезла.

Самой опасной в этой ситуации является угроза дефляционного шока. Если правительство, запустив мотор структурной перестройки, одновременно начнет избавляться от напечатанных им в прежние годы «лишних денег», задним умом проявив экономическое здравомыслие, ситуация «нормального» экономического кризиса может обернуться сокрушительным экономическим крахом. (Об этом свидетельствует и предупреждает нас мировой опыт, опыт «Великих депрессий» и финансовых катастроф.)

Дефляционный курс, отсасывающий излишки денег из обращения, без которого нам не обойтись, необходимо проводить осторожно, умело, маленькими порциями, изымая из обращения лишние банкноты так, как будто бы удаляя точечные раковые опухоли. Иначе больших неприятностей нам не избежать.

В любом случае нам придется расстаться с гарантиями занятости и стабильной заработной платы, пройти через болезненный процесс переустройства всей системы цен и заработной платы и начать жить в условиях гибкой заработной платы, колеблемых цен и подвижной занятости.

Не желая навязывать правительству своих экономических идеалов и не призывая его решать проблемы путем роста цен, безработицы и дефляционной шокотерапии, я лишь хочу сказать, что если его намерения перейти к здоровой экономике с конвертируемым рублем и конкурентоспособными товарами серьезны, ему придется «поступиться принципами» и «отпустить» цены, заработную плату, занятость да и валютные операции из-под своего контроля. Понятно, что их структура существенно изменится. Но это и будет искомое условие восстановления экономического равновесия.

В отличие от экономической сферы, где следует избавляться от слабых и неконкурентоспособных (при одновременном создании всесоюзной компьютерной службы занятости, биржи труда и системы пособий по безработице и переквалификации), в социальной сфере объектом помощи должны стать именно слабые — больные, престарелые, немощные, одинокие, многодетные, безработные и другие группы, нуждающиеся в социальной защите и помощи. Все средние и богатые слои населения должны быть сняты с государственных дотаций. Все льготы и привилегии для чиновничества должны быть упразднены.

В настоящее время пирамида социальных расходов имеет прямо обратное расположение: чем выше на социальной лестнице получатель, тем большими льготами, дотациями и привилегиями он пользуется. Принцип социальной реформы — блага и льготы должны получать *только* бедные и размер так называе-

мых «бесплатных» общественных фондов потребления должен не расти, а сокращаться по мере того, как бедность будет ликвидирована.

Общество должно жить экономно, по с р е д с т в а м, и тщательно контролировать то, как «сильные мира сего» тратят им заработанное.

Надо вернуть людям жилье. Все административные здания, сооружения, помещения необходимо сделать арендными. Арендная плата будет стимулировать высвобождение всех возможных излишков площади. То же касается земли. Совершенно недопустима ситуация, когда средненький НИИ имеет в центре Москвы участок в 40 гектаров. Значительная часть «бесплатного» административного фонда должна поступить в открытую продажу и быть продана в частную собственность отдельных граждан или кооператоров. Это позволит без новых капиталовложений значительно расширить количество кафе, прачечных, ателье и иных заведений сферы услуг, а также ослабить жилищный кризис в городах.

И большую часть жилого фонда надо передать в частную собственность. Право на бесплатные квартиры должны получить только беднейшие слои общества. Для остальных жилье станет непосредственно платным (в отличие от нашей системы «бесплатного» — оплаченного за счет недоплат к заработкам, вычетов и налогов).

Но для того чтобы граждане могли сами оплачивать жилье и другие услуги, необходимо изменить способ оплаты труда. В настоящее время заработная плата составляет остаточную величину после того, как вычтены все расходы на так называемые «бесплатные общественные фонды потребления». Основную долю заработанных средств следует выплачивать в виде заработной платы и лишь незначительную пускать на социальную благотворительность. При существующей системе распределения все работающие оплачивают бесплатные привилегии и услуги высших и частично средних слоев общества. Суть социальной реформы должна состоять в том, чтобы обеспеченные платили за привилегии бедных и немощных. Только в этом случае можно будет в очень сдержанных тонах начать разговор о социальной справедливости.

У нас нет сегодня выбора. Мы не можем оставить все как есть — продолжать инфляционную политику до тех пор, пока не наступит полная дезорганизация экономической жизни. Это — самоубийственный вариант политики. Общество восстанет против медленного и постепенного разрушения тех зыбких основ своей жизни, на которых оно до сих пор держалось. Не можем мы и пытаться удержать контроль над ценами, заработной платой и занятостью и одновременно ориентировать изъятые денежные потоки на нужды инвестирования. Этот соблазнительный и наиболее вероятный вариант политики, которым захочет воспользоваться нынешнее правительство, ориентированное на «третий путь» и «смешанную экономику», не даст нам желанного результата. Ибо у нас не сформированы еще те классы, которые подчинились бы правительственной политике «тонкой подстройки».

В нашей смешанной модели нам угрожают два фактора — экономическая безграмотность ряда правительственных экспертов, берущих на себя ответственность «регулировать» рынок еще до возникновения его институтов, и глухой и грубый синдикализм (корпоративизм), который будет саботировать всякое решение правительства и всяческие попытки посягнуть на их монополию. Наши «смешанные» корпорации и тресты будут всеми способами защищать свои интересы, пытаться обеспечивать своих членов всяческими льготами и привилегиями и принимать все возможные ограничительные меры, ведущие к сокращению доходов общества.

У нас есть только один путь — провести радикальную экономическую реформу в условиях жесткой дефляционной политики. Это и есть стратегия, которая создаст условия для выхода из кризиса и обеспечит переход к рыночной экономике и конвертируемому рублю.

Направление действий должно заключаться в высвобождении всех естественных сил, ведущих экономику к подъему, стимулировании и поддержке всех форм частного бизнеса.

Только соблюдение всеми участниками «правил игры» сможет обеспечить нам порядок. Управлять реформой должны не президент и не премьер-министр, а з а к о н.

Рэкет и полный административный произвол, направленный на грабеж кооператоров и индивидуалов,— естественное и закономерное продолжение нашей семидесятитрехлетней борьбы с «частным элементом», «торгашами» и «спекулянтами». Закон должен обеспечить защиту частной собственности, свободного предпринимательства и мобильности труда и капитала.

Личное стремление к наживе будет ограничено б е з л и ч н ы м и и м п е р а т и в а м и р ы н к а и подчиненно изменяющейся технологии производства. На место поддерживаемой административной системой дисциплины принуждения к труду и трудовой дисциплины придет д и с ц и п л и н а р ы н к а: конкуренция обеспечит отбор наилучших — наиболее эффективных. Свободные цены избавят от «планово-прибыльных» и «планово-убыточных» предприятий, предотвратят неправильное распределение людских и материальных ресурсов и прекратят производство вещей и услуг, в которых никто не нуждается.

Государству останутся только те функции, которые не может выполнять рынок.

Государство не должно иметь полномочий устанавливать какие бы то ни было комбинации с валютой, не должно иметь возможностей заниматься фальшивомонетничеством или его экономическими эквивалентами в виде безналичных операций и всякого рода валютных курсов, заключать мошеннические контракты и «портить» монету.

Необходимо снять ограничения в области внешней торговли и регламентаций внутренней торговли, устранить контроль над обменными операциями, перестать регулировать движение денег между странами, предоставить полную свободу использования любой валюты для заключения сделок и расчетов. СССР мог бы взять на себя обязательство не препятствовать свободному обращению на своей территории иностранных валют, а также свободному ведению банковского дела любыми организациями, легально зарегистрированными. Это ликвидирует возможность выпуска «денежных суррогатов» и будет обеспечивать относительную стабильность валюты.

Как избавиться от «плохих денег»?

В условиях, когда отсутствуют принудительные пропорции обмена, вымывание из обращения «плохих денег» происходит довольно быстро. Прямым последствием обесценивания денег является то, что любые товары с достаточным уровнем ликвидности начинают замещать при торговых операциях обесценившиеся деньги правительства.

Один из традиционных рецептов, осуществление которого представляется нам маловероятным,— это с д е л а т ь д е н ь г и з о л о т ы м и (то есть обеспеченными золотым стандартом).

Во-первых, это связано с непомерно большими затратами по добыче такого стандарта. Но этим можно было бы поступиться, если бы не второе обстоятельство, высказанное Ф. Хайеком: «Я бы даже согласился, что среди возможных денежных систем международный золотой стандарт — наилучшая, если бы я мог поверить, что большинству важных стран можно доверять в том, что они будут выполнять правила игры, необходимые для его сохранения. Но это кажется мне крайне маловероятным, а никакая отдельная страна не может иметь эффективного золотого стандарта: по своей природе это международная система и может функционировать только как международная система».

Второй рецепт — поддержание фиксированного обменного курса.

Если советские рубли не могут быть обеспечены золотым стандартом, то, может быть, возможно сохранение второго автоматического стабилизатора и ограничителя — ф и к с и р о в а н н о г о о б м е н н о г о к у р с а?

Здесь возникают два вопроса: возможно ли сохранение фиксированного курса валют в одной стране при плавающих курсах в других? И если ДА, то на каком уровне фиксировать рубль?

Попутно можно задать вопрос иностранным коллегам: выиграл ли что-нибудь западный мир от перехода к плавающим курсам и отказа от золотого стандарта? Нам представляется, что, отказавшись от традиционных стабилизаторов и ограничителей, они посеяли инфляцию, которая разыгралась в 70-е годы, что и привело к власти антиинфляционистов из консервативного лагеря.

Самый главный аргумент против подобного рецепта заключается в том, что отдельно взятая страна, вставшая на праведный путь жесткой денежной политики с фиксированным курсом валют, не сможет защитить себя от мировой инфляции.

Исходя из этого уже имеющегося в нашем распоряжении знания, можно было бы порекомендовать м я г к о е сокращение бумажной массы.

Первостепенным, непременным, необходимым, но недостаточным условием является запрет «монархам портить монету». Или, говоря языком политического лозунга,— «Правительство, руки прочь от печатного станка!», а на повседневном экономическом языке — жесткий контроль над размером денежной массы в обращении. Без выполнения этого требования остальные пункты программы смысла не имеют.

Объем денежного предложения должен определяться законодательно. Он не может превышать годовых темпов роста ВНП. Идеальной является автоматическая система регулирования количества денег в обращении. Но, поскольку не всегда ясно, что есть деньги и что деньгами не является, необходима процедура принятия решения. До тех пор пока Госкомстат представляет нам «лукавые» цифры и нет никакой возможности хотя бы приблизительно оценивать реальный рост ВНП, можно было бы воспользоваться формулой известного американского экономиста, Нобелевского лауреата М. Фридмана, по которой рост денежной массы не может превышать трех процентов. Однако радикальная реформа статистики и учета нам крайне необходима. Для того чтобы уберечь рубль от безответственного употребления финансовой власти и статистических манипуляций, необходимо на период формирования нового экономического механизма учредить функцию — Общественный контролер денежного обращения — с публикацией отчетов о состоянии дел. Наряду с этим учредить Национальную кредитно-денежную комиссию с функцией устанавливать ежегодно размер де-

нежной массы в обращении. Первейшей целью этого органа должно быть обеспечение стабильности ценности денег. При этом ответственные за денежную политику должны быть эффективно защищены от политического давления со стороны властей. Их главной функцией должно быть поддержание ценности денежной единицы в условиях свободного конкурирования валют на всей территории СССР и исключение воздействия политических конъюнктурных соображений.

Второе условие перехода к конвертируемому рублю: внутренний рынок должен обеспечивать платежеспособный спрос населения нужными ему товарами и услугами. Резкое расширение ассортимента подлежащих продаже товаров и услуг (право приобрести в частную собственность землю, средства производства, рабочий скот, грузовой транспорт и т. д.) автоматически ликвидирует основную часть «лишних» сбережений граждан. Ибо накопленные на счетах деньги избыточны лишь относительно нехватки товаров и услуг, отсутствия права использовать их как капитал (инвестировать), а также ввиду узости разрешенного к продаже ассортимента. Снятие всех этих «социалистических» ограничений автоматически решает проблему вынужденных «лишних» накоплений.

Для сокращения денежной массы в обращении и превращения всех видов «почти денег» в реальные деньги следует предпринять ряд дискреционных мер в рамках общей дефляционной политики.

В первую очередь надо пересмотреть бюджетные статьи расходов и резко сократить ту их часть, которая идет на финансирование промышленности и покрытие убытков в промышленности и сельском хозяйстве. Значительно сократить военные расходы. Передать часть военных заводов в гражданскую промышленность. Снять с бюджета все расходы по финансированию идеологии. Прекратить финансирование военной поддержки странам Азии, Африки и Латинской Америки. Продать через аукцион все замороженные объекты незавершенного производства, а также те предприятия сферы услуг и торговли, которые кто-нибудь пожелает приобрести в рамках аукционной распродажи.

Вырученные и сэкономленные деньги должны быть запакованы в мешки и изъяты из обращения до момента стабилизации денежного рынка. Часть дотаций, предоставлявшихся ранее на покрытие убыточности предприятий, следует передавать в фонд трудоустройства и компенсации тем, кто остался без работы в ходе перестройки производства.

Дотации на покрытие убытков колхозов и совхозов необходимо отдать вышедшим из колхозов, а также тем, кто желает вернуться в сельскую местность для обзаведения собственным хозяйством. Долги «разгосударствленных» колхозов и совхозов списать.

Оживление предпринимательской деятельности в условиях жесткой денежной политики значительно расширит объем предложения товаров и услуг, в течение короткого времени решит проблему «лишних денег», сбалансирует товарный и денежный рынок и избавит нас от неконтролируемой инфляции.

Без радикального изменения системы торговли, отмены всех форм талонов, спецраспределителей, так называемых «заказов», распродаж по институтам и заводам «дефицитных» товаров проблему конвертируемости валюты не решить.

Посетив любой крупный универмаг столицы, вы обнаружите в нем как минимум три «спецсекции»: секцию, в которой дефицит продают по талонам, секцию, в которой его же продают по инвалидным книжкам участников войны, и секцию без вывески, в которой дефицит «получает» партийно-административная элита. В каждом универмаге существуют «спецсклад» и «черный ход», через которые товары получают «по блату», «по звонкам» и с переплатой.

Переход к конвертируемому рублю предполагает отмену всех до единой форм талонов (может быть, за исключением талонов для немощных), закрытие всех форм «спецсекций», упразднение всех органов, занятых распределением и дележкой товаров. Все «выездные» формы торговли должны быть также упразднены. Торговля должна вестись в магазинах по рыночным ценам. Ассортимент разрешенных к продаже товаров должен быть существенно расширен.

Приспособление внутренних цен и заработной платы к мировому уровню надо проводить тотчас же. Все цены — от цен на зерно и продовольствие до цен на землю и труд — выпустить. Одновременно с проведением реформы по приватизации собственности (которая займет 1—2 года) необходимо повесить большой замок на станок, печатающий деньги. Установить законодательно размер налога — единого для всех доходов, постоянного (на ближайшие три года) и не прогрессивного, а в размере 20—30% (максимум) — также необходимо сразу. Так же, как сразу легализовать все доходы, объявив те из них, которые получены до момента, с которого начнется реформа, законными. Необходимо ввести запреты: использовать власть для ограничения конкуренции и недопущения новых производителей на рынок, запрет вмешиваться в коммерческие дела предприятий, изымать какую бы то ни было часть их прибыли, устанавливать любые налоги, выплаты, пошлины и т. д., запрет на всякие льготы тем, кто будет работать по госзаказам.

Опыт Британии, принявшей после 1-й мировой войны решение вернуться к довоенному золотому паритету и при этом растянуть процесс приспособления внутренних цен и заработной платы на десятилетие, свидетельствует в пользу форсированного перехода. Тогда для поддержания этого паритета был запущен медленный и крайне болезненный процесс дефляции, принесший обширную и продолжительную безработицу.

США подали другой пример. Здесь в короткий период (меньше года) от середины 1920-го до середины 1921 года денежная политика преуспела в уменьшении внутренних цен на 44 процента, вернув таким образом ценность доллара к довоенному уровню. Тяготы этого периода были велики, но были заложены основы быстрого восстановления благосостояния.

При быстром проведении реформы величина безработицы будет больше, чем при постепенном переходе. Но в этом вопросе я склонна поверить экспертной оценке Ф. Хайека: «Я не верю, что какое бы то ни было демократическое правительство способно в течение ряда лет выдерживать политику постепенного сокращения инфляции. Даже 20-процентная безработица может быть, по-видимому, терпима в течение 6 месяцев, если есть доверие, что в конце этого периода ситуация изменится. Но я сомневаюсь, способно ли какое-либо правительство в течение двух или трех лет настаивать на политике, означающей 10% безработицы на протяжении большей части периода».

Структурная перестройка экономики, начало которой положит означенная реформа, продлится 10—15 лет. Есть основания считать, что по прошествии этого периода наша экономическая система впишется в общий пульс мировой конъюнктуры и народ заживет на уровне, близком к среднеевропейским стандартам сегодняшнего дня. Самым уязвимым моментом нашей реформы является психологический аспект. Народ должен принять реформу, поверить в ее целительные свойства и отказаться от десятилетиями насаждаемой у нас догмы о социализме как светлом будущем и капитализме как эксплуататорском прошлом.

Признание грехов и покаяние — это только начальная стадия нашей реформы. Впереди нас ожидает трудный, болезненный, но жизненно насущный переход из мира тотального экономического и социального гнета в царство свободы и ответственности...

●

Леонид БАТКИН

Синявский, Пушкин — и мы

«Подите прочь...»
Александр ПУШКИН. 1828 г.

«Дорого дали бы мы, чтобы узнать, что именно пленяет в Пушкине современного русского читателя. Может быть, когда-нибудь и узнаем...»
Георгий ФЕДОТОВ. 1937 г.

На белой глянцевой обложке неловко сгорбившийся автор, седобородый, в ушанке, ватнике, рукавицах и валенках, разговаривает на ходу с чернявым щеголем, усмехающимся, в цилиндре, неожиданно высоким. Им просторно внутри проволочного обрамления. И тени их — сливаются[1].

Сразу вспоминается какой-то пушкинский рисунок, только там была, кажется, петербургская набережная? А рядом — кто-то другой, не помню, Вяземский или Плетнев; да неважно.

Новый век — и новый приятель у Александра Сергеевича. Это-то в порядке вещей.

Но что за название?! — вызывающее недоумение или возмущение поклонников Пушкина уже до чтения (и, по правде, вместо чтения). Название небрежное и с исчерпывающей точностью указующее на фундаментальную идею книги, обманывающее мнимой фамильярностью. Дело в том, что автор, наивно рассчитывая, будто книга будет дочитана, окончательно разъясняет высокий смысл названия лишь на последних двух страницах...

Бедолага!

Название слишком серьезно; также и эпиграф из «Ревизора»; вообще у Синявского любое будто бы случайное замечание, наблюдение, частность имеют глубочайшее отношение к целому, все тщательно обдумано, а легкомысленные шуточки — особенно. Но надо же предупреждать!

«Лук звенит, стрела трепещет, / И клубясь издох Пифон, / И твой лик победой блещет, / Бельведерский Аполлон!» В названии автор со звоном спускает тетиву — стрела, скрывшись с глаз, летит сквозь всю книгу и трепещет в самой-самой последней фразе — после чего, естественно, приходится перечесть книгу внимательней: с конца.

Именно это я и собираюсь сделать.

Но сначала о свойствах, которые загадочно совмещены в существе и в судьбе «Прогулок».

Это в высшей степени внутренне свободная (и потому очень пушкинская) книга. Она свободна не только от поверхностного пиетета, от «сплошного популярного пятна с бакенбардами», от натужного и фанатичного, брызгающего слюной якобы «народного» преклонения (хотя в реальном народе возник странно «лубочный, площадной образ» поэта: «Кто заплатит? — Пушкин» и т. п.). Она свободна не только от врезающихся в шею целлулоидных воротничков пушкинистов и не только от всех видов идеологического (официально-советского, православно-религиозного, почвеннического, моралистического, революционаристского или антиреволюционаристского, подыгрывающего «Вольности» или «Клеветникам России», Евгению с Парашей или «кумиру на бронзовом коне») — от всех видов идеологического приспособления и укорачивания Пушкина.

Книга Синявского свободна не только в указанном слишком очевидном смысле, не только «от» того-то и того-то (хотя и этого было бы достаточно, чтобы признать ее выдающейся). Она перенимает у поэта «тайную свободу», делая ее пьяняще явной. Терять больше нечего, и вот уже вся жизнь, целый мир во власти автора — «Кавказ подо мною. Один в вышине...» и пр. Синявский захвачен открывшимся ему горизонтом. Отсюда этот порой отчаянный тон, никакой не «эпатаж», потому что Синявскому плевать на тех, кого «дерзости» и «грубости» в адрес Пушкина могли бы эпатировать. Ему не до таких пустяков, мозг его слишком занят. Чем? А вот посмотрим.

Но скажу тут же: и от своего фамильярного, дерзкого тона по отношению к Пушкину тоже свободен Синявский, то и дело беззастенчиво переходящий к откровенному восторгу перед героем книги, к еле сдерживаемому обожанию и пафосу. Читая Пушкина, он, как булгаковская Маргарита, намазавшись чудодейственной мазью, взвивается нагишом над крышами, готов закричать, как она: «Свободен! Свободен!» В том числе, как мы убедимся, и от себя, от любого, пусть даже высказанного им же сию минуту, односторонне заостренного, частичного взгляда на Пушкина.

Тот, кто не почувствовал, что подчас неслыханно «сниженный» тон Синявского — скажем, насчет молоденького лицеиста, «насобачившегося хилять в рифму», «проворного» с барышнями «пятнадцатилетнего пацана» и т. п.,— что этот веселый перевод на современный жаргон стихотворных и эпистолярных непринужденностей самого Пушкина есть лишь одно из проявлений владеющего автором восторга жизни, восторга вдруг открывшегося перед ним понимания Пушкина, поэзии, творчества, спасения, божества! — ай да Синявский, ай да сукин сын! — кто не почувствовал этого, тот ничего не понял в «Прогулках», в их интонации, в их тотальной свободе.

Словно в гоголевской «Страшной мести», земля становится видна во все стороны до последних пределов; все слова, приподнятые ли, бытовые ли, литературоведческие, грубые, принадлежат единому, не разорванному и не иерархизированному языку и сознанию. Для каждого находится время и место, каждое слово в строку, если уж Пушкин — представьте себе, действительно! — «наше все». То-то, что все.

И вот такая, до озноба, пушкински свободная, счастливая книга — была написана в концлагере. Это по меньшей мере удивительно и даже не умещается в голове. Возможно, только русским человеком, только на отечественных нарах она и могла быть написана?

Что ж. Если вам надобно непременно чем-то национальным «гордиться» — так гордитесь же, черт возьми, книгой Андрея Донатовича Синявского.

Удивительно еще вот что. Перед нами в высшей степени утонченное сочинение. «Насобачившийся хилять в рифму» и тому подобное Синявский позволил себе благодаря именно рафинированному характеру книги, «легкокрылому состоянию духа», природному изяществу. Просторечие и грубая откровенность всем этим смягчаются, вводятся в широкий стилевой контекст — и сами сознательно смягчают, уравновешивают эстетизм, который мог бы показаться чрезмерным. Вот так в быту любил просто и смачно изъясняться Бунин (и Пушкин... и не только в быту, в письмах, но и в рифму).

У Синявского грубые повадки аристократа. Лагерь здесь ни при чем.

«Прогулки» рассчитаны, конечно, на артистизм читателя. Для читателя иного склада они малодоступны и не должны бы вовсе его интересовать.

И вот разве не странно, что столь изысканная вещь стала предметом громкого, невероятного публичного скандала? Ну хорошо, скандалы были вокруг «Госпожи Бовари», «Улисса», «Лолиты», то есть задевших «общественную мораль» романов... но я не припомню, чтобы столько шума было поднято по поводу литературоведческого эссе. В «Прогулках» почти никто ничего не понял. Да и мало кто читал. Но зато все наслышаны. Цитируют несколько одних и тех же выковырянных «ужасных» фраз...

Через сто лет, через двести лет почти невозможно будет понять не только как такая книга могла быть написана на каторге, но и почему она стала предметом такой ненависти...

«Через двести лет»? Ну да. Или вы полагаете, что через двести лет перестанет волновать тайна пушкинского обаяния? А ежели не перестанет, то и книга Синявского будет жить — мудрая, раскованная, отточенная, вертлявая, живая, и тяжелая, и матово поблескивающая, как ртуть. Возможно, самая оригинальная работа о Пушкине из всех сделанных когда-либо.

Притом — и это третья удивительная черта — никак нельзя было бы сказать, что Синявский предложил некую новую концепцию пушкинского творчества. Напротив. Автор всей душой доверился общему месту, которое с похвалой или осуждением твердили о поэте полтораста лет. О том, что Пушкин — художник с головы до пят; можно сказать, он чистейшее воплощение художества, он сама поэзия, и ничего более...

Почему Синявский ограничился столь избитой идеей? Да просто потому, что она верна. Или по крайней мере верней, чем любая иная идея о Пушкине.

Однако, во-первых, Синявский, как никто до него, видит и обдумывает Пушкина сразу всего, в бесконечной панораме («стою над снегами у края стремнины...»), не отождествляя, но соединяя творчество и биографию, глубины поэтики и человеческие замашки, мальчишку из Лицея и его зрелые лета, берет даже не только Пушкина, но и социально-психологическую ауру вокруг него, друзей, сплетни любопытствующей публики, ставит рядом отзывы Энгельгардта, А. Тургенева, Писарева... не пренебрегает и воспоминаниями Ивана Александровича Хлестакова, и уличным, фольклорным Пушкиным и тут же погружается опять в

[1] См. издание: Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. Париж, 1975.
Вскоре это произведение выйдет в свет в журнале «Вопросы литературы» и издательстве «Советский писатель».

бездны «Годунова» или «Медного всадника». Весь последующий опыт большой русской литературы не обязательно неожиданно поминается, как, например, Чехов и Маяковский, но тоже втянут в оком, подразумевается, подпитывает анализ. Пушкин в «Прогулках» редкостно не разорван на «прозрения» и «падения», на пресловутый Дух и бытовое существование, на художника и «мыслителя», на важное и пустяки, на «стороны» и «этапы». Все важно в загадке Пушкина, и нет пустяков, не имеющих к ней сокровенного отношения.

Во-вторых, традиционная, в сущности, концепция проведена через изгибы и повороты, на каждой страничке и чуть ли не в каждом абзаце ее встряхивающие и неузнаваемо освежающие. М. Л. Гаспаров, если я правильно припоминаю, заметил как-то о Тынянове, что тот не доказывает, а убеждает. Синявский близок к Тынянову в этом, как и, очевидно, во многом другом. Я бы только добавил, что у Синявского скорее читатель *сам убеждается*, будучи вынужден — при такой быстрой мыслительной езде, подхлестываемый удалыми ямщицкими возгласами (ассоциациями, формулировками, парадоксами) автора, при виде стремительно мелькающего окрест пушкинского пейзажа и рискуя вывалиться из саней,— вынужден останавливаться, припоминать, перечитывать Пушкина, додумывать, проверять, спорить и, пожалуй, соавторствовать с Синявским. Ибо Синявский пишет для тех, кто обуян Пушкиным и осведомлен ничуть не хуже автора, для тех, кому и намека довольно, кто сам разгуляется на всякую заданную тему, ежели автору не с руки задерживаться, интересней поспешать дальше.

Не так называемый «вывод» хорош в этой книге, не чтó сказано, а как сказано — и не по части звонкости, пластичности (это уж само собой), а в отношении поразительно свежего смысла, богатства логических связок, обертонов, короче говоря, в отношении интеллектуального движения прозы Синявского. Следить за «Прогулками» — сладкий труд.

Но мы, боюсь, разучились читать? Смотрим в книгу и видим фигу.

Синявский объявляет о своей задаче в первой же фразе: «При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, *в чем его гениальность* (выделено тут и всюду далее мной.— Л. Б.) и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе».

«Выразить» сие — цель не новая, а если угодно — всегда новая, замах грандиозен; но, кажется, цель сформулирована ясно.

Однако кто поверил автору, кто, скажите, принял первую фразу всерьез, в прямом ее значении?

Никто, кроме двух-трех простофиль, не поверил.

Не поверил, что «любовь», «поклонение» и «пальму первенства» Синявский признает и разделяет со всеми, но, приступая к анализу, выводит за скобки вместе с прочими очевидностями.

«Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин...» Как это «позволительно»?! Как допустимо чье-то хотя бы «предположение» (на манер Писарева) об отсутствии в каком-либо крупном сочинении Пушкина, скажем, в «Домике в Коломне», «чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить», хотя бы и сам Пушкин заключал, что из этого его рассказа «больше ничего не выжмешь»?!

А вот как. Дело даже не в неуместности для желающего «*постичь Пушкина*» входить к нему с «парадного входа, заставленного венками и бюстами», а в том, что бессмысленно, бездарно начинать с посылки, что Пушкин (или Шекспир, или Моцарт, или Леонардо да Винчи...) «велик». Лучше бы попридержать пока про себя привычное представление. Если ты с этого начинаешь исследование, стало быть, ты знаешь, почему, чем именно велик? А если ты это уже знаешь, тогда отпадает надобность в исследовании, размышлении, открытии. Тот, кто так начинает решение задачи подобного рода («в чем гениальность Пушкина»), тот плохо кончит.

Синявский не отбрасывает гневно сомнения насчет величия и величественности Пушкина: более того, охотно делает исходным пунктом своих рассуждений даже не подозрения во всего лишь «изяществе» и «вкусе», в безответственном эстетизме Пушкина, но нечто крайнее и невероятное — уличные анекдоты о нем, его «карикатурного двойника»!

Необыкновенно сильный ход! Шахматисты ставят в таких случаях сразу три восклицательных знака. Начать книгу о природе пушкинской гениальности с «Пушкиншулер! Пушкинзон!».

Иные читатели тут же, сбитые с толку, багровеют и пучат глаза, уже не замечая указания, что нужно, само собой, «отбросить не идущую к Пушкину и к делу тяжеловесную сальность этих уличных созданий, восполняющих недостаток грации и ума простодушным плебейским похабством».

Все равно Синявский посмел фантастически начать труд о существе пушкинской поэтики с реплики буфетчика из «Мастера и Маргариты», полагая, что (за вычетом всего вульгарного) в чем-то — и весьма существенном! — «этот лубочный образ» «причастен» «к тому *прекрасному подлиннику*, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче».

Давайте все же устоим на ногах и запомним первый мотив, который автор предполагает каким-то образом «в том настоящем Пушкине» и который, возможно, породил этот беспрецедентный в ис-

тории литературы «скабрезный хлам» и уличную фамильяризацию его образа,— «нечто располагающее к позднейшему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпы». Что же это? «Всюду сующий нос, неуловимый и вездесущий, универсальный человек Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается».

Не согласимся? Правильно, зачем соглашаться с Синявским с первого же его захода? (Даже зная ответ на эту эксцентрическую загадку Абрама Терца, подсмотрев в конце задачника: кто таков вообще Художник.) Но расслышим по крайней мере вдруг ноту бесконечного сочувствия и боли в будто бы безоглядно-непочтительном тексте насчет «нашего Чарли Чаплина», «прифрантившегося эрзац-Петрушки» — вот это мимолетное сравнение с трагическим шутом кинематографа, и многозначительное «расквитается» (вместо «заплатит» о Пушкине в словаре буфетчиков), и это усталое «на потеху толпы», и далее: «превратив *одинокого гения* в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей».

Запомним оппозицию (и вместе с тем оборачивание): «одинокий гений»! — «завсегдатай танцулек».

И продолжим чтение, тем более что следующего шага долго ждать от Синявского никогда не приходится. Следующий шаг (вместе с переменой интонации и ритма) — в следующем же абзаце...

...поскольку площадной фольклор в уродующих зеркалах отражает пушкинскую чрезвычайную легкость — и как свойство стиха, и «в отношении к жизни». Сродни, по ассоциации Синявского, с «танцевальным искусством Истоминой».

«Летит, как пух от уст Эола...»

«Но прежде чем так плясать, Пушкин должен был пройти лицейскую подготовку — приучиться к развязности, развить гибкость в речах заведомо несерьезных...» Автор же как раз страшно серьезно относится к этим (замечаемым нами годам к двенадцати, а в зрелом возрасте снисходительно забываемым) шаловливым опытам Сверчка: к дружеским посланиям, экспромтам, игривым амурным сценам на манер французского XVIII века и прочим «ленивым», якобы набросанным в постели, с нарочитым пренебрежением к званию пиита, первым пушкинским пробам пера. Указав в духе теорий Тынянова, что эта «установка на *необработанный стих*», на то, чтобы научиться писать «плохо», «между прочим, шаляй-валяй», упражняясь в маргинальных, бытовых, «вздорных» жанрах («Пушкин начинал с того, чем кончил Маяковский»), была не чем иным, как технической выработкой «раскованности мысли и языка», «свободы слова, не слыханной еще в нашей словесности» и конкретным уходом от велеречивости классицизма,— Синявский соответственно придает большую важность виртуозным эротическим безделицам юного поэта. Что не мешает ему развеселиться и тоже впасть в игривый тон, без коего литературоведческие утверждения насчет такого нескромного предмета прозвучали бы, пожалуй, несколько надуто, скопчески, смешно.

И вот, вот она, эта знаменитая фраза, взбесившая и надолго приковавшая внимание ратоборцев за Пушкина и Отечество!

«На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох».

«Тонкие эротические ножки» произвели такое сильное впечатление, что всем запомнилось лишь, на чем вбежал Пушкин, но не куда и с каким эффектом. В большую поэзию, господа! «И произвел переполох» в ней на сотни лет вперед. Читая возмущенные отповеди Синявскому, я не в силах уразуметь, почему в этом предложении не замечают ничего, кроме «тонких ножек».

Что ж, и табак, который «рассыпался на грудь» красавицы («Ах, отчего я не табак!»); и целая поэма под названием «Монах», воспевающая исключительно женскую юбку, в рассуждении прелестей, коим она служит «единственным покровом»,— «тех мест, где юный бог / Покоится меж розой и лилеей»; и решительные приемы Филона, догнавшего Хлою и повалившего-таки ее «на траву душистую»; и «Леда» с дурашливым подзаголовком «кантата»; и «пастух изумленный всю прелесть узрел», и много чего еще (позже окончания Лицея тоже) — никуда это ведь из жизни и поэзии Пушкина не выкинешь, не так ли? Также и влияние не только «фернейского старичка» и Парни, но и Баркова.

В Лицее пели: «А наш *француз* / Свой хвалит вкус / И матерщину порет». Может быть, товарищи еще не догадывались, что это — Пушкин. Сам же о себе он написал во французских стихах: «Я — молодой шалун... балы мне весьма по вкусу, и, если говорить начистоту, сказал бы я, что еще люблю, когда бы не был в Лицее... каким господь меня создал, я и хочу всегда казаться. Сущий бес в проказах, сущая мартышка лицом, много, слишком много ветрености — вот вам Пушкин». Тут и веселость, и самоирония, и, так сказать, мировоззрение, и много достоинства. Значит, по крайней мере сам он в пятнадцать своих лет догадался, что — Пушкин. Да и когда стал великим поэтом, от «ветрености» не зарекался — не просто из-за жизнелюбия или какого-то легкомыслия, но ввиду ее органичности для состава и строя его художества. При размышлениях о поэзии первым делом ветер приходил Пушкину в голову... ветер, бесцельно крутящийся в овраге.

Синявский справедливо полагает, что «эротика была ему школой» в «уменье вертеть стихом». Так юный Пушкин «вбежал в поэзию» — прелестный, био-

графически точный глагол. Тут-то Державин его и заметил...

Смысловая цепочка пока такая: образ «вертлявости и какой-то всепроникаемости» площадного, фольклорного «Пушкина» — особая глубокая легкость в отношении к миру у настоящего Пушкина — «легкость в стихе» как необходимое формальное условие этого в первых же опытах («До Пушкина почти не было легких стихов. Ну — Батюшков. Ну — Жуковский. И то спотыкаемся») — связь предвещавший переворот в поэтике «легкости» с *жанром* «безделок» и с эротическим *материалом* («Естественно, эта ветреность не могла обойтись без женщин»).

Ну, и что дальше? Дальше еще, между прочим, вся книга А. Терца. Вся ее логическая структура (бесполезно выщипывать отдельные фразы).

Дальше — разбегающаяся Вселенная Пушкина.

Пока неповоротливые моралисты продолжают толпиться вокруг «тонких эротических ножек», Синявский торопится — от самого простого ко все более сложному, громадному.

«Но что это? Егозливые прыжки и ужимки, в открытую мотивированные женолюбием юности, внезапно перенимают крылья ангельского парения?.. Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдаленных вершин духа (не уставая попутно производить и подкармливать гривуазных тварей низшей породы)».

Думаю, что мы поступили бы глупо, если бы стали в противовес выписке насчет «эротических ножек» или того, что он «проник в дамские спальни» (хотя бы и нетрудно было составить — и составляли — длинную опись таких спален, как в стихах, так и в жизни, куда он впрямь успешно проник),— если бы мы, споря о книге Синявского, принялись выписывать иные фразы, вроде выделенных выше. В «Прогулках» сколько угодно сказано о трепетности и о вершинах духа, так что можно бы в очередной раз одурачить почтеннейшую публику, их не читавшую, доказывая посредством цитат (наберется не меньше), что Синявский высматривает у поэта не плотскость, а духовность, не — изыди, Сатана! — телесный низ и ерунду земного быта, но — Бытие, но — гения чистой красоты, чуть ли не в обществе одних лишь отцов-пустынников и дев непорочных... Предоставим строить концепции о Пушкине вокруг объявленных наиважнейшими у него 16 строк этого стихотворения 1836 г. нашим Билли Бонсам с черной повязкой поверх идеологического бельма. Не уподобимся им.

Синявский же завороженно смотрит на Пушкина в оба глаза.

Его поражает не то чтобы возможность — да нет, могущественная неизбежность сублимации, заложенная в природе человека и искусства. «Демон» и «гений» исходно — например, для неоплатоников — синонимы. Демонична, гениальна, человечна способность Пушкина то опускаться на дно морское, то полететь за облака. Соответственно «небесное созданье», как небезосновательно примечает автор, «способно обернуться распутницей», а та «не теряет надежды вновь при удобном случае пройти по курсу мадонны». Острите, острите, Андрей Донатович, уравновешивайте развязностью слога свою неуместную для мужчины растроганность, скоро мы вас разоблачим, застигнув проливающим слезы в три ручья в уединенной беседке около дома Лариных.

«Пушкинская влюбчивость... принимает размеры жизни, отданной одному занятию». «Она, как дух, проходит мимо»,— молвил Пушкин, и мы робеем как бы в прикосновении тайны».

В великолепном экспресс-анализе «Руслана и Людмилы» («нарочитое дезабилье романтизма», «елка в игрушках», которая «и стоит поныне — у колыбели каждого из нас; у лукоморья новой словесности»,— так пишет Абрам Терц, т. е. сбежавший в Одессу бородатый Черномор, затравленный Верными Русланами) автор обнаруживает, как эротика, ничуть не теряя откровенности, запыхавшись, разрешается «пропастью мечтательности» и «переносится в воздух — на ветер сердечной тоски, вдохновения!».

«Я дам тебе все, все земное — люби меня!..» Впрочем, это, как известно, не у Пушкина. «Дыша духами и туманами, она садится у окна». И это не из Пушкина. Но у Пушкина уже в юношеской поэме куда смелее «стирается грань между эротикой и полетом... он ухитряется сохранять ненаигранное целомудрие в самых рискованных порой эпизодах».

Ибо Пушкин, в отличие от Лермонтова или Блока придя первым, являет первобытную, пастушескую, ветхозаветную силу соединения простодушной откровенности и воспарений. Синявский особенно приходит в восторг от того, что концовка сцены неудачливой погони петуха за курицей звучит в поэме «чисто и возвышенно»: «Он видит лишь летучий прах. / Летучим ветром занесенный»... И, напротив, в примелькавшихся строках ожиданье «минуты вольности святой» — «принимает форму безотчетного волнения крови» перед любовным свиданьем. Взаимное оборачивание возвышенного и плотского.

Итак, продолжение смысловой цепочки в размышлениях автора такое: ...эротика — универсальный Эрос, распространение чувственности на весь мир, любовь ко всему, чем жив человек, к духу его, и вот уже: «Блажен, кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов»! Эротика не отброшена (о, сие до конца недолгой жизни!), но очень рано вместе с тем переплавлена в истинно пушкинскую Троицу — Поэзии, Любви (эроса) и Свободы.

Внимание! Не переводя дыхания автор

переходит от усвоенной Пушкиным с младых ногтей «амурной мимики» к решающим, сквозным, высшим мотивам его творчества. На этом переходе мы с полуслова окажемся в обществе хорошенькой провинциальной барышни, таящей в себе — довольно неожиданно не только для Онегина — все мыслимые богатства «всепонимающей женской души». И, может быть, поймем наконец, почему Синявский начал — подчиняясь, однако же, последовательности в биографии и в собрании сочинений — с «тонких ножек» подростка-лицеиста, с нескромного женского угодника. Может быть, даже простим Пушкину и Абраму Терцу эти самые ножки, отвлечемся, забудем о них.

«Открыв письмо Татьяны, мы — проваливаемся. Проваливаемся в человека, как в реку...» Монолог автора о Татьяне Лариной пересказывать нелепо. Это не о Татьяне, а о Пушкине — и слишком интимно, без кожи. Основная мысль: трогательная чистота, идеальность души ее были заповеданы вовсе не Онегину, а самому Пушкину, не случайно ведь назвавшему бедную Таню «своею». Это Пушкину писала она: «Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой»; это поэту она являлась средь одиноких прогулок, и «сама из рук моих свирель она брала»; словом, это его Муза. И прежний союз «любви — свободы — поэзии» «осиял ее девичество». Эким слогом заговорил притворный циник Терц!

«Боже, как хлещут волны, как ходуном ходит море, и мы слизываем языком слезы со щек, слушая этот горячечный бред, этот беспомощный лепет в письме Татьяны к Онегину, Татьяны к Пушкину или Пушкина к Татьяне, к черному небу, к белому свету...»

Помолчим немного.

От «поэтической лени» лицеиста, беззаботной ветрености и эротики смысловая цепочка, стало быть, ведет нас к сублимации любви и расширению на весь мир, к ее совпадению со свободой и поэзией, к особой концентрации этого триединства в мечтательной Татьяне Лариной и далее — прыг! через фразу о том, что, «подобно Татьяне, Пушкин верил в сны и приметы»,— к пушкинскому *чувству судьбы*, т. е. к «лени» в еще более высоком значении.

«Лишь я судьбе во всем послушный, / Счастливой лени верный сын, / Всегда беспечный, равнодушный...» «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?» От судьбы не уйдешь, но ей можно довериться: «лень... разновидность смирения, благодарная восприимчивость гения к тому, что валится в рот»; «расчетливый у Пушкина — деспот, мятежник, Алеко». Или Годунов, или Германн. Именно расчетливый-то и проигрывает. А тот, кто (как персонажи «Выстрела») верит в «случай на службе рока», не проигрывает... только разве что гибнет: «по соглашению судьбы и свободы». Так гибнет ленивый гений Моцарт («ленивый, значит — доверчивый, незлобивый»), так скончает дни Пушкин — по законам своей же поэтики... (Синявский начинает издалека подбираться к своему пониманию гибели Пушкина.)

С каждой страницей проза Синявского становится все гуще и гуще. Все драматичней и неуклонней — как и у Пушкина, «самого круглого в русской литературе писателя»,— ее причудливое, вроде бы случайное петлянье, замысловатая интеллектуальная интрига книги, тоже вдруг замыкающая нас, удивляющихся и порой противящихся, «в кольцо, под замком» концепции автора. Цитировать хочется уже сплошь, подряд. Как раз поэтому придется сделать прочерчиваемый здесь смысловой пунктир более прерывистым.

Судьба, «слепая случайность, возведенная в закон»,— «потеря цели и назначения», но зато новое обдуманное ощущение не только личной судьбы, но Истории, т. е. замена ее религиозного понимания пониманием поэтическим; любовь к игре в карты; обретение человеком, которым играет жизнь и который играет жизнью, ни с чем не сравнимой, новой, личной свободы (именно благодаря безличному Року). Не обреченность, а трагическая и все же неподдельная веселость.

Обретение, да, пустоты! но пустоты, хотя и «чреватой катастрофами», однако же «учащей жить на фуфу, рискуя и в риске соревнуясь с бьющими как попало, в орла и в решку, разрядами, прозревая в их вспышках единственный, никем не предусмотренный шанс выйти в люди, встретиться лицом к лицу с неизвестностью, ослепнуть, потребовать ответа, отметиться и, падая, знать, что ты не убит, а найден, взыскан перстом судьбы...». Так что пушкинский Случай — «уже не пустяк, но сигнал о встрече, о вечности — «бессмертья, может быть, залог»». У нас еще будут поводы вспоминать этот длинный и столь значительный пассаж. Ведь и о себе невольно думается Абраму Терцу.

...Чувство судьбы как бессмертного случая — «пародирование истории и Шекспира» (выражение самого поэта) — отношение Пушкина к литературной традиции, перевертывание сюжетов — соотношение пародии и «анекдота», т. е. разрушения формы и ее внезапного восстановления через быль — и снова к биографии, к бесчисленным дуэлям, где Пушкин «проверял свой жребий». И вот Синявский впервые напрямую заговаривает о последней дуэли — об ее леденящем согласии с пушкинской «программой жизни»: «Случайный дар был заклан в жертву случаю... У рока есть чувство юмора. Смерть на дуэли настолько ему соответствовала, что выглядела отрывком из пушкинских сочинений».

«О, рогачей заступник и хранитель, / Молю... / Даруй ты мне беспечность и смиренье... / Спокойный сон, в супруге

уверенье, / В семействе мир и к ближнему любовь!»

«Ближним оказался Дантес. Все вышло почти по-писаному... за судьбой оставался последний выстрел, и она его сделала с небольшою поправкой на собственную фантазию: в довольстве и тишине Пушкину было отказано».

О Пушкине и о себе. О Пушкине — и о себе...

После поначалу озорного, «легкокрылого» движения книги — и не так уж далеко забравшись в ее глубь, отойдя на четверть пути — нам становится страшно, как Германну при вглядывании в даму пиковой масти. Все больше открывается простора с каждым шагом «Прогулок», но все меньше воздуха в груди у читателя. Тон по-прежнему и все более раскованный, но и боль нарастает.

Боль за Пушкина.

Боль за художника. А значит, и тщательно скрываемая личная боль. Ведь деление это хотя бы отчасти — условно. Каждый художник и даже каждый из нас в меру самой малой художнической толики в каком-то уголке жизненного поведения и души, в качестве личности, способной сесть за карточный стол с судьбой, разыграть себя в воображении и решиться быть собою — умирает на своей черной речке.

Даже читатель-тугодум, добравшись до страниц о «Цыганах», должен бы сообразить наконец-то, о чем написаны «Прогулки».

Они резюмируются в одном слове.

Это слово — разумеется, СВОБОДА.

Человеческая свобода жить, пусть не так, как хочется, пусть в тисках судьбы, но именно судьбы, а не просто «обстоятельств», т. е. своей и только своей судьбы, добровольно-принудительной... Свобода художника, художническая воля и доля — как самое концентрированное выражение человеческой свободы вообще.

А. Д. Синявский исходит из поэтики Пушкина, ею же и заканчивает. Но внутри этой бесконечной спирали — «Пушкин в жизни», контрасты и переходы от поэта к человеку в нем, от человека к поэту в нем, к художественному жесту, к поведению в поэзии. К пушкинскому способу «глупо швыряться жизнью», равно и «дуриком входить в литературу». «Дуриком»: значит, не по правилам прежней поэтики.

Потому-то книга о творчестве прошита горькими, гордыми, мрачно-шутливыми, непочтительными замечаниями о жизни поэта, который был столь непочтителен к собственной жизни, к себе как человеку, к Евгению в себе, сочувствуя ему (себе), но как-то свысока и небрежно, ибо зная постоянно также высшее, Художника — в себе, валяющем дурака в Кишиневе, распутничающем, щеголяющем каким-то невероятной длины ногтем на мизинце... да чего уж там... «среди детей ничтожных мира» и пр.

Согласны мы или не согласны, что смерть на дуэли — как отрывок из сочинений Пушкина («Баратынский был шокирован его гибелью», «Колорит анекдота был выдержан до конца») — кто же мешает иметь другие понятия о Пушкине? Да Бога ради! — но поймите же и Синявского, когда он видит, как Пушкин с хладнокровием Сильвио целит себе же в лоб.

Рассуждения о пушкинском подчинении судьбе в книге неотвязны. Они возобновляются рассказом «старого лагерника» о Пушкине.

Судьба как «статья»...

Здесь впервые — но в последний ли раз? — прорывается с такой очевидностью личный, сокровенный автобиографический обертон книги о Пушкине.

«В общении с провидением достигается — присущая Пушкину — высшая точка зрения на предмет, придерживаясь которой, мы почти с удовольствием переживаем несчастья, лишь бы они содействовали судьбе. Приходит состояние свободы и покоя, нашептанное сознанием собственной беспомощности».

Сказано удивительно.

Художническая, а не политическая страсть привела Андрея Донатовича в лагерь; и недаром. Там он созрел и окончательно стал новым писателем — там и с п о л н и л о с ь... И там он понял, как мог, что такое художество, и Пушкин стал ему порукой и защитой.

После мотива судьбы, после «смиренной вольности» «Цыган» и дышащей счастьем фразы зека, слывущего ругателем Пушкина,— «Смирение и свобода одно, когда судьба становится домом и доверие к ней простирается степью в летнюю ночь»,— куда же еще непредсказуемо перебереться его мысль?

На луну!

От кочевничества по белу свету — к ней, тоже бродяжничающей, влюбчивой, как Земфира или Пушкин, одинаково заинтересованно (и в этом смысле «равнодушно») озаряющей все, свободной, как цыган или... поэт — кто в небе место ей укажет?

«В луне, как и в судьбе... залог и природа пушкинского универсализма». Собственно, Пушкин, любивший лунный свет, почти все сказал сам. А Синявскому как бы оставалось только заключить со спокойной уверенностью старого цыгана: «Пушкин взглянул на действительность с высоты бегущей луны» и пр.

И вновь я вспоминаю, что это написано в лагере — и перехватывает дыхание.

Свобода — табор — луна — ?.. Бал! Ну, конечно же, «шумный бал» (т. е. «образ легко и вольно пересекаемого пространства, наполняемого пестрым смешением лиц»).

Далее очень характерный для метода Синявского абзац, предваряемый выпиской: «Друзья! не все ль одно и то же: / Забыться праздною душой / В блестящем зале, в модной ложе, / Или в кибитке кочевой?» Ясно — одно и то же. Светскость Пушкина родственна его страсти к кочевничеству». Просто и нетривиально. И ведь верно?! Страсть вечно куда-то скакать правит бал. Цитата вытекает из мысли Синявского так же естественно, как и мысль из цитаты. Табор — луна — бал: мотивы, варьирующие вселенское кочевье поэта... Затем в подтверждение (кто до Синявского вспоминал эти проходные строки из «Онегина» в таком значительном контексте?): «Там будет бал, там детский праздник. / Куда ж поскачет мой проказник?» И кто, кроме Синявского, процитировав это двустишие и любя Пушкина куда больше, чем тот своего Онегина, заметил бы удовлетворенно: «Наш пострел везде поспел — можно смело поручиться за Пушкина».

Вы еще не успели заглотнуть эту веселую фразу, а в следующей мысль принимает новый оборот: «Недаром он (Пушкин) смолоду так ударил по географии. После русского Руслана только и слышим: Кавказ, Балканы...» До конца абзаца остается лишь две фразы; автор, однако же, не теряет времени, собирая «и финна, и ныне дикого тунгуса, и друга степей калмыка» — «в одну шайку» «Братьев-разбойников». Уф-ф! Да можно ли единым быстрым взглядом — не дольше табачной затяжки — обвести сразу и «Руслана», и «Братьев», и «Памятник» вместе с «Онегиным»? Оказывается, можно. «То был мандат на мировую литературу», говорит Абрам Терц, выпуская наконец абзац колечком дыма под потолок.

А дальше — чего уж там, все равно книгу не простят! — можно сказать: «Легкомыслие становилось средством сообщения с другими народами, путешественник принимал эстафету паркетного шаркуна»...

Почти каждая фраза сентенциозна, и от каждой разбегаются морщинки припоминаний на лбу у читателя. «Куда ни сунемся — всюду Пушкин... за всех успел обо всем написать... застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед»,— с восторгом пишет о нем, словно узнав впервые, открыв для себя и открыв как себя, дикий тунгус Синявский.

«ГУЛЯЯ СЕГОДНЯ С ПУШКИНЫМ, ты встретишь и себя самого». Какое признание! Таких прогулок не запретишь, не отнимешь ни у кого.

В названии книги нам впервые приоткрывается интимная доверительность. Или, если угодно, высшая объективность истины о Пушкине: «он стал российским Вергилием и в этой роли гида-учителя сопровождает нас, в какую бы сторону истории, культуры и жизни мы ни направились».

«Я, нос себе зажав, отворотил лицо. / Но мудрый вождь тащил меня все дале, дале... / Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале». Вот где можно очутиться вслед за российским Вергилием. И вот что можно вычитать из Пушкина, сидя в зловонном подвале.

Остановлюсь. И рискну отчасти повторить сказанное вначале. Потому что здесь ключ к поэтике самого Синявского с ее виртуозно рассчитанной причудливостью, усмешливостью, прерывающимся от волнения голосом, егозливыми гримасами и выходками в стиле «Француза» из комнаты № 14, с незаметно смахиваемой слезой. Одна-единственная мысль и забота «Прогулок», т. е. о том, что есть художество как таковое и что такое, следовательно, Пушкин, образует у Синявского множество рукавов, протоков, запутанный, но неудержимо сходящийся к морю рисунок дельты. Тонкое, звериное обоняние Синявского-литературоведа обнаруживает присутствие возобновляющейся и ширящейся концепции в самых неожиданных, в том числе хрестоматийно известных уголках пушкинского творчества и судьбы. Интерес — в самом выслеживании вроде бы известной идеи, на кончике раздувающихся ноздрей автора, бегущего по следу.

Бурля, как Мандельштам в «Разговоре о Данте», плетя, как Тынянов, проницательные гипотезы, связывая книгу из догадок, как гирлянду «из баранок» (в подражание сюжетостроению пушкинских новелл),— Синявский убедителен, а не доказателен, не потому, что доказательств у него нет. Напротив, все, что ни подвернется под руку, всякая пушкинская строка оборачивается доказательством, правда, на лету, намеком; и автор сам увлечен тем, как ширится и ширится и вдруг ошарашивает убедительностью великая догадка о Пушкине. Так что взыскательный читатель (если он согласился с жанром и стилем) всегда готов счастливо рассмеяться вместе с автором. Ах, как складно все выстраивается в понимание, легко, в общем, распутываются логические узелки, хотя «пересечения смыслов» неизбывно прихотливы.

П е р е с е ч е н и я с м ы с л о в: вот композиция и вот метод работы Синявского.

Мы еще увидим, как это принципиально для него: жанр «Прогулок», их развязная (т. е. развязанная: просторечная, фамильярная, застенчивая, грубовато-ласковая, элегантная, патетическая) интонация, внешняя необязательность любого замечания, пророненного между двумя затяжками махры. Синявский не только добивается в итоге замечательной цельности взгляда, не только высвобождается из любых шор, но и достигает потребного ему «вывода». Точнее же, мысли-ощущения недостигаемости, непостижимости, незавершаемости Пушкина, хотя — вот он, весь на виду. «Трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного...»

«Да что он вам дался,— шалун был, и больше ничего!» (Ф. П. Калинич, лицейский учитель чистописания.)

Синявский и Калинича внимательно послушал бы, напряженно думая свое. Он находит у Пушкина «принципиальное шалопайничество... рабочую необходимость и с каждым часом крепнущее понимание своего места и жребия». Он устанавливает историко-литературную связь между лицейскими эротическими стихами и, допустим, «Медным всадником», между пушкинской легкостью и пушкинской глубиной — не угаданную не только простодушным Калиничем, но и Баратынским!..

Но какой же он, Синявский, литературовед? Так как-то все... Сыплет сентенциями и отшучивается. Да и аппарата нет, кроме вересаевского «Пушкина в жизни», читанного в Лефортовской тюрьме, откуда и взяты все ученые ссылки. (Кроме ссылки на мнение о Пушкине зэков.) Главное, это ведь написано не по законам ученого или просто последовательного и расчлененного рассуждения, а по законам... хорошей прозы? Да, блестящей, культурнейшей прозы. На мой вкус, никогда Андрей Синявский — хотя и в лагере и после лагеря он написал много прекрасного — все же не поднимался так высоко.

Но почему эта проза восхитительно хороша, как именно она хороша? — настойчивой, мускулистой логикой, ее неуклонным течением, подпрыгивающим и бурлящим на порожках. Музыкальностью мысли. Мысль реализуется в обнаруживаемых у Пушкина смысловых мотивах; отсюда темы и противотемы книги; их переплетение и развитие через внезапные модуляции, в том числе и словесно-стилистические.

Не знаю, литературоведение ли это. Для того, кто хотел бы глубже понять Пушкина, этот ведомственный вопрос не занимателен.

Впрочем, ответ очевиден. Даже и роман о писателе должен быть в некоторых отношениях точен; вообще исторический вымысел, как известно, плодотворно ограничен и возбужден объективным материалом. Классический безукоризненный пример — романы Тынянова. А Синявский в «Прогулках» сочинял отнюдь не роман.

Андрея Донатовича посадили за «чистую» прозу, не за литературоведение. То была, на мой взгляд, проза добротного среднего качества. Только в лагере Абрам Терц нашел себя по-настоящему. Или скажем лучше его словами: «... использовал никем не предусмотренный шанс выйти в люди» и, «падая, знал, что не убит, а найден, взыскан перстом судьбы».

Судьба явилась в штатском.

Невероятно, но писателю помогли. Он забросил сюжеты, выдуманных персонажей, как и прежнее свое академическое литературоведение. Он занялся литературоведческой и автобиографической прозой, не заботясь о жанрах.

Его повело без удержу.

Но, разумеется, эссе о Пушкине или Гоголе, будучи сколь угодно свободными, не могут быть ни капельки произвольными. Тексты и факты, с которыми вправе свериться любой читатель, — вот запертые ворота этого Телемского аббатства. Так что ответ прост. Проза Синявского в «Прогулках» все же есть именно литературоведение, притом очень серьезное, хотя его литературоведение есть лирическая проза. Он прогуливается с Александром Сергеевичем вдоль этой жанровой межи; и все дела.

Если прибегнуть к сравнению более во вкусе времени, тексты, тексты Пушкина — вот необходимый тормоз, зажигание, коробка скоростей! все, кроме педали для газа и маршрута. А. Д. Синявский волен гнать с любой скоростью и в любом направлении — только не мимо Пушкина.

На мой взгляд, изредка он делает промахи. От сильного возбуждения. Это бывает и с очень опытными охотниками.

О стихотворении «Бог помочь вам, друзья мои». Оговорюсь сперва, что общая посылка анализа Абрама Терца выразительна и понятна, хотя, как и вся книга, до крайности заострена (а иначе обратилась бы в нечто плоское; мысль не живет, как известно, без «заострений»; всякая плодотворная идея требует односторонности). «Пушкинская молитва идет на потребу миру — такому, каков он есть... Пусть солдат воюет, царь царствует, женщина любит, монах постится, а Пушкин, пусть Пушкин на все это смотрит, обо всем этом пишет, радея за всех и воодушевляя каждого». Очень хорошо и верно! Несмотря на то, что дополнительные и несколько меняющие эту картину акценты сделали бы ее, возможно, еще более верной. «Радея за каждого» — шекспировская объективность изображения с предоставлением права высказаться по своему любому предмету, времени года, состоянию души, пороку, добродетели, персонажу — все это не обязательно означает, будто Пушкин с его ровной внимательностью ко всему сущему, с его пониманием и Гринева, и Пугачева, и Савельича, и Моцарта, и Сальери, вообще мирового порядка вещей — будто от всяких собственных, личных мнений и пристрастий он отказывается и себе, автору, вмешиваться не позволяет. О, позволяет! Вот лето он не любит, видите ли, а любит осень... Конечно, Пушкин не «за Дон Гуана» и не «за Командора», не «за Евгения» и не «за Петра»; однако же авторское положение внутри коллизии, между субстанциональными страстями вряд ли благожелательно-нейтрально ко всему и вся. Оно не совпадает попросту с точкой статического равновесия; оно не похоже на лунный свет. Позиция «внутри» и «между» — динамически и бесконечно сложна; это самое меньшее, что о ней можно сказать.

Своего рода оппортунизм художника,

заранее примиренного с тем, как устроен мир (Синявского можно как будто понять и так), — делал бы Пушкина не трагическим поэтом или сводил бы его трагизм к одной, пусть богатой краске, а именно к роли Вечного Жида, на которую обречен если не каждый отдельный художник, то — Художник по преимуществу, самое искусство, всему ответствующее эхом, — «ревет ли зверь в лесу глухом» и т. д. Что ж, это сообразно если не полноте и многомерности художественной практики Пушкина, то некой важной ее смысловой компоненте — и рефлексии поэта («Скитаться здесь и там, / Дивясь божественным природы красотам... / Вот счастье! вот права...»).

Мои сомнения лишь отчасти относятся к общей концепции А. Д. Синявского. Она, во-первых, вполне согласуется обычно с материалом (и не только с видимой, надводной его частью, с тем, что приведено или упомянуто); во-вторых, закруглена, прекрасна внутри себя; в-третьих, обостряет, актуализирует наше восприятие Пушкина. Концепция «Прогулок» настолько талантлива, что соглашаться с ней во всем не обязательно. Бесспорность придает цену только книгам и взглядам более мелким.

Все же — будучи уже не в силах воспринимать Пушкина так, словно я не читал Абрама Терца, — хотел бы возразить преимущественно по поводу некоторых частных толкований.

Итак, действительно ли у Пушкина «получается», что он желает «скорейшей удачи» и друзьям-декабристам, томящимся «в мрачных пропастях земли», и тем своим друзьям, которые «в заботах царской службы» обязаны были, в частности, «эти пропасти охранять»? Но у Пушкина никогда не было среди друзей высокопоставленных вертухаев; а вот зэки были. Все же стихотворение называется «19 октября 1827 года». Среди лицейских однокашников пострадали Пущин и Кюхля; поэт не переставал, не скрывая этого, нежно люб‥ть, мучиться за них, призывать милость к падшим. Другие — как Горчаков — продолжали служить царю, но уж никак не в числе тех, кто «ловил и казнил», кто «охранял» сибирские пропасти! Они служили по другой части...

Никакой службы, окромя как «царю», не было. Когда Андрей Донатович сидел в лагере, его друзья, притом не отрекшиеся от него, продолжали служить в совучреждениях, где же еще? — хотя их отношение к этой власти было куда более простым, чем у Пушкина к трону. Нет, в день очередной лицейской годовщины он благословлял всех своих друзей по Царскому Селу: благополучных, не опальных — и опальных; чувство это прямое, смелое и мучительно-многозначительное по подтексту. Лагерник А. Д. Синявский в своем комментарии вдруг ригористичен. Кто из нас там не был, пусть первым бросит в него камень.

Не прав, пожалуй, автор «Прогулок» и в предыдущем примере — с Пушкиным, который «весело потирает руки» при виде делибаша на пике и казака без головы (и «словно бы для очистки совести фыркает: — я же предупреждал! и наслаждается потехой»). Так ли? Предупреждения заполняют две предыдущих строфы, развернуты к каждому из воинственных противников, это голоса в сознании вглядывающегося, они напряженны и тревожны. Уберите их, т. е. половину стихотворения, и впрямь останутся лишь репортажные кинокадры, смонтированные ловко и безразлично. Именно в мысленных обращениях — нерв происходящего, смысловая сердцевина. Какие основания не прислушиваться к ним ‥серьез? Казак и горец не прислушались... Кровавая развязка действительно не пробуждает в Пушкине моралиста; он не сентиментален, он знает, что «есть упоение в бою», и невольно сам захвачен страшным зрелищем. «Посмотрите! каковы?» Но это восклицание поражает благодаря модуляции от предыдущего. Это «мчатся, сшиблись в общем крике» не перечеркивает ничуть печального «предупреждения», не заставляет забыть стихотворение в целом. Восхищение соединяется с ужасом. Экспрессия — с жалостью. Вскрикивание — с внутренними голосами. Картина получается жутковатая, чувства смешанные... Объективное равновесие есть лишь момент, а не итог смыслового движения. Тональный неустой, как сказал бы музыковед. И никто не потирает весело руки от удовольствия, что еще что-то можно описать, что «есть условия для работы».

Сани, в которых сидит Абрам Терц, славно скользят по утреннему снегу; но, случается, их заносит.

Автор предается бегу нетерпеливого коня и в отношении стихов, посвященных княгине Голицыной. «Отечество почти я ненавидел» (?!) — знаки в скобках поставлены А. Терцем — и зря! Ведь эта «решительная» строка никого не может «озадачить», потому что она более чем мотивирована и подготовлена — как и дальнейшее контрастное завершение («Но я вчера Голицыну увидел / И примирен с отечеством моим»).

Тут, по-моему, и в помине нет никакого «ап!», никакого «егозливого прыжка» и с улыбкой раскланивающегося фокусника-маэстро. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто читать стихотворение с начала и уж затем добраться до конца.

Кстати, оно звучит злободневно и в России нынешней.

«Краев чужих неопытный любитель / И своего всегдашний обвинитель, / Я говорил: в отечестве моем / Где верный ум, где гений мы найдем? / Где гражданин с душою благородной, / Возвышенной и пламенно свободной? / Где женщина — не с хладной красотой, / Но с пламенной, пленительной, живой? / Где разговор найду непринужденный, / Блиста-

тельный, веселый, просвещенный? / С кем можно быть не хладным, не пустым? / Отечество почти я ненавидел — / Но я вчера Голицыну увидел / И примирен с отечеством моим». Эти стихи самым ощутимым образом переливаются за свои жанровые края. Весьма необычное светское послание... Оно, как полагается, галантно, но для альбома не подходит: слишком серьезно, невесело и, как теперь выразились бы, «политизировано».

Остается напомнить, что в том же 1817 году Пушкин написал близкое по мысли «К портрету Чаадаева» (о том, сколь поразительно видеть настоящих людей в злосчастном сем отечестве), сразу за тем оду «Вольность» — и послал эту оду не кому другому, как княгине Голицыной, с прелестным сопроводительным восьмистишием.

Синявский берет за шиворот, как нарочно, самые-самые известные, всеми заученные в детстве строчки, приподымает одну за другой, оглядывает весело и довольно и бормочет себе под нос, скажем, так:

«Зима! Крестьянин, торжествуя» и пр. («Какой триумф по ничтожному поводу»). «Что ты ржешь, мой конь ретивый?»... («Ну как тут коню не откликнуться и не заговорить человеческим голосом?!»). «Тиха украинская ночь...» («А звучит восклицательно — а почему?.. словно все прочие ночи плохи, а вот украинская — тиха...»). И тому подобное.

Мы давно затвердили о «всемирной отзывчивости» Пушкина, понимая это лишь в узко-культурном и, так сказать, национально-географическом плане: Пушкин отзывчив к Испании, Италии, калмыкам, цыганам, Гете, Данте, Шекспиру, славянскому фольклору, Корану, Вольтеру, Анакреону, православным отцам-отшельникам, католическому «рыцарю бедному», Горацию, Петру Великому, к юноше, играющему в свайку, предлагая ему дружно обняться с античным дискоболом, коему он подобен, но сразу же, с таким же удовольствием Пушкин любуется играющим в бабки: «раздайся, народ любопытный, / Врозь расступись; не мешай русской удалой игре». Это он кричит самому себе, потому что средь любопытных — он, Пушкин, первый.

В «Прогулках» понятие всемирной отзывчивости расширено до всего, что ни есть в мире, любых предметов, событий, чувств, идей и людей.

Пушкин «приветлив к изображаемому, и оно к нему льнет».

Такова вообще, по Синявскому, природа художества и художника.

Поэт поэтому не прилепляется к чему-то одному, всегда готов вобрать глазами, слухом и духом то, что еще встретится на жизненной дороге.

А для такой ненасытной, всемирной духовной восприимчивости — он сам по себе непременно, следовательно, должен быть в некотором смысле «пуст».

В итоге автор испускает еще один квант смыслового излучения, еще одну, отныне выкрикиваемую с возмущением на идеологических базарах фразу: «Пустота — содержимое Пушкина».

Среди прочих наших современников 17 июля 1990 г. член-корреспондент АН СССР Шафаревич в телевизионном интервью заявил, что, коли уж у Пушкина, святыни нашей, «пустота», и прототип его — Хлестаков, и о супруге его Наталье Николаевне автор «Прогулок» отозвался «непечатно», то и выходит Абрам Терц натуральным русофобом!

О Хлестакове и Наталье Николаевне чуть позже. Что же до «пустоты»... Ну, как втолковать члену-корреспонденту? кто я такой, чтобы втолковывать членам-корреспондентам? да смею ли я пенять лицам значительным и ученым? Не берусь и не смею.

Однако и некоторые граждане попроще тоже огорчаются и ругаются при безобразном виде такой русофобии. Хотя... почему же «русо»? Тогда уж «художникофобии», ведь, по Синявскому, Александр Сергеевич «пуст» не потому, что он русский или, допустим, эфиоп, а потому что — художник... Синявский даже договаривается до того, что и негр-то, арап он оказался исключительно потому — что поэт! Так что не по той статье клеите срок.

Погодите ругаться, судари мои, почитайте, что же все-таки написано, ведь никак на то и грамота дана, чтобы читать. Объясните сперва (себе), как это «пустота» может быть «содержимым»?! Как это «без нее он (то есть Пушкин) был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха без выдоха». И далее: «Пушкин был достаточно пуст, чтобы видеть вещи как есть, не навязывая себя в произвольные фантазеры, но полнясь ими до краев и реагируя почти механически... «трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом»,— благосклонно и равнодушно». Это — черным по белому — тут же после фразы о пустоте как содержимом. А прямо перед ней: об «огромности» Пушкина, чья «пустующая утроба требовала ни много, ни мало — целый мир, не зная причины задерживаться на чем-то одном».

Что ж ругаетесь, люди добрые? Нехорошо.

Я тоже любил когда-то читать наугад из вересаевского тома. Он и сейчас на полке, под рукой, но давненько, признаться, не заглядывал, многое забылось.

«Пушкин, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал «Русская изба», на другом: «Державин», на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного предмета и т. д. Все эти ярлыки накладывал он целою кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе, и, потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет...» (Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 21 дек. 1844 г.). «Пушкин всегда ездил на пожары и любил смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше» (Н. В. Гоголь по записи неизвестной. Дневник). «Пушкин... меня поймал и объяснил, что... в великих писателях нечего смотреть на форму и что, куда бы он ни положил добро свое,— бери его, а не ломайся» (П. В. Анненков со слов Гоголя. Материалы). «По словам Арк. Ос. Россет, Пушкин, играя в банк, заложит, бывало, руки в карманы и припевает солдатскую песню с заменою слова «солдат».

«Пушкин бедный человек,
Ему негде взять,
Из-за эвтава безделья
Не домой ему идтить».

«...едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется; на столе свечи горят; он прыг с дивана, да через стол, и свечи-то опрокинул... Мы ему говорим: «Пушкин, что вы шалите так, пора остепениться»,— а он смеется только». (М. И. Осипова в передаче М. И. Семевского. СПб. Ведом., 1866, № 139.)

«Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога». (Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 8-го июня 1834 г.). «Никого я не знала умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли,— бывало забьет их совершенно... а Жуковский смеется: «Ты, брат, Пушкин, черт тебя знает, какой ты,— ведь вот и чувствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею...» Пушкин мне говорил: «У всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». И действительно, он мог со всеми весело проводить время. Иногда с лакеями беседовал». (А. О. Смирнова-Россет по записи Я. П. Полонского.)

Итак, «пустота» в подметном сочинении Синявского — сиречь переполненность всем бытием, «человеков благоволение» (изъясняясь словами Ангела Господнего и самого поэта), благорасположенность, доверие и слияние с каждой сутью и правдой каждой вещи, каждого человеческого проявления. Это «святая простота, с какой посылается свет на землю — равно для праведных и грешных. Поэтому он и вхож повсюду и пользуется ответной любовью».

Вот такой Синявский ненавистник Пушкина, такой, значит, русофоб... Кому объяснять эстетическую концепцию, изложенную с тонкой прозрачностью, зачем что-либо объяснять?.. Смешно.

Я, признаться, тоже изрядный охотник до смеха, но вспоминаешь, что, когда Пушкин наслушался от Гоголя глав из «Мертвых душ», «он начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия».

Еще один, стало быть, русофоб. Впрочем, в этом ведь он был замечен смолоду: «Бывало, что ни напишу, / Все для иных не Русью пахнет...»

А повествование о мертвых душах все продолжается; проходит полтора века, мы мрачнеем и мрачнеем; нет сил не любить данную нам судьбой страну, которая, по уверению Гоголя, была и есть «его собственная выдумка»; возможно, Гоголь тут прав даже более глубоко, нежели сам предполагал; но нет сил, однако же, и смеяться; и бессилен пушкинский голос тоски.

Если Александру Сергеевичу не было скучно ни с будочником, ни с царем, то это, конечно, еще не означает, что ему было не скучно со всяким одинаково и в равнозначимых смысловых горизонтах. Кошки на раскаленной крыше если действительно смешили, то реплики Лепорелло, или Савельича, или проделки Балды, надо полагать, занимали его воображение не только иначе, но и сильней. Ухаживания графа Нулина поэт описывал почти с таким же умением, как и чувства Онегина к замужней Татьяне; но вряд ли кто-либо станет утверждать, будто для него обе эти неудачливые любовные истории были равно дороги и ценны в художественно-содержательном или каком-нибудь ином отношении, т. е. что Пушкин вне ценностной, им самим установленной или усвоенной поэтической иерархии увлеченно наблюдал, придумывал, просто описывал все, что ни есть в мире.

Дважды его персонажи приглашают к себе на ужин мертвецов. Один — ужасающий и очаровывающий нас, неукротимый, подобно Петру, и несчастный, подобно Евгению, словом, трагически нерезюмируемая натура, являющийся Анне и нам сначала превеликим грешником, опасным человеком, но совершенно входящий в роль художника собственной жизни и гибнущий загадочно, не то как грешный человек, не то как Поэт. Дон Гуан, повинуясь дерзкому наитию, бросает вызов загробным силам; посылает его, пожалуй, Богу, но ответ приходит от Дьявола. Другой персонаж, гробовщик Адриан Прохоров, задетый подшучиванием «одного будочника, чухонца Юрко», над своим ремеслом, сделал то же, что Дон Гуан, просто спьяну. Во сне ему явился скелет отставного сержанта Курилкина и, разыгрывая из себя Командора, тоже «простер костяные объятия»; но дело кончилось для старого гробовщика существенно удачней. Продрав к обедне глаза, он велел работнице Аксинье «дать скорее чаю».

Трагедия Дон Гуана на сей раз сводится к реплике работницы, разувавшей сильно набравшегося хозяина: «Что ты, батюшка?.. Что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на ново-

селье! Экая страсть!» Анекдот, с удовольствием рассказанный Пушкиным-Белкиным со слов «прикащика Б. В.»,— очевидная и милая пародия не только на романтические вкусы времени (не миновавшие таких разных авторов, возившихся с мертвецами, как Гоголь, Тургенев или Мериме), но и на себя самого.

Образ Белкина неопределенен[1] не только потому, что Иван Петрович взял в соавторы переменчивого Пушкина, который «мог со всеми весело проводить время». Но и потому, что Пушкин, предприняв эту широкую «амнистию человеку» (Г. Федотов), записывал, меняя тон, то со слов «титулярного советника», то «подполковника», то «прикащика», то «девицы». Да и сам не удерживался, чтобы не вписать, скажем, в рассказ приказчика фразу о «Шекспире и Вальтер Скотте», подмигивая «просвещенному читателю» из-за плеча Белкина. Так что Белкин — участник целого авторского коллектива.

Было интересно прочесть недавно статью бесспорно одаренного молодого пушкиниста О. Поволоцкой о «Гробовщике» — по редакционной рекомендации, «серьезную и методологически новую попытку анализа поэтики «Повестей Белкина» с точки зрения их национальной самобытности и нравственного смысла»[2]. Вот только наблюдениям автора вредит, на мой взгляд — правда, взгляд не пушкиниста, безответственно читательский,— как раз избыток серьезности и методологической основательности. Если исходить из презумпции, что великий Пушкин не мог тратить творческие силы на какие-то анекдоты и пародирование, всегда требуя от публики глубокомыслия,— непременно окажется, что сюжет о гробовщике Прохорове обнаруживает «крепость и духовное здоровье нации, ее способность к самосознанию и развитию». Ну, коли так... помогай Бог. «Истоком слова» Прохорова, думает исследовательница, «было ощущение, что его жизнь оказалась точкой приложения Божественного Промысла небесных сил». (Да какого же «слова»?! а вот увидим.) «Чудо вещего сна, призвавшего Адриана-человека к ответственности и покаянию перед людьми в своем рассказе-исповеди, является залогом того, что живое единство живых людей вновь будет восстановлено героем этой повести: можно не сомневаться, что отныне Адриан Прохоров будет честным ремесленником» и пр. «Экая страсть!», как молвила бы при таком известии Аксинья.

У меня лично как раз нет уверенности, что Адриан впредь не станет плутовать, продавая сосновый гроб за дубовый; а хорошо бы! иначе с проблемой «духовного здоровья нации» впрямь не совладать. И поныне у нас с гробами — беда.

Почему же я, будучи вполне уверен за Пушкина, не решился бы поручиться за Прохорова? Во-первых, где же в тексте «залоги» «ответственности и покаяния»? Адриан, приняв приснившееся за реальность, по пробуждении действительно напугался. Но, выяснив, что все лишь привиделось и Трюхина не умерла — «Что ты, батюшка?.. али хмель вчерашний еще у тя не прошел?» — обрадованно сказал только «Ой ли!». И потребовал чаю. Ай да прохоровское «слово»... Ни намека на «покаяние», на «ощущение» встречи с Божественным Промыслом и «способность к самосознанию и развитию». А без плутовства торговать гробами будет Прохорову и впредь, пожалуй, накладно: клиентов, пояснил рассказчик, что-то не хватает...

Во-вторых, где же исследовательница нашла у Пушкина «рассказ-исповедь» гробовщика? Да это самого Пушкина рассказ! Ей-богу — или Белкина... со слов «прикащика». А откуда сей последний доведался о сне Адриана, непонятно.

Может быть, Пушкин ему и рассказал?

В тексте мрачный молчун-гробовщик скрыл приснившееся даже от Аксиньи. «Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей» — вот-те и вся исповедь. Поздравляю редакцию «Воплей» с обретением в ней «национальной самобытности и нравственного смысла».

В-третьих, решающая для концепции О. Поволоцкой оппозиция «православного» и «басурманского» сознания, эта судьбоносная встреча двух культур на «тесной квартирке» соседа — сапожника Шульца, заставляет исследовательницу забыть, что подшутил-то единственный случившийся там чиновник-чухонец, служивший «в броне сермяжной»: уж не из православных ли тож? А прочие гости (немцы) на добродушную шутку «все захохотали». И ничего у Пушкина, кроме этих двух слов, о встрече Прохорова с ренессансной культурой нет... Не мало ли? Шульц же, различая живых и мертвых по отношению к потребному им товару (сапогам или гробам), тем самым рассудительно отождествляет всех в качестве клиентов. Русский и немецкий ремесленники, таким образом, ни чуточки не расходятся по ментальности (гм...). Все они, увы, «не знают смерти как трагической идеи», одним простонародным миром мазаны. Как это на пирушке у Шульца О. Поволоцкой удалось разглядеть «ренессансную фигуру шекспировского могильщика» (кстати, вовсе не относившегося к смерти, как «полному концу»), я, Возрождением как раз занимавшийся, ума не приложу.

И — Абрам Терц меня поймет! — все-таки с облегчением возвращаюсь от симпатичной, но слишком модной и наивной учености уважаемой молодой коллеги к сочному пушкинскому анекдоту, предугадывающему петербургский колорит у Гоголя.

[1] Его «можно принять за нуль и за источник возможностей»: С. Г. Бочаров. Поэтика Пушкина. М., 1974, стр. 144.

[2] «Вопросы литературы», 1989, № 12, стр. 210 и сл.

До всего-то ему, Пушкину, было дело. Анекдоты, как исторические, так и бытовые, и романтические, и мрачно-комические, обожал. И рассказчик был отменный.

К чему я? Все к тому же понятию пушкинской «пустоты» у Синявского, творческой «пустоты», жадно обращенной к миру и готовой вобрать в себя его целиком — «благосклонно и равнодушно».

Автор, разумеется, не мог не заметить здесь некой логической коллизии, трудности, может быть, тайны и стремится совладать с нею. Беспристрастие Пушкина, подобающее трагическому поэту, выражалось как раз в «пристрастии к каждому шагу», в том, что он «печется попеременно то об одной, то о другой стороне». «Чей бы облик не принял Пушкин? С кем бы не нашел общий язык?» Так-то так. Старушка Смирнова-Россет о том же говаривала. Но... ежели Пушкин «чаще всего любит то, что пишет», благоволит ко всему, любит всех, то почему же он благоволит «равнодушно»?.. Если, подобно Дон Гуану, «в каждый данный момент наш изменник правдив и искренен» — «верьте, верьте,— на самом деле страсть обратила Гуана в ангела, Пушкина — в пушкинское творение», так отчего бы и не поверить?

Оттого, отвечает Абрам Терц, опять становясь ригористом, что, «любя всех, он (следовательно.— **Л. Б.**) никого не любил, и «никого» давало свободу кивать налево и направо».

Так что «не очень-то увлекайтесь: перед вами — вурдулак».

Ну-ну.

Должен сказать, что далее следует единственное рассуждение в книге Синявского, которое меня шокирует и которое я принять не могу: о «вампиризме» Пушкина как не только общей, но даже и конкретной черте его поэтики, т. е. как об особой страсти к провоцирующему и двусмысленному присутствию трупов в пушкинских сочинениях.

Я чувствую себя шокированным вовсе не потому, что задет Пушкин — и тут, как во всей книге, Синявский не собирается его задевать, продолжает восторгаться им,— а потому, что, как мне кажется, задета истина.

Сначала в общем плане.

Нетрудно понять неприязнь Абрама Терца к прямолинейному понятию «авторской позиции» («идейности» тож): Пушкин со-чувствует, «проникается» и Пугачевым на плахе, и матушкой-государыней, его казнившей, и Гриневым в толпе, теснящейся вокруг Лобного места. Ему внятны и божественная легкость дара, осеняющего «гуляку праздного», светлое очарование Моцарта и глубокие муки рефлектирующего Сальери. Но, если художник понимает, принимает в душу, отзывается на все, если его отзывчивость действительно всемирна, не есть ли она особого рода странное, поэтическое... «равнодушие»? «Любить всех» — никого и ничего не любить, кроме самой своей способности «любить»? Не есть ли искусство вообще — метафизическое донжуанство?

В самом деле. Вот — «Моцарт и Сальери». «На чьей стороне» Пушкин? Существо трагического конфликта в его неразрешимости через событие, через какое бы то ни было внешнее действие. Понятно, что эта пьеса не о том, как завистливый злодей, коварно лия при этом слезы, тихо отравляет более талантливого друга. По Пушкину, оба они талантливы — «единого прекрасного жрецы»,— и дело не в том, кто больше. Сальери вовсе не мучается бездарностью, напротив, он полагает, что достиг в своем искусстве вершин. Моцарт признает это за ним, относится, как к равному («как ты да я»). Он не лукавит, он высоко и верно ценит музыку Сальери. Конфликт пьесы, как известно, состоит в различии путей к совершенству. Сальери его выстрадал сознательными трудами всей жизни, доработался до вершин. Моцарту же нечто — да, еще более прекрасное! — далось само собой. Гений ему послан без мучений рефлексии и ремесла, в качестве случайного дара небес. Что ж, жизнь человеческая — вообще «дар случайный», и если он столь же случайно оказывается не «напрасным», озарен вдохновением,— это правда любимца богов, правда Моцарта, вдвойне оправданная полнейшим отсутствием заносчивости счастливца, за которую, по верованиям античности, полагалась страшная кара. Моцарт не заслужил никакой кары, ибо «он, Моцарт, бог, и сам о том не знает». А если и знает, то... «Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось»...

Это Пушкин, конечно, и о себе. Он все знал о себе, но не чинился. И — под настроение — прыгал через стол со свечами. И тоже жил в предчувствии ранней смерти, нагаданной цыганкой.

Еще бы ему не любить Моцарта.

Но вглядитесь в трудные черновики. Огляньте долгий путь от лицейских безделиц к «Маленьким трагедиям». Еще бы ему не понимать Сальери. «На чьей же он стороне?» Вопрос подростка (конечно, безумно жалеющего Моцарта). У Сальери не зависть — или, во всяком случае, не зависть бездари. (Зависть, разъяснил Пушкин, родная сестра соревнования, стало быть, хорошего роду.) Но почему, почему то, что одному досталось подвижничеством, другой обретает без усилий? Если нет соотнесенности усилий и результатов, если прекрасное и совершенное не обязательно заслужить — значит, небеса несправедливы! И нет в мире порядка вещей. Не

только на земле — страшно помыслить, «нет и выше». Это — правда Сальери.

Там, где нет столкновения двух неподдельных и величайших правд — сюжет не для трагедии, а для судебного разбирательства. В лучшем случае для драмы.

Моцарт — весь подаренная нам беспричинная радость, то есть счастье. Пушкин любит его, как брата. (Т. е. как Дельвига, а не Льва Сергеевича.) И мы, ох, как любим. А Сальери... его, конечно, никто не мог бы полюбить... кроме Пушкина.

Дело в том, что за Сальери не только правда художника, до донышка преданного и служащего высокому ремеслу (Сальери, как и Моцарт, любит музыку, а не себя; музыку, а не свою музыку; поэтому он проливает экстатические слезы, слушая Моцарта; он несравненный, идеальный слушатель).

Но — и гораздо более того. В пушкинской пьесе «мыслит и страдает» вслух, то есть «живет», в сущности, только Сальери. Только он один — трагический герой. Через него, однако, через его рефлексию живет в этом качестве и Моцарт.

Глубину фигуре Моцарта дает отношение к нему Сальери. Поэтому любите Сальери! — хотя бы ради Моцарта. Вне Сальери — тот подобен прелестной тени. «Приди, как дальняя звезда, как легкий звук иль дуновенье»... Он значителен — в Сальери, как внятное, и непонятное, и недоступное тому, как последняя божественная тайна сальериевого искусства.

«Оба правы»: один — в подвижничестве, другой — в беззаботном артистизме. Оба вместе (в отчуждении и минутном схождении двух начал) и есть искусство.

Но... лишь пока яд не насыпан в бокал. На этой попытке убить (устранить) одно посредством другого — существо коллизии обессмысливается. (Если бы оказалось, что Моцарт (Пушкин) не признает Сальери, не привязан к нему, смотрит на его сочинения свысока — результат был бы тот же; пуст, мертв тогда Сальери, но, следовательно, и Моцарт.) Доводя трагическую коллизию до развязки, до события, Сальери убивает не только друга, но и саму коллизию.

Что и выясняется в последней фразе. Если «гений и злодейство несовместны», значит, Сальери не гений. Но тогда в гениях остается лишь Моцарт, и рядом с ним никого. Распадается трагическая пара. *Сам же по себе* Моцарт с трагической точки зрения неинтересен. Его гибель обращается в анекдот.

В последней реплике Сальери ставит под сомнение свой поступок — и, таким образом, отменяет его. Дальше можно мысленно прокрутить все кадры назад, как в кино. Моцарт опускает неосушенный бокал, яд, «последний дар Изоры», возвращается из вина в перстень Сальери. Друзья вновь оказываются сидящими у фортепиано; один играет свой «Реквием», другой слушает и плачет.

В заключительной фразе пушкинской пьесы возрождается, как феникс, вечная коллизия искусства, чтобы продолжиться за пределами текста.

Синявский справедливо отвергает упрощенное представление, будто художник непременно за то-то и против того-то, в роли судии или пророка. Поэт «благоволит» ко всему сущему. Но это все же не означает «равнодушия», что было бы, пожалуй, упрощением навыворот. Нескончаемо напряженно и потому неравнодушно состояние выбора.

О чем идет речь? Об отношении Пушкина к своим творениям или к тому непосредственно жизненному, предметному, что в них описано? Казалось бы, «любит всех» подразумевает только первое? Не просто мир, но мир, художественно претворенный, вымышленный заново, целиком созданный поэтом. Ведь не Моцарта же в самом деле «любит» Пушкин и не Сальери, а своего Моцарта, своего Сальери, в их словесной плоти, то, как он их свел, дал раскрыться, добрался до развязки, оставил развязку под знаком трагического вопроса... Странным образом А. Д. Синявский, поставив во главу угла эстетизм Пушкина, избегает анализов «формы» — того, как сработано и устроено произведение у Пушкина — сосредоточиваясь на «содержании», на смысле высказанного. Поэтому «любит — не любит — к сердцу прижмет — к черту пошлет» взвешиваются по увлеченности поэта в каждый момент творчества, но вне целостного (одновременно формального и смыслового) анализа, который все развел бы по местам. И не позволил бы слегка спутывать пушкинскую, так сказать, онтологию — каков мир и как я, Пушкин, вообще-то оцениваю то или иное в нем — и пушкинскую эстетику (в моем, так чудно созданном словесном и пластическом мире, мне, Пушкину, все любо, не хочу остановиться на чем-то одном, я равнодушен к тому, чем не занимаюсь *сейчас*, о чем не пишу сейчас).

Следуя за логической метафорой плодотворной пустоты, затем несколько споткнувшись на мысли, что любить все и вся — значит ничего не любить, Синявский вдруг доходит до утверждения, словно бы подсказанного фразой Дон Гуана «Вас полюбя, люблю я добродетель»: вот как Гуан свою неподдельную любовь к добродетели (в данный миг!) высасывает «из крови добродетельной Анны»; таков и Поэт, во всяком случае, поэт Пушкин. И Синявский задумчиво говорит: «В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое». Что ж... Пока это всего лишь метафора (искусство «насыщается» кровью жизни, не деля ее на подобающее и неподобающее — *всякой* жизни, и греха в ней, и чумы, и смерти — та специфическая «внеправственность» поэзии, о которой охотно напоминал Пушкин) —

что ж, спорить не будем... Разве что ограничимся вышеуказанными оговорками.

Однако же Андрей Донатович, увлекшись «сцеплениями смыслов» — как никак и сам художник, не только литературовед! — начинает раскладывать и доказывать «вампиризм» как буквальную черту пушкинской поэтики. И тут остроумен, наблюдателен автор. Но натяжки, по-моему, заметны.

Начну на сей раз с частностей: далеко не все приводимые автором примеры идут к делу, даже если согласиться в том, что у Пушкина «непогребенное тело» часто «смещается к центру произведения» и словно бы «гальванизируется» и, будучи мертвым, но и «совсем не призрачным, не замогильным, но до мерзости телесным», «служит если не всегда источником действия, то его катализатором»: «при мертвом все происходит куда веселее, лихорадочней, интереснее».

Если и так, строфа в «Онегине», где Зарецкий кладет на сани оледенелый труп Ленского и кони, «почуя мертвого, храпят», вовсе не означает, будто «тело Ленского, сраженного другом, стимулирует процесс превращений» в романной интриге, усиливает «динамику жизни» и пр. Прежде всего, А. Д. Синявский пишет «тело Ленского» — вместо «смерть Ленского». Тело мертвеца никакой роли в «Онегине» не играет; оно, сразу же ставшее вполне и окончательно мертвым, «оледенелым», увозится прочь в пределах цитируемой строфы. Его нет далее «средь строк». Да и смерть Ленского, хотя и вспоминается «кровавой тенью» Евгению, но не из-за этого укоризненного воспоминания герой покидает имение, а главным образом из-за деревенской скуки и охоты к перемене мест. Сразу же после слов о конях и трупе следует небрежное: «Друзья мои, вам жаль поэта» — и вот уже исход дуэли, породив две сочувственных и одну ироническую строфу (о том, чем стал бы Ленский, прожив он подольше: «В деревне счастлив и рогат / Носил бы стеганый халат»), попросту забывается. Ленский умирает мгновенно и прочно. «Закрыты ставни, окна мелом / Забелены. Хозяйки нет. / А где, бог весть. / Пропал и след»: это только и сказано о теле, ставшем бездыханным. Остается лишь «памятник простой». Пушкин начинает следующую главу весенними пейзажами «на лоне сельской тишины». И предлагает «благосклонному читателю» совершить приятную прогулку мимо камня с надгробной надписью «в тени двух сосен». След к нему, оказывается, заглох, и «невеста молодая, своей печали неверна», утешилась после гибели Ленского так же быстро, как сам романист. Гибель эта, отыграв произвольную фабульную роль, для действия более неинтересна. Схема Синявского о «непогребенном теле», в присутствии коего «протекает все действие», о «рыщущем вблизи притягательном кадавре» и т. п. ни малейшего подтверждения в романе не находит.

Так же, как трудно усмотреть потребный пример и в раскачивании хрустального гроба, где «спит царевна вечным сном». Ведь царевна действительно спит, дожидаясь поцелуя... Мертвого тела в этом случае просто нет, как не было вурдалака, померещившегося бедному Ване.

Думаю, в «Борисе Годунове» никакого вампирического мотива тоже нет. «Мощи царевича не знают успокоения»? — но, ей-богу, мук Борисовой совести, политической угрозы самозванства, наконец, неуверенности царя при появлении на исторической сцене Гришки Отрепьева (подлинно ли нет в живых Димитрия) — всего этого более чем достаточно, чтобы объяснить значение «мощей». Рассказ Шуйского о царевиче, чей «детский лик... был ясен и свеж и тих» во гробе, — все-таки лишь метафора обстоятельств, реально двигающих действие. С шекспировским привкусом двинувшегося леса, Призрака, загробной тайны. В художественной логике бритва Оккама тоже ведь срабатывает, пусть окольно.

Но дело, впрочем, не в отдельных неудачных доказательствах. По меньшей мере в двух (и очень серьезных) случаях Синявский, разумеется, совершенно прав по ходу непосредственной трактовки: это Гуан, соблазняющий Анну и ласкающий Лауру, дополнительно возбуждаясь присутствием мертвецов; и это пир рядом с фурами, груженными чумными трупами... И анализ «Пира во время чумы» как «пушкинской формулировки жизни» — при том, что, как обычно у автора, «анализа»-то, собственно, нет — заставляет согласиться: устами Председателя искусство здесь говорит «прости» религии, «искусство лепится к жизни смертью, грехом, беззаконьем». «В преддверии уничтожения все силы инстинкта произвели этот подъем», эту вакханалию... «Именно здесь, восседая на самом краю зачумленной ямы, поэт преисполнен высших потенций в полете фантазии, бросающейся от безумия к озарению».

Поэт... или Вальсингам?

Все-таки ни в одном творении Пушкина не была взята для исследования столь предельная, как теперь выразились бы, столь экспериментально-абсолютная ситуация, понятная, может быть, лишь в XX веке. Что есть людское достоинство и ценности, что остается от живых — посреди царства смерти? Не той смерти, которая когда-нибудь ожидает каждого, не той смерти, которая почти всегда отсрочена молодостью, зрелостью, может быть, старостью, неизвестностью личных сроков и подстерегает в виде случая, выстрела, карточного расклада, каменного истукана, наводнения и пр., будучи все-таки поставлена на свое ме-

сто — как и жизнь — мировым распорядком вещей,— а смерти всеобщей, массовой, более или менее одновременной, уравнивающей и уносящей все возрасты и состояния, следовательно, обессмысливающей все. Чума придает чудовищную, непомерную ценность из череды сущего лишь одному: последнему дыханию, единственному мигу вот этой, единственной жизни. В результате обычные для Пушкина лично-заостренные, хотя вообще-то традиционные мотивы земной прелести и тщеты не только доводятся до трагической крайности, «бездны мрачной на краю», их мерная уравновешенность и последовательность опрокидываются; поэт рискует вдруг толкнуть в эту бездну свой мир. Ни в одной из «Маленьких трагедий» угроза именно этому, пушкинскому гармоническому миру не обозначилась так явно — хотя изнутри его же самого.

У Пушкина всегда в «телегу жизни» впряжены цугом: безумное веселье и смутное похмелье. То и другое неизбежно и сменяет друг друга, как день и ночь. «Все мгновенно, все пройдет; / Что пройдет, то будет мило». Жанр элегии расцветает в цезуре между подъемом и упадком, между вакхическим возбуждением и усталостью после него, отливом уныния и приливом нового веселья или надежды на оное. «В день уныния смирись: / День веселья, верь, настанет». Приходится делать то выдох, то вдох. «Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе / Грядущего волнуемое море. / Но не хочу, о други, умирать... /И ведаю, мне будут наслажденья/ Меж горестей...» На этих-то качелях, даже в пределах 16-строчной элегии, раскачивается, дышит душа. Причем у печали есть довольно времени, чтобы обрести выдержку: «как вино... чем старе, тем сильней». «И дремля едем до ночлега, / А время гонит лошадей».

«Нормальная» смерть — наводящий тоску при мысли о нем последний ночлег, безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам... но не чумная фура, переполненная трупами.

Чума — крайнее выражение гораздо более естественных ощущений мимолетности, смутного похмелья и скуки, вплоть до фаустовского «Все утопить», изнанки вакхических восклицаний. «Ты с жизни взял возможну дань, а был ли счастлив? — Перестань, не растравляй мне язвы тайной. В глубоком знанье жизни нет...» Поэтому на такое знанье пушкинское творчество предпочитает намекать... и, пожалуй, только в «Пире во время чумы» оно так страшно заголено. Обычно же архетипическое знание жизни как тлена соединено со столь же вечным празднеством жизни.

Все же пушкинское «смутное похмелье» очень, очень молодое; оно — обратное любовным ласкам и пирам; смерть видится продолжением физиологической и душевной оскомины, опустошенности. Этому интенсивному фазису пресыщенности и отвращения Пушкин придал в «Пире» космические и фантастические масштабы и очертания.

Тем не менее искусство у Пушкина лепится к жизни едва ли «грехом и беззаконием», но — безгреховностью греха Земфиры и законностью того, что, как и она, «избирает» Поэт («Что ж изберете вы? — Свободу»). Мнимость беззакония, законность своеволия, скитаний «по прихоти своей», угождения «себе лишь самому» — глубоко коренятся в бытии. Только смерть ставит и внутренний «закон», и его границы, его возможную беззаконность, антиномии личной воли и свободы — под огромный, загадочный знак вопроса. Этим знаком и заканчиваются — т. е. не заканчиваются — все пушкинские «Маленькие трагедии». Это особая их черта. Все их концовки вопросительны, прерывают коллизию на полуслове; но не ответствуют.

«Пир во время чумы» вряд ли составляет исключение. «Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость». Лихорадочное предсмертное веселье, сознающее однако же — рядом с трупами близких — свою одновременно и оправданность, и греховность,— вот трагическая концентрация того, что, будучи растянуто на подрамнике существования, есть законный порядок вещей, предоставляющий мертвым самим хоронить своих мертвецов. Если всякая жизнь, по Пушкину, пир перед лицом смерти, то они все же отличены известной дистанцией... Здесь же, в чумном пире, дистанция снята.

Я хочу сказать прежде всего: в этой трагедии миропорядок сфокусирован настолько резко, что его устойчивые свойства ужасно искажены; и он, собственно, перестает быть пушкинским миропорядком, где всему попеременно свое время и место. Есть на свете вино и есть уксус: но перед входом в газовую камеру их вкус неразличим.

Далее. Невозможно счесть речь Председателя безусловным опровержением речи Священника, последним словом Пушкина. Это был бы уже не Пушкин, у которого чуть ли не все правы. «Прости меня, Господь»,— и это тоже молвит Председатель. Значительность (Вальсингама или, скажем, Пугачева) в глазах Пушкина важней добродетели. Но ведь это не лишает у него и добродетель значительности.

Мне кажется самоочевидным, что Пушкина немыслимо счесть религиозным писателем («Я не рожден святыню славословить», «Ах! ведает мой добрый гений, что предпочел бы я скорей бессмертию души моей бессмертие своих творений» и пр.). Более того, чаще он бывал срамным богохульником («Христос воскрес, моя Ревекка» и т. п.) или печальным Фомой неверующим («он бога тайного нигде, нигде не зрит»). Но и слова Священника, голос религии были для него внутренне необходимым голосом. Так что, если он вообще ничему, как показывает А. Д. Синявский, не говорил окончательного «прости», то и религии — тоже. Добродетель, закон — как и грех, и беззаконье — включены в его спокойно длящийся универсум. Иначе это не был бы универсум. (В котором, как уже говорилось, у «беззаконья» на поверку обычно просто и н о й, свой божественный закон — как у цыган, у сердца девы, у Поэта.)

Не зажмуриваясь, Пушкин смотрит на жизнь — и значит, на смерть. В романтическом вкусе времени — то ли живой Германи является с того света полумертвой старухе, то ли затем она ему, не оставаясь в долгу. И оборачивается русалочкой неродившаяся дочь Князя. Действительно, у Пушкина всюду и всегда жизнь играет именно «у гробового входа» — но совершенно законно! Синявский прав, указывая, что для Пушкина мысль о смерти (или об уходящей младости, что то же самое) — терпкая, необходимая закваска его жизненности. Пушкина безумно занимало, как можно жить у очевидного порога собственной смерти, предсказанной ему к 37 годам... Смерть и жизнь, меланхолия и веселье у него всегда неподалеку друг от друга, встречаясь как добрые соседи.

Однако Абрам Терц, увлекшись, вдруг устраивает короткое замыкание. «Рассуждая гипотетически, трупы в пушкинском обиходе представляют собой первообраз неистощимого душевного вакуума» — ах, полноте, не спрямляйте, Андрей Донатович, не превращайте всегдашнюю естественную, печальную и бодрящую пограничность жизни и смерти у Пушкина — в нечто слишком напрямую фабульное, «вурдулацкое». И «вакуум», т. е. ненасытность и безграничность, неокончательность пушкинского мира,— чуть ли не в буквальную пустоту, в нечто безвкусно-жуткое, макабрное.

Хотя, почему бы Синявскому, положим, и не увлекаться верной в основе мыслью? Почему бы и не перебарщивать?

У читателя своя голова на плечах. Возьмет в руки томик Пушкина, задумается. Уж что-что, а поводы задуматься Синявский предоставляет щедро.

Синявский констатирует, что, «хоть это от него (Пушкина) повелся на Руси обычай изображать действительность», т. е. он был родоначальником реализма — но сам не реалист, слишком для этого аристократичный, старомодный, архаичный. Есть подозрение, что это-то (т. е. что не настоящий еще реалист) Синявскому в нем, как и в Гоголе, нравится. Ведь неспроста он взялся за книги о Пушкине и Гоголе, а не о Чехове и Толстом. Ей-богу, Синявскому если в реализме что и нравится, так это сумасшедшинка в т о ч к е е г о з а р о ж д е н и я: в качестве чудной прихоти искусства. Синявский уверен, что Пушкин и не подумал бы писать «Евгения Онегина», «если бы не знал, что так писать нельзя. Его прозаизмы, бытопись, тривиальность, просторечие в большой степени строились как недозволенные приемы, рассчитывающие шокировать публику. Действительность появлялась, как дьявол из люка, в форме фривольной шутки...»

Вот эта комбинация в Пушкине авангардизма и архаического равновесия более всего увлекает автора «Прогулок» — в виде загадки «золотого сечения русской литературы».

Ему по душе, что Пушкин то и дело играет с читателем, фантазирует, дурит, шутит — но к жизни относится настолько серьезно, что в «Онегине» ничто не возмущает ее вод, плавно текущих в петляющих берегах. В милом, уютном и «болтливом» романе ничто, даже дуэль и смерть Ленского, ничего не меняет; даже несчастная любовь Татьяны к Онегину не мешает свершиться ее судьбе как заведенной норме; даже любовь Онегина к Татьяне не в силах нарушить эту же норму, где, стало быть, чудачества и выходки лишнего человека пока что лишь оттеняют устойчивость усадебного быта; и далеко еще до продажи вишневого сада Лариных.

Правда, Пушкин словоохотлив и остроумен. Но от этого мир не сдвигается. Синявский радуется и тому, и другому, т. е. и размерности, устойчивости пушкинского мира, и тому, что сам поэт в нем волен и непредсказуем.

Нам бы так.

Вот он сидит напротив, зажигает одну за другой сигареты, молчаливый и прокуренный насквозь Черномор. Загадочно усмехается в бороду. Он не любит говорить, а если заговаривает, то вовсе не сыплет, как можно бы ожидать, острыми сентенциями. Он, по-моему, неважный оратор. Он предпочитает писать. И, если попробовать спросить его: «ну, что, брат Синявский?» — он скорее всего ответит: «Да так, брат, так как-то все». И будет совершенно прав.

Все-таки не пушкинское искусство более всего увлекает Синявского, но Пушкин. Интересней и непостижимей самых замечательных стихов в поэзии оказывается сам Поэт. Что за человек? Точнее же, что за судьба быть — одновременно и вместе — поэтом в человеке и человеком в поэте? О. не к добру они сошлись: «Волна и камень, стихи и проза... И скоро стали неразлучны». Не миновать дуэли между ними...

Вот центральная коллизия «Прогулок». Не потому ли Абрам Терц начинает рассуждения с уличных шаржей на Пушкина, «за все отвечающего», с беспрецедентного употребления его имени «на потеху толпы», с антитезы — помните? — «одинокого гения» и «завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей». Из этой темы отжимается сперва только «вездесущность» и «легкость» пушкинского дара. Но к середине книги антитеза при-

обретает куда более многозначный и грозный характер. Ружье, висевшее с первого акта на стене, выстреливает. Мы узнаем, откуда это фольклорное чувство непосредственной близости с Пушкиным, как с нашим общим добрым знакомым, «нашего с вами круга и сорта, всем доступным».

Автор может сколько угодно толковать о стилистике «Онегина», о «планировке» пушкинских созданий, о «скульптурной» природе его изобразительности, о воспоминании как излюбленном магическом кристалле Пушкина, как «мании и магии» его поэзии. Все же едва ли не главное событие прогулок Синявского с поэтом — это выяснение некоего обстоятельства, которое их сближает действительно дружески, позволяет ему ненароком шепнуть или подумать (да и каждый художник мог бы откликнуться с моцартовской искренностью): «Как ты да я».

Это обстоятельство состоит в том, что «Пушкин — первый штатский в русской литературе, обративший на себя внимание. В полном смысле штатский, не дипломат, не секретарь, никто. Штафирка, шпак. Но погромче военного. Первый поэт со своей биографией, а не послужным списком».

Здесь причина органической автобиографической подкладки «Прогулок». Дело вовсе не в том, что для Синявского Пушкин был поводом написать о себе, о своем мироощущении. Напротив, скорее собственная судьба явилась поводом самозабвенно написать о Пушкине. Об «его появлении в виде частного лица, которое ни от кого не зависит и никого не представляет, а разгуливает само по себе, заговаривая с читателями прямо на бульваре: — Здравствуйте, а я — Пушкин!»

Автобиографизм прозы Синявского принципиален тем более, что выражается в совершенном отказе от эгоцентрических, особенных черт, в сознании растворенности и причастности цыганскому роду и племени художников, поэтов. Вот как Пушкин! который, «наплевав на тогдашние гражданские права и обязанности, ушел в поэты, как уходят в босяки».

Это и называется: «Первый поэт со своей биографией, а не послужным списком».

После Пушкина это стало у нас довольно обычным делом среди поэтов.

Соответственно, начиная с Тайной канцелярии Его Императорского Величества, государство не оставалось безразличным к сему.

Синявский пишет: «И вот этот, прямо сказать, тунеядец и отщепенец, всю жизнь лишь уклонявшийся от служебной карьеры, навязывается со своей биографией» и пр. Это выдержка то ли из письма графа Бенкендорфа, то ли из стенограммы процесса над Иосифом Бродским.

Босяки, бомжи, тунеядцы, отщепенцы... самозванцы. «Пушкин, здоровый лоб (поили-кормили, растили-учили, и на тебе!)» — опять протокольная выдержка! — изображал из себя то отшельника, то воина, то Ганнибала, то Петра Великого, то того Евгения, то этого Евгения (пока не требовал Поэта к священной жертве Аполлон).

На выяснение всех этих отношений в Пушкине поэта и человека, творчества и биографии, т. е. трудных отношений Пушкина с собою же, автор расходует добрую треть книги. И, запутавшись вконец, догадывается.

«Самозванец! А кто такой поэт, если не самозванец? Царь?? Самозваный царь. Сам назвался: «Ты царь: живи один...» С каких это пор цари живут в одиночку? Самозванцы — всегда в одиночку. Даже когда в почете, на троне. Потому что сами, на собственный страх и риск, назвались, и сами же знают... что сперва будет царь, а потом — казнь».

Вспомнив, что у Пушкина «самозванцы в любом звании» («барышня — в крестьянках, улан — в кухарках, Алеко — в цыганах, Дубровский — в бандитах», не говоря уж о Пугачеве и Гришке Отрепьеве), Синявский устанавливает, основываясь на неоднократных признаниях Пушкина, что Александр Сергеевич сам самозванец даже вдвойне. Человек уходит в поэты. Поэт же остается средь детей ничтожных мира, речется Евгением и — «шутки в сторону», «знал, что дарить Гоголю. Лжедимитрий — Пугачев — Хлестаков».

Да, эта карусель не для тех, кто слаб на голову. Пушкин дарит Гоголю сюжет «Ревизора», Гоголь воображает себя Иваном Александровичем,— Иван Александрович рассказывает, что он с Пушкиным на дружеской ноге, Пушкин передает об Иване Александровиче Гоголю... (А некоторые читатели изображают при этом немую сцену в финале.)

Синявский шутит; но Пушкин-то насчет «быть может, всех ничтожней он» — не шутил. Слез печальных не стирал. И Синявский совсем не шутит, когда, взяв под локоток гоголевского «бесцельного» выдумщика, «врет и верит»! — по всем правилам классической и даже гегелевской эстетики называет «Хлестаковым» не только грешный человеческий alter ego поэта, но и самого Поэта: вдохновенного лжеца, который обливается слезами над собственным вымыслом.

Следует посоветовать членам-корреспондентам и всему недовольному люду, прежде чем обижаться на Синявского, Гоголя и Гегеля, попробовать освоиться с горько-ироническим, игровым стилем «Прогулок» и задуматься, зачем и к чему тут «Хлестаков». Если же стиль, тон, остроумие, поэтические шалости и тонкости вам неинтересны — предоставьте лучше заботиться о Пушкине другим людям, тоже хлестаковым, самозванцам и поэтам.

«Самое золотое для поэтов времечко» (не сейчас, конечно, а в 20—30-е гг. XIX века). «Они тоже подались вслед за Хлестаковым — в Пушкины, в Гоголи. Никого не удержишь. Сам себе — царь. Начались неприятности». (Неприятности, впрочем, это видно из истории вокруг «Прогулок» и из многих других историй, как начались, так и продолжаются по сей день.) «Все люди — как люди, и вдруг поэт. Кто позволил? Откуда взялся? Сам. Ха-ха. Сам?!»

Да это, если хотите знать, вовсе не Синявского слова. И не Гоголя. Это из речи государственного обвинителя О. П. Темушкина на февральском процессе 1966 года. Самозванцу-Хлестакову, он же Абрам Терц, тогда дали за вранье о Пушкине семь лет строгого режима.

Синявский затем кое-что из Темушкина к себе в тетрадку и переписал.

Но Темушкин тоже не сам придумал, а взял из доступного ему, по роду службы, самиздата. Нет, не из Пушкина; хотя первоисточник, разумеется, и тут, как во всем, у Пушкина. Однако раньше поэтов ссылали в Бессарабию, или в Гурзуф, или просто в родовые поместья. Хоть подчас приходилось им тошно, но поэт мог еще, живописно задрапировавшись, молвить своим наставникам и преследователям, назвав их чернью: «Подите прочь — какое дело / Поэту мирному до вас!» и т. д.

Темушкин же обнаружил это в современной, куда более густой и страшной аранжировке. А именно: в «Четвертой прозе» Мандельштама.

Так, от Пушкина, через Мандельштама и Темушкина, попали в «Прогулки» эти дикие оскорбления в адрес настоящих писателей.

Если писателей ненастоящих Мандельштам незатейливо называет «густопсовой сволочью», «запроданной рябому черту на три поколения вперед» (сейчас как раз действует третье поколение — и, как и тогда, патриотически подзуживают кучеренка из дворни: «Вдарь, Васенька, вдарь!»), то с писателями настоящими, прежде всего с собою, он обходится, примерно, как Синявский с Пушкиным (или как Пушкин с Синявским):

«Мне и самому подчас любопытно: что это я все не так делаю. Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается?.. Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь... Во-первых, я откуда-то сбежал, и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету сил... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! ... Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен... Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же быть с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево, в нем главное — то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» (Разрядка моя.— **Л. Б.**).

Уж не отсюда ли «Прогулки» — не из «прогулов» ли?

И воля надменного беспризорного поэта к беззаконию, озорству, самозванству.

Со все той же неоскудеющей нежностью глядят — теперь вот на Синявского — «глаза писателей русских».

«Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра».

И — какое подозрительное совпадение, какой сговор! — пока патриоты охраняют Пушкина, принимая оного за бубличное тесто, налетчик Абрам Терц смело завладевает под носом у них дыркой от бублика, уносит пушкинскую «пустоту», наслаждается воздухом. И плетет, плетет проколы собственных брюссельских кружев: и все, подлец, изворачивается.

Кажется, сочинения Пушкина давно разжеваны и слопаны? Однако слава Богу! дырка — осталась.

Мандельштам спустя сто лет после Пушкина в (относительно) сходной ситуации не в силах придумать ничего нового. Пушкин: «Подите прочь». Мандельштам: «Пошли вон, дураки». Менее величаво — а суть та же.

Синявский, знаток русского лагерного фольклора и языка, должен бы выразиться колоритней. Но суть будет та же, я думаю...

Верно и то, что, несмотря на необыкновенно резкое падение культурного уровня черни — так что пушкинские строки звучат сегодня с неуместной торжественностью,— чернь все равно верна себе.

Мандельштам сказал о ней исчерпывающе. Всегда и везде она являет «помесь попугая и попа» — «попку в самом высоком значении этого слова». И всегда — светская ли, советская, антисоветская — ухитряется хотя бы «в духе» быть при начальстве: «сидит на пороге власти». И не выносит самоиграющего слова, вольной мысли, будучи «непосвященной», как масонски выразился Пушкин.

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит?..»
. . . .

Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры...

Какая затравленность, какая ненависть клокотала иногда в Пушкине!..

«Пушкин больнее других почувствовал самозванца. Кто еще до таких степеней поднимал поэта, так отчаянно играл в эту участь...?» Из протокола допроса Пугачева Синявский выписывает о намерениях оного «произвесть в себе отличность от других». Это и Пушкину «всегда улыбалось (общая черта поэтов и самозванцев)». Еще одна общая черта их, совершенно вытекающая из вышеуказанной, коренной: судьба после долгого везения, продемонстрировав жадно глазеющей толпе самозваного поэта, ведет его с блестящих подмостков на плаху и делает его смерть заключительным площадным зрелищем.

Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось...

«Смех. Жалость. Ужас. Пушкину досталось все это испытать на себе. Как он лично ни уклонялся от зрелища, предпочитая выставлять напоказ самодеятельных персонажей, не имеющих авторской вывески, их участь его настигла. Потому что сама поэзия есть уже необыкновенное зрелище. Потому что давным-давно он поднял занавес, включил софиты, и стать невидимым уже было нельзя... Приходилось умирать на виду, на площади».

Так А. Д. Синявский, выстраивая свою книгу по следам пушкинской поэзии и судьбы, подсаживается с Данзасом в экипаж и, потрясенный, едет на место дуэли.

Имя приемного сына Геккерена, как и имя самого барона, ни разу не упоминается; не в них дело. Дело и не в Наталии Николаевне Ланской (урожденной Гончаровой) — не в обиду ей будь сказано. Синявского интересует только ее первый муж.

Не сама по себе смерть поэта ужасает его — потому что и поэты смертны. Даже не то, что был *убит Пушкин* — как ни невероятно это известие, прошло достаточно лет, чтобы мы могли с ним свыкнуться. Но Синявского продолжает поражать беспощадная публичность смерти Пушкина, вывернувшей наружу его глубоко личные, интимные обстоятельства и впустившей в его спальню толпу, т. е. нас.

Ощущения автора «Прогулок» двоятся. И в высокой степени сложны.

Ему мучительно жаль человека, «доведенного до крайности», ставшего жертвой «интереса к его занимательной личности, к молве, к родне, послужившей причиной выстрела». Он пишет, что этот подогреваемый издавна интерес «достиг невиданной тяжести, какая только может обрушиться на человека». Расплачиваться пришлось — человеку. За то, что «стал всеобщим знакомым».

Но стал он им закономерно — по милости поэта! и его неслыханно новой поэтики. «Ох, как рискованно впускать в стихи биографию, демонстрировать на подмостках лицо. Это же самозванство! Начнут допытываться, кто таков, на ком женился, зачем стрелялся».

У Синявского дуэльная история выходит, таким образом, сгустком всей книги, всей концепции, всей поэтики Пушкина. Для тех, кто до истинного чтения и понимания Пушкинских сочинений не дорос, на первый случай довольно дуэли. Возражение Синявского Тынянову, оскорбленному обывательским интересом к дуэли, заслоняющим Пушкина-поэта, состоит в том, что интерес этот в некотором высшем, почти трансцендентном смысле оправдан, спровоцирован самим Пушкиным... Пушкин первым у нас создал уникальность и персональность творчества, явил читателям свое лицо вместо классицистической (или романтической) жанровой маски — и... дал словно бы право интересоваться им как таковым, «попал в положение кинозвезды».

Притом: «единого человека-поэта он рассек пополам, на Поэта и человека, и, отдав преимущества первому, оставил человека ни с чем...»

Поэтому Синявский видит дуэль — именно благодаря ее сугубо бытовой, сниженной, оскорбительной подоплеке — как поединок между двумя рассеченными у Пушкина половинками, Евгением и Медным всадником, человеком и Поэтом: как еще одну недолгую, маленькую Трагедию. На Черной речке, по Синявскому, то ли человек стрелял в подставившего его молве Поэта, то ли Поэт стрелял в человека, ибо «сплетню первым пустил поэт».

Тот, кто хочет перевести это с парадоксального, ртутного языка Синявского на более привычный нам, вынужден будет пояснить: стилистика гибели Пушкина была словно «итогом его трудов» ввиду вечной своей прилюдности. С этой точки зрения (не психологической, не бытовой, а берущей коллизию Поэта и человека) сплетня, дуэль и смерть выглядят не бессмысленными, а художественно законченными. Так голова Пугачева кивнула Петруше Гриневу, а «через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу». Эту свою полную гибель всерьез Пушкин уже не раз репетировал вместе с Пугачевым, Самозванцем или Дон Гуаном, который по собственной воле пригласил смерть на свой любовный ужин.

Гибель Пушкина выставлена Синявским как неотвратимая, может быть, участь Художника: со всечеловеческой, метафизической подкладкой.

Кто знает, не прав ли он.

А иначе — почему мы до сих пор, будто Озириса, оплакиваем и воскрешаем Пушкина? Или будто Христа... Что за, на самом деле, странная мирская Пасха в каждом январе?

Нельзя ведь горевать о том, кто умер в первой половине прошлого века. Тем более, что в конце концов и все другие умерли, тоже великие. Оплакиваем же мы только Пушкина, особенно интересуясь, как и при каких обстоятельствах это произошло. Извинить наше любопытство может только предположение, что за этим стоит какая-то высшая тайна: творчества, поэзии, человеческой жизни, ее божественности и ее обыденности, токов между землей и небесами. Мы все тоже зрители (или участники?) этой скверной и пронзительной истории.

Поэтому Синявский пишет грубо, т. е. прямо. Как больно! Как перехватывает дыхание! И ему не до светских условностей, смерть поэта, всякая смерть требует честного разговора.

«Что, спрошу я прямо, потому что жизнь коротка, и вызов послан, и увертками уже не поможешь, что Пушкин, знавший себе цену, не знал, что ли, что века и века все слышавшее о нем человечество, равнодушное и обожающее, читающее и неграмотное, будет спрашивать: ну а все-таки, положа руку на сердце, дала или не дала? был грех или зря погорячился этот Пушкин? Если не вслух интеллигентные люди, то мысленно, в журналах, в учебниках. Потому что не в постели, а на сцене умирал Пушкин. Не на даче, а на плахе целовалась или не целовалась Наталия Николаевна с прекрасным кавалергардом. Выстрел озарил эту группу бенгальским огнем.— Ну а все-таки?.. От одной этой мысли... «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе...»

Боже мой. Но ведь так и есть. И особенно в последние годы пушкинисты очень стараются, отрицательно отвечая публике на этот вопрос.

Именно Синявский снимает с благовоспитанной возни вокруг поведения Пушкина, его жены, Дантеса и пр. налет нескромности и пошлости, пусть академической, пусть невольной. И, посредством грубости, как это было заведено в шекспировской трагедии (вроде фразы Гамлета, спрашивающего у Офелии разрешения «лечь между ее ног»), уравновешивает и обостряет пафосность — поднимает еще выше тон. Вдохновенно, каким-то уже почти шестым или седьмым чувством, ведет он трагическую тему гибели Пушкина под «тысячью биноклей на оси».

И — после необходимой «грубости», резкости, откровенности, благодаря этим хриплым басам — взлетает тут же в колоратурные трели, в небеса, к идее... да, да, конечно же, к идее чистого искусства!

Для звуков сладких и молитв.

Пушкин... «Как одним этим выстрелом он высказался до конца и ответил всем своим лицам: негру, царю, самозванцу!..»

К манере выражаться Абрама Терца надобно привыкнуть, сойтись с ней накоротке, чтобы не принимать за какого-то Собакевича автора, выражающего свою абсолютную преданность Пушкину в ласковом бурчании и воркотне: как Савельич с Гриневым.

Допустим, мы читаем об «Онегине»: «При всей разносторонности взгляда у Пушкина была слабость к тому, что близко лежит»... «Пушкин карикатурно, гиперболически мелочен — как Плюшкин...» Не торопитесь возмущенно пожимать плечами. Лучше почитаем следующие же фразы. «Впервые у нас крохоборческое искусство детализации раздулось в размеры эпоса. Кто из поэтов ранее замечал на человеке жилетку, пилочку для ногтей, зубную щетку, брусничную воду?» Это Синявский, что же, Пушкина — хает? Нет, это он так его расхваливает. Де, Пушкин «открывал Америку, изъезженную Чеховым. Под Чехова у него уже и псевдоним был подобран: Белкин». Дальше: «Там много столовой посуды, погоды, бальных ножек, и вследствие этого кажется, чего там только нет. На самом же деле в романе внаглую отсутствует главное и речь почти целиком сводится к второстепенным моментам». Как это «отсутствует главное»?! И что за брань? Ну, отсутствует для тех, кто — поверив буквально насчет «энциклопедии русской жизни» — хочет найти в «Онегине» историю, социологию и пр., вообще крупную идею. Но там нет решительно никаких идей, которые были бы в состоянии соревноваться с идеей «свободного романа», нового понимания литературы.

Тут-то Синявский и начинает воодушевленно ломиться в открытую дверь, но, как обычно, проделывает это таким манером, что вы следите с изумлением и протираете глаза.

Никто еще так убедительно не сокрушал Писарева! — не выдвигая в ответ идеальности или гражданственности Пушкина, не споря с писаревскими претензиями к поэту, а лукаво подхватывая их, возводя в энную степень и обращая наконец в плюс бесконечность.

«Пушкин нарочито писал роман ни о чем... Здесь минимум трижды справляют бал, и, пользуясь поднятой суматохой, автор теряет нить изложения... (это о знаменитых «лирических отступлениях»! — но Синявский не был бы Абрамом Терцем, если бы удовлетворился сказанным и не пожелал бы «внаглую», открыто радоваться и нагромождать синонимические обороты, выкрикивая в поощрение Пушкину, как болельщик на стадионе, когда его команда берет верх)... теряет нить изложения, плутает! топчется! тянет резину!! и отсиживается в кустах, на задворках у собственной повести!!!» (восклицательные знаки мои.— **Л. Б.**).

Оказывается, ссора с Ленским только для отвода глаз поставлена в центр коллизии (а как же насчет бодрящего присутствия трупа?.. ну-с, здесь Синявский захвачен уже иным соображением, нечего педантически придираться...). Что же в центре романа на самом деле? Да проволочки! — к этой ссоре «буквально продираешься... начиная с толкучки в передней». Вот, по мнению автора «Прогулок»,

строки, относящиеся к наиглавнейшему в «Онегине»: «Лай мосек, чмоканье девиц, / Шум, хохот, давка у порога». Это то Синявский — тоже, кажется, не меньше Пушкина ошалев от перенасыщенного озоном стиля романа — считает его главным или, может быть, единственным содержанием: «атмосферу непроизвольного, бескрайнего существования», «воздух, которым проветривалось пространство книги, раздвинувшей свои границы в безмерность темы, до потери, о чем же, собственно, намерен поведать ошалевший автор».

Вот так. Теперь мы уяснили, к чему клонилась эта мнимая выволочка Пушкину — так млеющая от любви мамаша пошлепывает ненаглядное дитя. Теперь заметив, что Синявский хвастает «Онегиным», будто роман сочинил не Пушкин и не Загоскин, а он, мы приуготовлены к самодовольному заявлению: «Салонным пустословием Пушкин развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло». И главное в стиле и замысле «романа в стихах» — «БОЛТОВНЯ».

Вот так, судари мои.

Впрочем, автор тут же честно признается, что, столь энергично обозначая существо романного жанра, он всего лишь подбирает за Пушкиным. «Роман требует болтовни: высказывай все начисто»,— писал потомок Ганнибала в 1825 г.

Синявский и высказывает.

Нам иногда кажется, что он фамильярничает с Пушкиным, на деле же он принимает амикошонский тон всего только с литературоведением, шутливо тыча пальцем в кругленькое брюшко теории. За термином «болтовня» разумеется реализм. То есть: «сфера частного быта, который таким способом вытаскивается на свет со всяким домашним хламом и житейской дребеденью».

Что-то похожее об этом мы уже читали вообще-то в разных местах... и даже в учебниках? Освоившись с обыкновениями Синявского, мы находим, что, в сущности, его парадоксы и экстравагантности — это нередко маскарад общих мест, которыми он очень дорожит — вслед за Пушкиным.

Все же в истолковании Синявского существо дела не только лучше запоминается, но и отряхивается и как-то молодеет. Веселое преувеличение позволяет лучше понять, почему «с пушкинского реализма не спросишь: а где тут показано крепостное право?» Мол, Пушкин вместо серьезного анализа «действительности» «мчался дальше давить мух», лишь бы «проворней оттараторить», отчего и «строфа у Пушкина влетает в одно — вылетает в другое ухо».

Абрам Терц пытается подстроиться под шаг легконогого спутника. Он прыгает, как воробей, и тащит в гнездо своей книги что ни попадя. Скажем, описывает повадки пушкинской поэзии посредством советской песенки своего детства: «По морям, по волнам, нынче здесь — завтра там». И, бормоча это машинально, мурлыча под нос, продолжает напряженно думать над Пушкиным.

Конечно, что это, в конце концов за литературоведение? Не надежней ли почитать, скажем, таких замечательных пушкинистов, как Ю. Лотман, С. Бочаров, Н. Эйдельман или ранний В. Непомнящий (когда тот занимался поэтикой Пушкина, а не его женой, няней и нравственным величием, не став еще пушкинистом-фундаменталистом). А кто спорит? Вестимо, надежней.

Но и то сказать: ведь не 50 таких безответственных книг о Пушкине написано, как «Прогулки», и не 10, только одна...

Ишь ты! — «давить мух», «оттараторить»... Об «Онегине»!

А попробуйте строго спросить с Синявского — он, как и Пушкин (по его мнению), «всегда отговорится: да я пошутил».

В шутках Синявского, думаю, намек и урок для пушкинистов и просто для читателей Пушкина. Да только много ли среди нас добрых молодцев?

«Не шути с женщинами,— советовал Козьма Прутков,— эти шутки глупы и неприличны». Тем более не следовало шутить с угрюмыми адептами Пушкина, с дикарями, только и смазывающими своего идола моржовым салом.

«Твоя моя не понимай».

Что это такое с нами, кто мы такие? Я познакомился с Андреем Синявским недавно, в сентябре 1989 г. Тревожно заглядывал мне, читателю, в глаза, он разъяснил на всякий случай: «Но ведь я Пушкина люблю». И комок подошел у меня к горлу. Сколько же надо было травить человека за книгу во славу нашего первого поэта, делающую честь современной русской культуре.

Или нас в детстве мало пороли, оттого мы так невежественны и злобны?

Или — слишком уж много пороли, вот и выросли такими.

Раньше люди были более деликатными и воспитанными. Но и современники Пушкина бывали сбиты им с толку.

Например. «Я не погрешу перед потомством, если скажу, что на его бекеше сзади на талии недоставало одной пуговки. Отсутствие этой пуговки меня каждый раз смущало, когда я встречал А. С.-ча» (Н. М. Колмаков. Очерки и воспоминания).

Успокойтесь, г-н Колмаков. Не смущайтесь же. Это так и надо, чтоб недоставало у Пушкина пуговки. Притом именно сзади на талии. Это г-н Терц срезал с полного его, поэта, согласия.

Не погрешите в своем смущении перед потомством.

К тому же, откуда Вы знаете, что встречали А. С.-ча? Вы обознались. Это был не Александр Сергеевич и не Андрей Донатович. Их в ту пору вообще не было в Петербурге.

Есть две категории людей, с которыми

спорить о «Прогулках» я считал бы излишним.

Во-первых. Нетрудно понять тех, чей вкус сформировался слишком давно и прочно, чтобы они могли, заглянув в книгу А. Д. Синявского, не отшатнуться. Полагаю, что, в частности, известная грубо-ругательная статья покойного эмигранта Романа Гуля искренне свидетельствовала именно о такой тканевой культурной несовместимости. Тут ничего не поделаешь, хотя приличней было бы не превращать эстетическое разновкусие и разномыслие в предмет публичного скандала, не сталкивать своего «моего Пушкина» с чужим «моим Пушкиным», тем более не идеологизировать это столкновение. Ведь в итоге расплатился не столько Абрам Терц, заплатил — как всегда — Пушкин... Если Вы воспринимаете поэта на иной лад, любите его по-иному — да на здоровье. Только зачем же стулья ломать?

Гораздо сложней случай с Александром Исаевичем Солженицыным. Не так уж много на свете вещей — кроме, разумеется, большевизма и т. п.,— в отношении к которым Солженицын и Синявский совпадали бы. Однако идейная, почвенно-патриотическая, политическая и всяческая страсть, с которой автор «Матренина двора» отринул «Прогулки» аки измышление бесовское, в подоплеке своей заключала все-таки, полагаю, принадлежность к совершенно разным группам крови по художественному мироощущению. Или — скажем так — по самой стилистике, мыслительной и словесной. А такого рода несовместимость имеет, как известно, куда более решающее значение, чем любая другая. Тут уж действительно ничего не попишешь.

Во-вторых. Вовсе бесполезно страшиться обид и оспоривать тех, кому — допустим даже, что они тоже по-своему искренни — нет дела до Пушкина. Какой там... Пушкин. Пройдя по всей Руси великой, слух о нем дошел и до них... но поэт, пожалуй, рассчитывал на большее.

Прежде всего это люди без малейшего чувства юмора [1].

Бедные, обозленные, напуганные люди, которые Пушкина истово почитают, но не читают. Или, во всяком случае, наслаждаться Пушкиным в отличие от Синявского ни за что бы себе не позволили, сочтя неприличным... В конце концов их тоже можно понять. У них, ошеломленных, под носом, «внаглую», Синявский перемахивает через стены державной пушкинистики с колючей проволокой в три ряда — и бежит, бежит в тайгу. На волю. Хоть день — а с Пушкиным, а мой!

А следом поднимают тревогу, палят с вышек, спускают собак.

И — «спасай Россию!»

Между тем она уже спасена. Если в самые тусклые, сиротские времена да еще на нарах написана была в России такая книга — значит, хотя бы и на цепи, не кончаются чудеса у лукоморья и пахнет Русью, сказочно богатой.

Книга Синявского, несмотря на всю свою тонкость, задумана с простодушной прямотой. И жанр ее очевиден.

Это жанр объяснительной записки.

Автору было сказано, где надо: «Вот вы настаиваете, что вы художник и что пострадали именно за это, а не за политику. Тогда давайте объяснения: что же такое, по-вашему, художник?»

Синявский сел — и написал.

Его трактовку поддержали только создатели фильма-мультипликации «Рисунки Пушкина» (т. е. Андрей Хржановский, Ю. Норштейн — и сам поэт).

Большинство же пишущих у нас теперь о Пушкине предпочитает следовать не Андрею Донатовичу Синявскому, а Петру Бернгардовичу Струве, который в 1937 г. выступил со статьей «Дух и Слово Пушкина», недавно сочувственно перепечатанной «Вопросами литературы» (1989, № 12). Статья начинается различением Духа Пушкина и его Души. «Дух не есть Душа». Доказуется это ссылкой на Первое послание Павла Коринфянам. Далее мы читаем: «Через тайну Слова Пушкин обрел Дух, и этот Дух он воплотил в Слово». (Заглавные буквы составляют существо взгляда Струве. Он всецело подчиняет поэзию Пушкина ее будто бы религиозному сверхсмыслу. Синявский же посвящает свою книгу не Духу, а духу Пушкина, не Слову его — а слову.) «Поэтому,— продолжает Струве,— говоря о духе Пушкина, нет надобности распространяться об его жизни, с ее страстями и ошибками, с ее грехами и падениями. Эту жизнь надо узнать, чтобы познать Дух Пушкина. Этой жизнью, конечно, жила, в ней и ею наслаждалась и страдала, упивалась и изнывала его душа. Но эту жизнь преодолевал его Дух». Струве не следует понимать так, что художник в Пушкине не тождествен бытовому человеку, соотнесен с ним двойственно и драматически (тогда опять же получился бы обыкновенный Синявский, но никак не Струве). Нет, оказывается, и в поэзии нам не надлежит находить

[1] Не так давно мы прочитали в «Литературной России» (№17, 1990, стр. 15) отповедь острослову, написавшему в «Огоньке» о М. Жванецком, что того «можно рассматривать как зеркало русской интеллигенции, а также как высшую и последнюю стадию». В ответ на сие, не лишенное признаков ехидного дружеского шаржа опознание Жванецкого посредством знаменитых заголовков, Отдел критики и библиографии журнала заявил: «Мы видим трудолюбие и эстрадный талант Жванецкого, но сомневаемся, в отличие от И. Двинского (имя остряка.— Л. Б.), что творчеству сатирика заранее отведено место в истории отечественной культуры». Ай да Отдел! Положим, для библиографии чувство юмора неуместно, но для критики? И почему же библиография, служащая в том же отделе, не подсказала критике, к каким основополагающим ленинским трудам отсылает И. Двинский желающих по-партийному разобраться в лучшем хохмаче нашей эпохи зрелости и падения советского социализма? Так что же взять с людей, которые признаются, что их «ошеломляют» любые шутки, не лишенные изящества, ежели «Прогулки» довели их до настоящего ступора?

проникавшую в нее неразборчивую пушкинскую душу, слишком связанную с плотским, с громадным жизнелюбием, пирами, волокитством, с «безумством гибельной свободы», с «площадным вольнодумством» (А. Тургенев). «Конечно, и душа Пушкина отразилась в его словах и стихах»,— сожалеюще признает Петр Бернгардович. Поэтому потребна селекция. Струве считает совершенно уместным для себя вмешаться в ролн благонравной и набожной дуэньи в «сожительство в Пушкине неистово страстной и жадно-безумной души с ясным и трезвым, мерным и простым Духом».

А ведь «дух веет, где хощет»; и с христианской (но не синодально-моралистической, не нормативной, а мистической, подлинно смиренной) точки зрения никому не следовало бы решать, что в творчестве Пушкина угодно или неугодно Промыслу.

В «словах и стихах» Пушкина Струве дорожит только теми, в коих можно бы усмотреть Боговидение... Например: «ясный и неизъяснимый, тихий и тишина». По подсчетам Струве, эти слова встречаются у Пушкина чаще других; так что ученое доказательство налицо. «Ясный дух Пушкина смиренно склонялся перед Неизъяснимым в мире, т. е. перед Богом, и в этом смирении ясного человеческого духа перед Неизъяснимым Божественным Бытием и Мировым Смыслом и состоит своеобразная религиозность великого «таинственного певца» Земли Русской». И т. д., и т. п.: см. особенно главку «Величие Пушкина», где в одном последнем абзаце заглавных букв, кажется, больше, чем во всей книге Синявского.

В те же дни, когда Пушкин был возведен в должность Генсека русской классической литературы, эмигрант Струве точно так же причислил Сверчка к лику православных святых. Сейчас, когда все не только советское, но тем же самым махом и светское желают заменить на противоположное,— перепечатка из Струве замечательна подкупающей чистотой методологии.

Хотя перед нами очень образованный автор, спор и тут невозможен. Может быть (скучный) спор между прежней официальной и новой полуофициальной трактовками Пушкина, т. е. между идеологизацией государственно-марксистской и идеологизацией государственно-национально-православной. Но никогда ничего не выйдет из спора между восприятием Пушкина как просто... гениального художника — или же, в стиле Петра Струве, как Национального и Божьего Откровения.

Да, это — мы... Нельзя представить себе книгу испанца о Сервантесе, англичанина о Шекспире, немца о Гете с интонацией Струве... Но зато и с интонациями Синявского тоже, с лихорадочными, неистовыми поэтическими возражениями Марины Цветаевой людям вроде П. Б. Струве — тоже. Нельзя вообразить себе и какого-нибудь итальянского буфетчика, который, как у Булгакова, спрашивал бы клиента: «А платить кто будет, Данте?» Ведь профанное снижение возникает лишь по отношению к сакральному. Богохульством сопровождается богопочитание. И вот в нашей традиции два Пушкина в удивительной паре: пока один в патриаршей ризе благословляет верующих во храме, другой спрашивает пиво в буфете.

Спорить нужно только с теми, кто к Абраму Терцу великодушен. Защищать его придется только от его защитников.

По мнению Ларисы Васильевой, Толстой отрицал Шекспира, чтобы утвердить собственный взгляд на мир; тем же «литературным приемом», «естественным для самостийного поэтического характера», воспользовался Юрий Кузнецов — и «справа», «со свойственной ему медвежестью заворчал на Пушкина». И, наконец, «левый» Андрей Синявский «позволил себе довести тот же прием утверждения через отрицание до форм гротеска» (Вот так компания!). С разных сторон, «раздерганные, дисгармоничные люди», «не слыша Его», «натягивают на себя» Его, «не вникая в суть». «Он» все время с заглавной буквы, но под Ним понимается, бесспорно, Пушкин, а не Тот, Которого принято понимать под Ним, хотя и говорится об Александре Сергеевиче так: «Он даже позволяет трепать свое доброе имя, как трепали Его при жизни и после смерти, которой (слушайте, слушайте! — Л. Б.), собственно, не было». Ему «хочется помочь человечеству разобраться в себе». Он «хочет помочь, а мы не понимаем». Таким образом, Пушкин — с кощунством, даже не осознанным,— прославляется как Спаситель и Утешитель человеков. А грешные — почему-то чохом — Кузнецов и Синявский оправданы сначала тем, что их «отрицание» Пушкина — позволительный для поэтов и прозаиков «литературный прием» самоутверждения; а затем уж, напротив, общей слабостью нашей в попытках, совершая над Ним насилие, «найти точку опоры и оправдание поступкам». То есть все сие суть грех, и беда, и всяческая суета «правых» ли, «левых» ли, всех нас, глупых и сирых. Он же, Пушкин,— добр, прощая нам в неизреченной благости своей.

Что до «Прогулок с Пушкиным», то, «прочитав «Прогулки» целиком», поэтесса придала решающее значение «месту написания», значащемуся под последней страницей (вот и надо было читать только одно слово под последней страницей!): «Дубровлаг». «Это слово многое объясняет: человек писал книгу в тюрьме, в атмосфере, трудно представимой тому, кто там не бывал». И «пытался выжить с помощью Пушкина, посредством того самого шаткого... приема». «Но при чем тут Пушкин?»

В самом деле, при чем тут Пушкин, если Его «помощь» Синявскому сводилась к тому, что он терпеливо позволял бедному зэку «сквернословить» о Себе, «нападать» на Себя, и прочее, и прочее. Пушкин, однако, превыше и обожания, и хулы. Простим же Синявскому, ибо Он (А. С. Пушкин) заповедал прощать. Вот, значит, что извлекла Лариса Васильева из «Прогулок»... «прочитав целиком» их?! («Литературная газета», 6 июня 1990 г.) Вот пример, как «вникать в суть»?

Опытный и достойный критик И. Золотусский в небольшой, но очень характерной статье «Завет Пушкина» («Московские новости», 8 июля 1990 г.) тоже считает, что у дерзкой книги Синявского есть оправдания. И вот какие. Во-первых, «Пушкин любил мистификации, книга Абрама Терца тоже в некотором роде мистификация». То есть предложенное в ней раздумье над пушкинским творчеством, целостная концепция этого творчества — розыгрыш?

Во-вторых, крайне существенно, что «подписана она не настоящим именем автора... а псевдонимом, да еще псевдонимом дразнящим». «Андрей Синявский, быть может, и не посмел бы так написать о Пушкине, но Абрам Терц смог, эта игра имен серьезнее, чем кажется: в ней есть целомудрие, оправдывающее фамильярность текста». Псевдоним действительно занятный и выбран неспроста. Но ведь «Голос из Хора» тоже подписан Терцем, и роман «Спокойной ночи» подписан Терцем, а это книги не о Пушкине и не о Гоголе, а о себе, о Синявском. Чтобы оправдать фамильярность с собой, своей женой и судьбой? Правильно. Всю прозу Синявский доверил подписывать одесскому бандиту Абраму; ему понравилась острая, как щелчок, странная, внезапная фамилия. Она, видите ли, больше идет манере Синявского, чем собственные имя и фамилия, доставшиеся случайно. Терц — это писатель в Андрее Донатовиче. Иначе: самое личное и лучшее в нем. Так что, смею утверждать, «так написать о Пушкине» «посмел» не кто иной, как Синявский. Это он, он, голубчик. Он обмануть КГБ своим таинственным псевдонимом не сумел. Что ж И. Золотусский позволил себя провести?

В-третьих, смысл мистификаторской затеи и дерзостей «Прогулок», по мнению критика,— «вызов, оппозиция, насмешка над официальным пушкиноведением, официальным Пушкиным». «Терц смеется над Пушкиным, изваянным академической наукой, он против... огосударствленного Пушкина, навязанного нам со школы...» Об этом еще потолкуем. Пока лишь скажу то, что пытался обосновать всей настоящей статьей: «насмешка над официальным Пушкиным» составляла не более 1/100 замысла Терца, а, пожалуй, и только 0,003%... так, неизбежный обертон, легкий привкус, Терц вообще ничуть не «смеется». Он серьезен, как, может быть, никогда. Это мы то и дело улыбаемся, даже счастливо смеемся, но и глубоко, хотелось бы предположить, задумываемся. А иногда плачем, вместе с Терцем.

Но, ежели впрямь речь идет не о настоящем Пушкине, а об его «огосударствленном», казенном монументе,— тогда я не понимаю, почему «Синявский не посмел бы так написать», в чем такая уж «дерзость» и «непозволительная свобода в отношении к нему», Пушкину. Тогда, напротив, это Пушкину Синявский-Терц дарит снова свободу и, «в чужбине свято наблюдая родной обычай старины», выпускает (как тот — птичку) из клетки. Нехитрое дело; и не стоит шума; и не требует оправдания.

В-четвертых, пишет Золотусский, «тут венок Пушкину от зэка, и в венок этот, помимо роз, вплетены шипы». «Отрицание» (все же — кого? Пушкина? «официального Пушкина»? или как-то их обоих?) — для Синявского означает «муки и крики» его собственного «освобождения»; «дразнит он в первую очередь себя: себя вчерашнего, себя советского, себя подневольного. Тут драма освобождения, а не покусительство на святыню...» При всей психологичности и благожелательности этого хода, боюсь, дело поворачивается к тому, что Синявский, взяв в сообщники Терца, делает подкоп под своей внутренней несвободой все-таки за счет поэта Пушкина, которому заодно достается крепко, незаслуженно и — что там ни говори, если и ради его, Синявского, расковывания — поистине «непозволительно». Даже «муки и крики» (ср. Л. Васильева) не извиняют до конца злосчастного автора.

А может быть — если «в этой-то свободе и все дело»,— Синявский обретает ее никоим образом не за счет Пушкина, а *вслед* за ним? И это удается потому, что Синявский «вчерашний» тоже вовсе не был «советским» (что и установил справедливый суд).

...Прав И. Золотусский: «пушкинские публикации 1990 года вновь поставили вопрос о свободе, столь жадно алкаемой нами и все еще далекой от нас. Наверное, и обществу нужно учиться перечитывать Пушкина, наверное, свобода нужна и читателю...» Прекрасные слова. Но критик заканчивает эту фразу таким образом, что «погулять» с Пушкиным надо бы не по Терцу, «не в четырехугольнике лагерного двора», «а в чистом поле, где любил гулять сам поэт».

Это абсолютно несправедливо. Книга Синявского — именно о Пушкине во чистом поле,— именно к нему и туда приглашает она читателя, гораздо менее свободного, чем был изначально свободен А. Д. Синявский в лагере. Без чего он, разумеется, не сумел бы написать ни единой страницы своих трех лучших книг.

Тут бы, на этой ноте о свободе и Пушкине, и начать настоящий разговор о «Прогулках». Но... критик далее толкует об «ином Пушкине, Пушкине «перебесившемся», успокоившемся» якобы в 1836 г. Это в стихах-то «Из Пиндемонти» Пушкин перебесился?! «Никому отчета не

давать, себе лишь самому служить и угождать»... о, этот «успокоившийся» «в приятии Божественного религиозного корня» поэт (цитата Золотусского из С. Франка) доставил бы еще немало беспокойств и царям, и «народу», и цензуре, и женщинам... Пушкин, и доживя до старости, никогда не угомонился бы. Что до сакраментальных «Отцов-пустынников и дев непорочных», на коих всегда налегают, желая посредством этого «переложения молитвы Ефрема Сирина» объять Дух наизрелого и окончательного Пушкина (который и автор статьи «Завет Пушкина» усматривает в строках: «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи»), то я думаю следующее. Способность Пушкина к «всемирной отзывчивости» сказалась в этих его православных стихах никак не меньше (но в конце концов и не больше), чем, допустим, в цикле «Подражаний Корану», или в католическом «Рыцаре бедном», или в языческой «Песне о вещем Олеге»... или в стихах о покаянии и воинственности короля готов Родрига, или о «бесстрашном седоке» доне Альфонсе, не убоявшемся двух повешенных «братьев-атаманов» (1835); ни в «Подражании арабскому» (тоже 1835 г.), где Пушкин столь же проникновенно вживается в психологию однополой любви, вот уж ему чуждой; и все это вперемежку в тот же, заключительный период творчества...

Правильно видеть «завет» Пушкина в «Отцах-пустынниках». Но столь же правильно внять (тоже позднему): «От меня вечор Лейла / Равнодушно уходила, / Я сказал: «постой! куда?» Не менее сильные стихи... и тоже «завет». И ни тени целомудрия... Дух Пушкина веет, где хощет.

Треть статьи И. Золотусского о Пушкине — через ссылку на то, что поэт в «Борисе Годунове» «навсегда проклял насилие»,— отдана сюжетам, «не имеющим как будто никакого отношения к Пушкину». Почему же «как будто»? Послания патриарха Тихона в 1918—1922 гг. к новым властям по поводу зверств и преследований против церкви — действительно не имеют отношения к грехам царя Бориса. Так же, как и письмо Ленина к членам Политбюро с требованием репрессий против церковников... Однако критик, приведя выдержки из Ленина, замечает: «Прочти это Пушкин, я думаю, он ужаснулся бы. Он бы не смог этого не только принять, но и понять. Вся его жизнь стремилась к тому, чтобы найти примирение с Богом, найти успокоение в мире, в труде»,— вот тут-то критику и пригодились, разумеется, «Отцы-пустынники»...

Как грустно! Потому что при всем уважении к П. Струве и И. Золотусскому я считаю их понимание того, к чему «стремилась жизнь Пушкина», открыто не отвечающим фактам, сочинениям, поведению, письмам, истории последней дуэли. Причем это делалось и делается ради очередной благонамеренной, на сей раз религиозной и антибольшевистской идеологизации Пушкина. Мы — что, не поймем до последней глубины «Завет Пушкина», не прочитав послания патриарха Тихона к М. И. Калинину или письмо Ленина в Политбюро? И — более того — не заставив Пушкина тоже это читать?! У меня лично недостает никакого воображения, чтобы представить Пушкина за изучением напечатанного «впервые в СССР» в «Нашем современнике» письма Ленина в Политбюро... К чему бы это Пушкину быть, как мы, поглощенным советской периодикой? И как он действительно способен что-нибудь понять в «Политбюро»? Вообще — что, у него своих дел нет?

Где пушкинское имение, где большевистское наводнение?

А вот «Прогулки», принципиально исключающие всякую идеологизацию Пушкина, даже святоотеческую и антиленинскую или антипугачевскую,— я бы Александру Сергеевичу, загляни он снова на недельку в наши палестины, очень советовал бы почитать. Ему было бы занятно.

Как ни относиться к книге Синявского, снисходительности она все же не заслужила.

Советская каторга реальна и не лишена, судя по «Голосу из Хора», человечности. Жить в ней, говорят, как ни тяжко, но можно. Хотя особенно не прогуляешься. А с Пушкиным — наоборот.

С ним светло, но одним Искусством не проживешь. Вот: земля и небо, каторга человечьего существования и Пушкин в нем, спасительный заячий тулупчик художества. «Не сила, не доблесть, не хитрость, не кошелек» — «только заячий тулупчик спасает»,— узнал у Пушкина Абрам Терц. Только случайность, особенность, странность, чрезвычайность и протеизм художества, его пушкинская универсальность — и свобода, таинственно пробирающаяся сквозь волнистые туманы.

Мы бродим средь шумных улиц. Входим в многолюдные храмы. Бражничаем с безумно-беззаботными юношами. Но, сколько б здесь ни было нас... Промчатся годы. Мы все сойдем! И чей-нибудь уж близок час. Но, пока мы живы,— мы, слава Богу, читатели поэзии. А кого же еще затверживать русским читателям, если не Пушкина.

И читатель — как чертенок, замороченный Балдой,— задыхаясь, пытается поспеть за зайцем. За тулупчиком.

Как ни огорчительно, спорить приходится не только с И. Золотусским, но и с другими достойными людьми. Например, с таким мудро-либеральным эссеистом, как Г. С. Померанц (Диаспора и Абрашка Терц.— «Искусство кино», 1990, № 2). Он тоже прощает Терцу! — ввиду соображений уважительного, антисоветского свойства.

Г. Померанц заявляет, что Синявский «вообще склонен к кощунству», что его искушал, как и Бодлера или Ницше, «демон превратности», ибо «Синявский-Терц, связанный с культурой Запада, как связана была вся петербургская Россия,— сын своего больного времени» (ср. с Л. Васильевой!). Но кощунствует он все же, по Померанцу, не над Гоголем, а над «тенью Гоголя» в официальном советском обиходе и не над Пушкиным, а над превращением его в «кариатиду, поддерживающую правительственный балкон», в «члена Политбюро». (Опять Политбюро!) Оказывается, именно эту ситуацию «остро чувствовал Синявский, сидя в лагере... ему доставляло удовольствие плевать в юридически совершенно не защищенную часть официального фасада». И вот он издевался, но «не над Пушкиным», которого, к сожалению, и эмиграция превратила в икону. «Служилая интеллигенция, освобождаясь от гипноза страха, наглела»: «Почему не столкнуть живого, дерзкого Пушкина с советской кариатидой?»

Даже в пределах этой схемы есть, по-моему, противоречие. Опять-таки: если Синявский «плевал» не в Пушкина, а в советский идеологический фасад, тогда причем кощунство? и к чему тут Бодлер и Ницше? и «больной век», и этот демонический Запад? Если просто зэк отводил душу и плевал в безопасном направлении?

Увы. У Померанца, как и других защитников Терца, тоже сложилось убеждение, что смысл «Прогулок» состоит в издевке, кощунстве. Т. е. книга воспринята совершенно в том же ключе, что и со стороны всяких молодогвардейцев! и что ж с них взять, если и проницательный Григорий Соломонович именно оплевывание, и прежде всего оплевывание, расслышал в этой прозе. Лишь иначе истолковал адрес издевательского замысла.

Как странно! Померанц, стало быть, считает, что Синявский, показывая кукиш советскому Пушкину, сочинял в Потьме сугубо идеологический гротеск. А по мне, очевидно, что эта работа сугубо культурная, что ее цель — постигнуть настоящего Пушкина, притом взятого целиком и безоговорочно, от лицейских проказ до тоски и усталости от мира и до смерти на виду у любопытствующей публики, от первых мадригалов юного «ленивца» до «Онегина» и трагедий. Да не советскими благоглупостями был всецело поглощен Синявский, пересылая невиданные письма жене Марье Васильевне, не соображениями диссидентского, хотя и подцензурного, свойства дышал,— а Пушкиным! Тем самым, Александром Сергеевичем.

Или, если угодно, даже более того: в феномене пушкинского гения Синявского занимала сущность искусства. Более чем непринужденный, приятельски-насмешливый и подчас грубовато-бытовой, сплошь остроумный тон был перенесен в «Прогулки» из пушкинских писем. А не из московских застолий «служилой интеллигенции»: та интонация, пригодившаяся «на капустниках хрущевского времени», на истолкование Пушкина не потянула бы... Какое там, к дьяволу, «политбюро» из русских классиков, до таких ли пустяков было Синявскому в пору его трагического акмэ?

Он разошелся с КГБ в понимании того, что такое художник.

И продолжал в лагере быть художником, и думал о том, что это, собственно, значит, быть художником, и поэтому вчитывался в Пушкина. Книга о поэте была продолжением генеральной жизненной позиции, которую он пытался объяснить судьям и которая, по удачным словам И. Голомштока, состояла в следующем: «Да, я не с вами, но я и не против вас, ибо у писателя есть множество более важных забот, чем критика того или иного политического режима». Судьи, как известно, ему не поверили. Но гораздо печальней, в некотором отношении, что и такие люди, как И. Золотусский или Г. Померанц,— тоже не поверили.

Так о чем же и для чего — «Прогулки с Пушкиным»?

В «Голосе из Хора» мы находим ясный и, по-моему, единственно возможный, единственно верный ответ. «Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью и своей неспособностью выразить, в чем же заключается все-таки его непрестанно меняющееся и притягивающее, как свет, содержание».

Вот откуда смех Синявского-Терца в книге о Пушкине. А никакая не издевка, к сведению чересчур политизированной интеллигенции. Это смех от удивления перед непомерностью Пушкина. Смех удовольствия оттого, что лицеиста, напропалую волочившегося и писавшего эротические «пастушеские» стишки, можно назвать «пятнадцатилетним пацаном» — и, Боже мой, ведь этот пацан таким образом готовился к сочинению «Онегина», этот пацан — Пушкин! Автор все время помнит и чувствует громадность Пушкина, и видит у него лучше, чем у кого-либо, что стихи растут из сора, что они не ведают стыда... и тонирует фамильярной интонацией свои восторги и «неспособность выразить», и подчеркивает стилем книги (вовсе не гротескным) «обычность», домашность, человечность, отнесенность к каждому из нас тайны Пушкина, который, по мысли Синявского, сам был накоротке со всеми и каждым, фамильярен с человечеством.

Но продолжу выписки из «Голоса». «Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его (искусства.—

Л. Б.) смысл, и вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать... Искусство всегда более или менее импровизированная молитва. Попробуйте поймать этот дым». Вы считаете, что Синявский потратил свои золотые каторжные годы на то, чтобы издеваться над камер-юнкерством Пушкина при Политбюро? Тогда хорош бы он был... и кому была бы так уж интересна его книга. А я заявляю, что «Прогулки с Пушкиным» есть не что иное, как попытка «поймать этот дым».

«Какие только фокусы не выкидывает искусство», «теряясь в действительности, не имеющей к нему отношения», и «любую глупость готово выдать за факт своего местопребывания в мире». Любой пустяк, вроде барашков, бегущих по морской глади. «И вот искусство уже не пустяк, но — печать существования, явленность (лепота) бытия». Где найти книгу обо всем этом? «Все время кажется, что есть на свете какая-то книга, которую надо непременно прочесть, да только никак не найду — какая?..» Вот забота, снедавшая Синявского, да хотя бы и зэка: тем более! Вот куда отлетал он мыслью. И, не найдя в лагерной библиотеке самой нужной для него книги, попробовал — как многие до него — написать ее сам.

Так возникли «Прогулки с Пушкиным».

Эх, люди... Раскрутите эти странички на цигарки, присядьте, затянитесь поглубже обжигающим и сладким дымом. Передохните, милые.

После великолепных, необычных, страшных рассуждений о том, как погиб Пушкин, заплатив пулей в живот за первое в русской литературе открытое внесение в творчество биографии художника в качестве сугубо штатского, частного лица... «и не важно, кто в кого стрелял, а важно, что все-таки выстрелил»; может быть, человек в поэта...

после замечания, которым Синявский, предварительно сверившись с Пушкиным, громко подбадривает жену: «Поэта ведь не убьешь, не пробьешь» — и тихонько, не жалуясь, про себя: «Но умирать-то приходится человеку»; так что, может быть, стрелял все-таки поэт в человека...

после слов о том, что в нашем сознании так и остался «маленький Пушкин с большим-большим пистолетом» — «Штатский, а погромче военного» — любуясь и не без личной опять-таки важности говорит Синявский, сам штафирка — «Генерал. Туз. Пушкин! ...Знай наших!»

и после делового резюме книги («Началась литература как серьезное — не стихи кропать! — не считающееся с затратами зрелище... одним этим шагом — к барьеру! — он перегнал себя и оставил потомкам рецепт поэта»)...

наконец Абрам Терц в последний раз прижимает к подбородку старую скрипку, вскидывает смычок и — с непроницаемым на сей раз лицом, по-прежнему у рояля Пушкин — переходит на коду.

Так каков же «рецепт поэта»? иначе говоря: в чем состоит пушкинская «непреднамеренная сила», пушкинская о п ы т н а я и д е я художества, бесцельного, как любовь или религиозное чувство, преподносимого лучшим русским поэтом «как не зависящее ни от кого, даже от воли автора, свободное излияние»?

На последних трех страничках Синявский еще раз повторяет смысл всех предыдущих витков размышления: свое и пушкинское кредо чистого искусства.

Именно потому, что искусство (Нового времени и вплоть до наших дней) лишено целей, границ или условий,— «оно имеет привычку ускользать из любых, слишком цепких объятий, будь то хотя бы пальцы почитателей прекрасного, и не укладывается в свои же собственные чистые определения». Искусство — посмотрите-ка на Пушкина! — настолько бесцельно, что и бесцельности не выдерживает в качестве обязательного своего условия. И ему — изменяет! Оно не эфирно. Оно — Земфира. Оно чисто и свободно не потому, что гнушается миром, ничем не интересуется, никого не любит, ничему не служит... а потому, что любвеобильно, интересуется всем на свете я служит тому, что в данный момент захватило душу художника. Отсюда великая значимость «отечества, добра, милосердия и т. д.» для Пушкина.

Только не забудьте, конспектируя, как я сейчас, Синявского, это «и т. д.»... в нем уместятся даже царь Никита и все сорок его дочерей! «Многие меня поносят /И теперь, пожалуй, спросят: /Глупо так зачем шучу? /Что за дело им? Хочу». Вот вам и весь пушкинский сказ: «Хочу». Это целая концепция. «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас»... и пр.

Очень красива мысль, венчающая «Прогулки», а впрочем — прошивающая книгу насквозь. Очень адекватна творчеству Пушкина.

«Его искусство настолько бесцельно, что лезет во все дырки, встречающиеся на пути...» Пушкин «достаточно свободен, чтобы позволить себе писать о чем вздумается, не превращаясь в доктринера какой-либо одной, в том числе и бесцельной идеи». Так что, при всей нестерпимой выспренности и фальши предсмертного «НЕ ОТПУЩАЮЩИ», устраиваемого над Пушкиным,— и Вы были в некотором роде правы, почтенный П. Струве! Отчего бы нет?

> Дорогою свободной
> Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Вы слышите? Издалека, из пушкинских слов о поэзии, возникает тема, обозначенная в названии книги. Разрастается и звенит в финальном crescendo.

Это тема дороги художника.

«Ландшафт меняется, дорога петляет. В широком смысле пушкинская дорога воплощает подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям и поэтому не придерживающегося твердых правил насчет того, куда и зачем идти. Сегодня к вам, завтра к нам. Искусство гуляет».

Так книга окончательно приходит к своему названию, упокоиваясь в нем.

Всякий мало-мальски добросовестный читатель без труда может убедиться, что консервативные поношения в адрес Синявского, как, впрочем, и либеральные оправдания,— попали пальцем в небо. То есть в Пушкина. Потому что автор «Прогулок» специализировался по парафразам из Пушкина. Предусмотрительно запасся алиби, во всяком случае, в отношении самого существенного в своей книге, начиная с названия.

И «право гуляния» с поэтом он снабжает ссылкой на «специальный параграф» пушкинской конституции, на его понимание свободы: «По прихоти своей скитаться здесь и там... Вот счастье! вот права...»

Скитаться, слоняться, странствовать, прогуливаться, да хоть и прошвыриваться, а то и залезть с утра пораньше в телегу жизни и: «Пошел...»

Почему гений Пушкина воспринимается русскими, как соразмерный России, жизни, культуре? Воспринимается он так потому — и об этом вся книга Синявского,— что в Пушкине есть Державин и есть Барков, есть Вольтер и есть сказки Арины Родионовны; есть соленое слово и есть молитва; есть государственность — и «Ужо тебе!», и пугачевщина, и «Живи один»; есть насмешливое просвещенное неверие, веселое кощунство и простонародные суеверия — и есть «Отцы-пустынники и девы непорочны»; а заодно: «Мальчик! лей. /Теперь некстати воздержанье: /Как дикий скиф, хочу я пить».

Хочу!

Но — на все свои кстати и некстати. На целомудрие и на эротику. На «Моя мадонна, чистейшей прелести чистейший образец» и на «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем». Напрасно Вересаев противопоставлял матерное слово в письме об Анне Керн и «Я помню чудное мгновенье» — в виде антитезы жизни и поэзии. И в жизни Пушкина были божество и вдохновенье, слезы и любовь. И в поэзии Пушкина были слова, заменяемые, как заведено у нас, отточиями. На все находил он случай.

«На все случаи у него предусмотрены оправдания, состоящие в согласии сказанного с обстоятельствами... Ему всегда удавалось попасть в такт».

А. Д. Синявский предложил — мысль не оригинальная, но никто не предлагал этого с такой сверкающей безоглядностью — не усматривать в сем какую-то непоследовательность Пушкина, но, напротив, величайшую последовательность, отвечающую существу искусства в Новое время. Ибо оно — чистая виртуальность. Или, изъясняясь проще: с него все станется. Оттого, куда ни глянь, всюду Пушкин.

У него, как «в Греции», все есть.

Поэтому он заменил для нас собою и Античность, и Возрождение, так уж получилось.

«На его губах играет архаическая улыбка».

Итак?

«Искусство зависит от всего — от еды, от погоды, от времени и настроения. Но от всего на свете оно склонно освобождаться. Оно уходит из эстетизма в утилитаризм, чтобы быть чистым, и, не желая никому угождать, принимается кадить одному вельможе против другого, зовет в сражения, строит из себя оппозицию, дерзит, наивничает и валяет дурака. Всякий раз это — иногда сами же авторы — принимают за окончательный курс, называют каким-нибудь термином, течением и говорят: искусство служит, ведет, отражает и просвещает. Оно все это делает — до первого столба, поворачивает и —

Ищи ветра в поле.

Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно».

Пожалуй, в концептуальном отношении — негусто? Тонко и глубоко, но както просто. Все ново и ничего нового.

Что поделать, это — Пушкин. C'est la vie.

Боже мой, Боже милостивый, Боже крепкий, прости и хулителей, и защитников Абрама Терца. Они не ведают, что творят. Они и книгу его, может быть, не читали. Да и самого Пушкина, по правде, кто сейчас читает? Прости их.

И Синявского прости! Он не сумел разобраться в Пушкине, в искусстве, сам честно и многократно в этом признался, ссылаясь на их «неуловимость». Он написал свою книгу с уверенностью лунатика, идущего ночью по карнизу.

И Пушкина прости, особенно — его. Ведь и он, поэт, часто не ведал, что творит.

И сознавался: «открыты вежды, но он не видит никого... без цели бродит... предмет ничтожный поминутно его тревожит и манит».

> Зачем крутится ветр в овраге,
> Подъемлет лист и пыль несет,
> Когда корабль в недвижной влаге
> Его дыханья жадно ждет?
> Зачем от гор и мимо башен
> Летит орел, тяжел и страшен
> На чахлый пень? Спроси его.
> Зачем арапа своего
> Младая любит Дездемона,
> Как месяц любит ночи мглу?
> Затем, что ветру и орлу
> И сердцу девы нет закона.—
> Таков поэт: как Аквилон,
> Что хочет, то и носит он.
> Орлу подобно он слетает
> И, не спросясь ни у кого,
> Как Дездемона избирает
> Кумир для сердца своего.

Москва, май—август 1990 г.

Андрей НЕМЗЕР

Ждем продолжения

АНАТОЛИЮ РЫБАКОВУ — 80 ЛЕТ

Расскажу о двух разговорах со случайными собеседниками. Апрель 1987. Трясусь в троллейбусе, в руках — «Дружба народов», человек лет тридцати пяти со средненнженерской внешностью и в средненнженерской одежде трогает за плечо и, словно превозмогая себя, спрашивает: «Простите, Рыбакова печатают?» И после моего спокойного «да» нервно повторяет: «Действительно печатают? Точно?»

Ноябрь 1990. Сталкиваюсь на лестничной клетке с почтальоншей, которая оповещает: «Я вам завтра «Дружбу народов» принесу. Привезли уже. А Рыбакова нет, я оглавление смотрела». Пытаюсь успокоить, говорю, что будет Рыбаков, что верстку в редакции видел, попутно объясняю, что такое верстка, и слышу в ответ: «Не знаете вы их, не хотят Рыбакова печатать, а я уж так жду, и сын так ждет».

Успокоить собеседницу мне, кажется, не удалось. Не верят наши бедные, изнывающие под тяжестью «суперподписки»-1990, наши славные почтальонши в перебои с бумагой да типографскими мощностями — не понять им, как это может быть без злого умысла, чтобы майские или даже июльские номера выползали на свет в середине ноября. Чуют недоброе...— и ждут Рыбакова.

Какой же заряд должен таиться в не читанных еще книгах, чтобы явно застенчивый человек заговорил с незнакомым в троллейбусе, чтобы избегавшая почтальонша («глаза б мои журналов ваших не видели»,— не от нее ли слышал я месяц назад?) начала сетовать на «них», тех, «которые Рыбакова не печатают»? И ладно 1987-й, гласность только-только проявлялась, так ведь и в ноябре 1990-го. После всего, что и не исчислишь.

Скажут, что так читают и ждут Пикуля с Юлианом Семеновым. Скажут, что первый мой собеседник наверняка уже разочаровался в «Детях Арбата». Скажут, что нынешняя моя собеседница просто не «доросла» до Солженицына. И все это ровным счетом в картине не изменит ни-че-го!

Потому что авантюрный сюжет, динамика действия, четкость прорисовки характеров и отчетливая ясность слога могут и должны служить пробуждению добрых чувств. Потому что грех забывать то ощущение «прорыва», которое испытывал весной 1987-го отнюдь не только мой троллейбусный попутчик.

Потому что честная и чистая книга, каков бы ни был масштаб политического мышления и художественного дарования ее автора, всегда поможет общению с другими книгами — пусть на нее не похожими.

Затевать новый спор о поэтике и политической концепции «Детей Арбата» и их продолжений — дело праздное. Критики свое отспорили, а издательство «Советский писатель» вполне своевременно споры эти зафиксировало, выпустив книгу «С разных точек зрения: «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова» (М., 1990). Несмотря на то, что являюсь участником этого сборника, смело его рекламирую — перед нами блестящее свидетельство «захваченности» профессионалов, критического азарта, столь редкого для представителей нашей профессии и столь естественно корреспондирующего с азартом читательским. Даже разочаровавшиеся ныне в Рыбакове литераторы и любители словесности должны быть ему благодарны: его романы позволили **выговориться** всем, хоть и говорили участники «далеких и близких» дискуссий больше о своем, чем о «рыбаковском».

Поразительно, с каким старанием «оппоненты» писателя ставят в вину его герою — Саше Панкратову — то, что прежде них поставил ему (и себе молодому — автобиографизм рыбаковской хроники памятен) сам автор: нетерпимость, жесткость, стремление «быть как все», приверженность стереотипам... Поразительно, как стремятся убедить нас в «большевизме» Рыбакова, в его благорасположении к Кирову и Орджоникидзе (сколько раз А. Ланщиков сравнивал этого персонажа в изображении Рыбакова с «рождественским дедушкой»!) — и при том, что рыбаковский Киров (перечитайте главы о его раздумьях!) — «винтик» сталинской машины, всегда

готовый оправдать Хозяина в главном, а Орджоникидзе — просто человек, предавший друга (не предупреждает Кирова о смертельной опасности — то, что эпизод **вымышлен**, лишь усиливает его значимость).

Впрочем, ничего «поразительного» в спорах о Рыбакове нет. Те, кто славил «Детей Арбата» в момент публикации, в большинстве своем тоже ведь говорили о «ленинских нормах», между тем как в романе речь шла не только о начале «большого террора», не только об ужасах индустриализации и коллективизации, вполне одобряемых и Марком Рязановым, и Сашей Панкратовым, но и о бессмысленной жестокости двадцатых годов и гражданской войны. Вдумаемся — **теперь** — в ангарские размышления Саши Панкратова: «А что такое нравственность? Ленин говорил: нравственно то, что в интересах пролетариата. Но пролетарии — люди и пролетарская мораль — человеческая мораль. А оставлять детей в снегу бесчеловечно и, следовательно, безнравственно». Вдумаемся — и поостережемся быстрых приговоров.

Ко времени, когда заметки эти выйдут в свет, есть надежда, что третий роман о Саше Панкратове — «Страх» («Дружба народов», 1990, № 8—9) — будет прочитан. Кто-то скажет, что герой наконец-то показал всю свою слабость, и будет прав, хотя вовсе не заметит, что слабость эта **написана** Рыбаковым, а истоки ее видны уже в «Детях Арбата». Кто-то скажет, что про тридцать седьмой год и так все знают — и будет прав, так как ни один исторический роман не пишется для простого «ознакомления» публики с тем или иным событием (и нет исторических романов, авторов которых не упрекали бы одновременно в том, что все «из других книг списано», и в том, что все было не так). И будет еще масса претензий, среди которых найдутся, наверняка, и справедливые: такова логика «романа с продолжением» — его не могут не ждать, его не могут не бранить, соизмеряя новые эпизоды с начальными. Все будет. Но будет и роман, без которого сейчас как-то не по себе моей собеседнице-почтальонше.

Рыбакову трудно дается его заветная книга. Труден и переход от писания в стол к писанию прямо для типографского станка. Труден и сам жанр романа с продолжением. Трудно и время наше (дорогие читатели, руку на сердце положа, признайтесь: вас в эти тревожные годы и дни всегда хватает на **работу с полной отдачей?** — то-то же!). Он пишет, надеясь довести дело до конца и храня в памяти тот чистый звук, на котором держался роман «Дети Арбата» — светлая книга о темном времени.

...Лучший комплимент Анатолию Рыбакову сделал литературовед, очень его не любящий, Вадим Кожинов. Он ядовито сравнил автора «Детей Арбата» с Дюма, заметив, что «изображенные в романе беседы Сталина с Ягодой и Ежовым подозрительно похожи на незабвенные беседы кардинала Ришелье с Миледи в «Трех мушкетерах»...»

Да, никто не собирается изучать сталинскую эпоху по «Детям Арбата», как и становление абсолютизма во Франции по «Трем мушкетерам». Для того есть (и будут) другие книги. Но нравственная оценка той или иной эпохи останется в силе. И я от всего сердца желаю, чтобы дети XXI века судили Сталина так же, как дети XX века — «темного героя» Дюма: «Из нас, из мальчишек, никто не хотел быть Кардиналом Ришелье, потому что он был гад ползучий» (В. Драгунский. Разговаривающая ветчина). Даже если «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», «Страх» дадут **только** такой эффект, я буду счастлив и благодарен Анатолию Наумовичу Рыбакову. И я в своих чувствах не одинок. Мы снова ждем продолжения.

●

Свежими очами

— так по-гоголевски назвали мы новую в журнале рубрику, под которой, хочется надеяться, будут периодически выступать видные наши критики — как отечественные, так и, опять-таки хочется надеяться, зарубежные. Конечно, можно было бы дать рубрике название и попривычнее — «Обозрение», «Наш обзор», но дело в том, что, во-первых, это вовсе не «наш» обзор — в том смысле, что от автора мы не ждем, чтобы его взгляды и суждения целиком совпадали с мнением редакции, вообще с чьим-либо другим мнением, кроме своего собственного; во-вторых, это и не «обзор» в привычном смысле слова, когда необходимо все упомянуть, оценить и расставить по своим местам,— здесь скорее хочется разговора концептуального, общего впечатления о главном, что характеризует современную литературную жизнь. Нам представляется, что статья Станислава Рассадина, открывающая рубрику, как раз этим требованиям во многом отвечает.

Ст. РАССАДИН

Будем читать Плутарха?

Смешная это манера — уж не знаю, у самих ли пишущих собратьев или у осторожничающих редакций — снабжать иные статьи извиняющимся подзаголовком «Субъективные заметки». Дескать, обычно-то мы донельзя объективны, а на сей раз позволим себе, пошалим, отпустим подпругу, рискнем, где наше не пропадало!.. Меня, во всяком случае, это всегда забавляет — своим как бы намеком, заключенным в подтексте предупреждающего заголовка, в признании за субъективностью статуса исключения: мол, что-что, а истину-то, самую что ни на есть суровую и нагую, мы знаем.

Знаем ли?

По крайней мере сейчас уверенность в том, что «знаем», кажется, в особенности подняла голову. Что — понятно.

Во времена, когда становится можно то, что вчера было ни-ни, ни под каким видом, когда мы раскрепощаемся (то есть скорей распоясываемся, принимая свою вольную распояску за духовное раскрепощение), возникает и крепнет иллюзия: наконец мы узнали всему настоящую цену. Можем ее определить и назвать. В критике замелькало гордое: «гамбургский счет»...

Как известно, хлесткий термин придуман Виктором Шкловским, сообщившим (или сочинившим) в одноименной книге 1928 года, будто в Гамбурге собираются мастера французской борьбы, на арене «по приказанию антрепренера» обычно жульничающие; собираются, дабы узнать свою подлинную силу и ее иерархию. По-моему, аналогия и вообще с душком; получается: будем по воле антрепренеров-властей мошенничать, лишь бы в своем кругу знать правду; но к тому ж применение этого счета к литературе кажется мне жалкой ужимкой профессионального снобизма. Жалкой, потому что бессильной.

Вспомним, кто позабыл:

«По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет».

Ладно, допустим, хотя последний пока не кувыркнулся с Парохода Современности. Тем паче поверим и согласимся, что «Горький — сомнителен (часто не в форме)». Но:

«В Гамбурге — Булгаков у ковра.
Бабель — легковес».

И... И — всё! Просто не о чем разговаривать. Ибо если возможны такие ошибки, если автор обнародованных к тому времени «Белой гвардии», «Дней Турбиных», «Роковых яиц» даже не допущен к «ковру», к участию в состязании, это не серьезнее обычной — в данном случае лефовской — групповщины, жадной, своекорыстной, захватнической, даром что у Шкловского она притворяется соблюдением профессиональных критериев, а не грубо обольшевичена, как у его соратника Маяковского. Тот ведь, что тоже на общей памяти, перечислял в «Клопе» понятия и имена, которые будут бесповоротно забыты в пору победившего социализма: «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков...» Только насчет бубликов почти угадал!

Нет, не стоит ликовать, что вот-де пришло долгожданное торжество «гамбургского счета»; быть может, напротив, в дни, когда воспрянула литераторская самоуверенность, подбадриваемая гласностью, надо в особенности держаться за единичность, за штучность, если угодно, за субъективность суждения — не как за расхрабрившееся исключение из строгого правила, а как за само правило, право

В основу статьи частично положен «Дневник читателя» — серия передач, прочитанных автором по «Радио Свобода».

читателя (каковое пытаюсь использовать здесь и я), его естественный выбор по симпатии и антипатии, не претендующий — Бог упаси! — на «концептуальность» или «соборность». На то, что, именуясь столь солидно и громко, обычно оказывается формированием боевой дружины, спортивной команды, скопа, берущих, как водится, не умением, но числом. Не талантом — энергией.

Одна из особенностей нашего странного времени, странной литературной ситуации — как раз в том, что нынче у всех свой борцовский счет, разумеется, окончательный, победивший, сомнениям не подверженный, и если не всяк назовет его именно гамбургским (не желая даже в терминологии уступать «патриотического» первородства), если и профессиональное достоинство, провозглашавшееся автором термина, Шкловским, бывает, наоборот, на нуле, самоуверенности это, конечно, не убавит. Опять же — наоборот, сделает его безграничным, вплоть до полной потери самоконтроля, до утраты способности видеть и то, как ты бываешь смешон. В чем, кстати сказать, тоже одна из примечательных странностей нынешней ситуации.

У Георгия Иванова, в его мемуарной прозе, зафиксировано недоумение Осипа Мандельштама: «Зачем пишется юмористика?.. Ведь и так в с е смешно». Ну, все не все, однако действительно многое — до тех самых пор, пока из смешного не стало страшным. Пока, слава Богу, имеем силы смеяться.

Читаю в журнале «Москва» рассказ Станислава Куняева «Орднунг» — то есть порядок». О том, как рассказчик — с отвращением, через «не хочу», но как говорится, «единственно выполняя волю пославшей мя жены», отправился в заграничную турпоездку. «Я не особенно жаждал поглядеть на ее (то бишь Европы) святые камни, у себя на Родине забот полон рот, но ради любимой жены чего не сделаешь. Бродим по немецким городам, восхищаемся, спорим... ругаемся чуть ли не на каждом шагу. А все потому, что к комфорту разное отношение». И дальше, когда пришло наконец время покинуть опостылевшую Германию: «А завтра утром мы переезжаем в Австрию. Вот где я натерплюсь».

Натерпелся, увы, так что в пору до слез пожалеть этого страстотерпца. И обрушиться с благородной яростью на злокозненного посла Мэтлока, не пожалевшего уймы долларов, чтоб показать куняевскую компанию Америке и Америку — им. Впрочем, деньги свои пусть куда хотят, туда и девают, но чтоб этакого-то патриота заставить страдать еще и на американских камнях, вот это уже, господа, жестоко!..

Итак, в Европе Куняеву не понравилось многое, но пуще всего раздражали витрины и прилавки. И покуда жена, проявляя идеологическую неустойчивость, всплескивала руками: «Ой, смотри, что это за пузырьки: перец, корица, соя... А это, гляди, лимоны нарисованы, ананасы... А конфеты, конфеты...», ее неколебимый супруг все это разнообразие воспринимал с омерзением. И как иначе? «Все богатства мира — машины, колбасы, магнитофоны, костюмы, вина — все брошено для того, чтобы вытеснить своей сверкающей массой из человека его маленькую призрачную душу». И чтоб хоть в себе самом, коли уж жена безнадежна, сохранить эту призрачную субстанцию, муж, представьте, тут же, не отходя от богомерзких прилавков, посреди магазина, задекламировал Блока: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои...» И так далее.

Признаюсь совершенно серьезно: если б я не был в своем роде подготовленным читателем, если б вовсе не знал, что такое Куняев, я заподозрил бы тут пародию, притом ядовито-точную — ну, скажем, на роман Аксенова «Остров Крым». На плотоядность, с какой воспринимаются там всяческие приметы «ихней» жизни, в частности, то же товарное сверхизобилие, повергающее советского неофита в шок; вот, например, переживания аксеновского героя Лучникова, по забывчивости не купившего «там» того, без чего в Россию хоть не являйся, чего у нас с вами нет: «двойных бритвенных лезвий, цветной пленки для мини-фото, кубиков со вспышками... длинных носков, джинсов... лифчиков с трусиками, шерстяных колготок... свитеров из ангоры и кашмира, таблеток алказельцер, переходников для магнитофонов... шерстяного белья, дубленок, зимних ботинок, зонтиков с кнопками... тампекса для менструаций... противозачаточных пилюль и детского питания, презервативов и сосок для грудных, тройной вакцины для собак, противоблошиного ошейника... кассетника для машины, насадки STR для моторного масла... галогенных фар, вязаных галстуков» — и т. п., до конца этого неравнодушного перечня, где названий (я сосчитал) до семидесяти.

Это, напомню, Аксенов, «Остров Крым». Вот словно и впрямь передразнивающий его Куняев:

«Пьешь потребительский наркотик и напиться им не можешь — жажда все сильнее: поглощаешь глазами платиновые кольца с бриллиантами, разноцветную обувь с золотыми клеймами, вдавленными в мягкую кожу...» Заметим этот преувеличенно сладострастный нажим, как раз и подобающий настоящей пародии, эту, как кажется, несколько шутовскую экспрессию: «...Плотные твидовые пиджаки в клетку, эмаль, никель, кафель, развалы парного красного мяса, горы ноздреватого сыра, фигурные бутылки темного стекла, маленькие лукошки душистой парниковой земляники...» И еще, еще; вот уж куняевский то ли рассказчик, то ли пародист и в отель свой вернулся, и почивать собирается, а все не может отделаться от соблазнительных миражей: «Снова в глазах заплясали

«филипсы», витрины с копчеными угрями, сверкающие лунным блеском куртки... Чуть-чуть помаячили и исчезли под нажимом витрины то ли с охотничьими ножами, то ли со свитерами из шотландской шерсти». Словом, стоит все это представить, и (вот он, испытанный пародийный эффект, когда скрытые до поры уши вдруг извлекаются из-под колпака) «сладостная слюна разом наполнила рот...»

В общем, тьфу, что за мерзость! То есть «тьфу» — это я от себя, это мой эмоциональный комментарий, но ничуть не расходящийся с идеологической стойкостью Куняева, который и погибает, да не сдается: «...Пьешь и чувствуешь, как с каждым глотком все пьянее голова и все меньше, все слабее, все беспомощнее душа... Вот она, лощеная морда всемирной бесовщины!»

Смешно, и чем далее, тем смешнее; отдекламировав в супермаркете Блока, рассказчик начнет объяснять жене, почему России и русским чужд и не нужен комфорт: «На таких просторах живем! Если чего не понравилось дома — так не будет русский человек улаживать, терпеть, склеивать... Он лучшую жизнь искать пойдет — на Дон либо в Сибирь...» Уже, согласимся, занятно, но станет еще занятней, когда Куняев вроде бы невзначай подверстает к разряду российских вольнолюбивых побегов (как выяснилось, главным образом от комфорта) и собственные поездки на рыбалку: «...на Дон, либо в Сибирь, либо... на реку Мегру, где я каждый год рыбачу». Такой он у нас, значит, Ермак Тимофеевич. А потом, словно нарочно, чтоб у нас не осталось уж ни малейшей возможности относиться к его словам серьезно, обнаружит национальный размах даже в гостиничном крике и визге, в хамском пьяном разгуле, который устраивают туристы-соотечественники и который мучает его многострадальную, но увы, несознательную жену: «— Дай мне снотворного! — стонет жена в сознании полной своей правоты.— Русские свиньи! Никакого порядка!

Но я бросаюсь грудью на защиту национальной чести:

— Ну, веселятся люди, завтра на родину уезжают. Надоело им тут»...

И знаете ли, что́ он противопоставит родимому свинству? «Зато помнишь, какой идеальный порядок был в Бухенвальде? — Орднунг!»

Такая вот, выражаясь по-нынешнему, альтернатива...

Комментировать это — пустое, зряшное дело, как и то, что автор-рассказчик, вконец измученный видом тошнотворно полных витрин, сравнит сам себя с толстовским отцом Сергием, «но не отрубившим себе палец, а павшим перед соблазном». И даже — выше бери! Поистине выше — до сравненья уже не с монахом-аскетом, а со святым: «...Меня рвало от пищи Золотого Тельца. Восстать против него, убить, как Георгий Победоносец дракона...»

Восстать-то восстал, да не убил, не вышло, и все почему? Потому, что «в наше время человек так сросся с Тельцом, словно кентавр какой, что неизвестно, уцелеет ли сам, поразив чудовище».

И вот тут чистая правда.

«...Обувь с золотыми клеймами, вдавленными в мягкую кожу, плотные твидовые пиджаки в клетку... развалы парного красного мяса... фигурные бутылки... сладостная слюна...» Полагаю, не обязательно быть тонким психологом, чтобы понять: если, столь чувственно перебрав недоступные яства и шмотки, уста изрыгают им явно чрезмерные, экспрессивные, истерические проклятия: «Золотой телец... лощеная морда всемирной бесовщины», значит, душа отравлена завистью, и завистью самой низменной, ибо автор ненавидит то, что́ ему недоступно, и именно за то, что недоступно. Сама чрезмерность — и чувственности, и проклятий — это и выдает. А ведь, кажется, все так просто: ну, неравнодушен ты ко всему этому, так и скажи, как говорит, не скрывая, тот же Аксенов, невелик же грех — но нет! Человек этого уникального и вот уж действительно нового типа, даже истекая слюной, истекает идеологией.

«И вся-то наша жизнь есть борьба». И все отдается борьбе с капиталистической отравой, все самое дорогое. «...С ужасом я пытался избавиться от наважденья, закрыл глаза, представил себе мой любимый песчаный обрыв на черной северной реке...» Мимо! «Взмолившись, я мысленно вызвал на помощь невинные мордашки своих любимых внуков, но и они помогли ненадолго...» И наконец уж совсем — то ли смешно, то ли кощунственно, то ли все разом:

«— Помоги, Господи! — вырвалось из моих запекшихся уст. («Запекшиеся уста» — самоощущение страстотерпца и змееборца ни на минуту не оставляет рассказчика.— Ст. Р.) Может быть, перекреститься?

Я вытащил руку из-под мохнатого чистошерстяного одеяла...»

Прервемся, заметим: анализировать помянутое самоощущение — вообще чистое удовольствие. Вот — собрался молиться, бороться с нечистой силой, но и в этот драматический момент щупает одеяло, проверяя на «заграничность». И дальше: «...С трудом вспомнив, что крестное знамение по православному обряду сначала кладется на правое, потом на левое плечо, несколько раз торопливо ткнул себя в лоб, в грудь и в плечи...»

Вот до чего довели буржуи большевика! Однако — увы... «Когда крестное знамение не помогло...» Любопытно, а на что он рассчитывал, если позабыл на своих партсобраниях, как и крестятся толком?.. В общем, когда не помогло, «я решил вспомнить стихи — какие-нибудь самые нетленные, самые неуязвимые для нечистой силы...»

Короче говоря, фарс, начатый декламацией Блока в капище Золотого Тельца, то есть попросту в магазине деликатесов, продолжается. Сперва сатанинскую силу, а если опять-таки без метафор, то видение парниковой земляники с твидовыми пиджаками, попридушил все тот же Блок, потом Есенин подоспел на подмогу, а Лермонтов и вовсе добил гадину. И уснул наш страдалец под одеялом, успев напоследок еще раз отметить, что оно не какое-то там, а — «чистошерстяное»...

Что говорить, смешно — и очень серьезно. Будь этот рассказ просто отчаянно слабым да принадлежи к тому ж начинающему неумехе, не стоило бы им заниматься. Дело, однако, в том, что это не просто скверная проза (хотя ее уровень и удивителен для крепкого стихотворца и вполне начитанного человека, имеющего то есть представление, «как люди пишут»). Дело в том, что означенный стихотворец-умелец может себе такое позволить, ничуть не боясь — повторю — выглядеть даже смешным. И это — с в о б о д а, не сказать, чтобы завидная, но почти абсолютная.

Свобода — от чего? Да от всего! От эстетических критериев, от стыда, от самой реальности. От нее-то в первую голову.

Вдумаемся: что́ тут? Думаю, худший, вульгарнейший вид снобизма, пошлейшая форма самоутверждающейся элитарности, которая выдает себя за духовность. Ну, хорошо, допустим, что сам Куняев перешиб-таки свое завистливое наваждение Блоком (завидная, кстати, роль для российского гения!). А вот как быть тем из его сограждан, каковые до Блока не доросли, каковым тем паче не до поэзии перед нашими-то пустыми прилавками?

На это отвечает уже не автор журнала «Москва», а его новый редактор: «Россия — единственная страна, которая не подчинилась, не подмялась нашествию цивилизации, ее мнимых благ... Когда в Швеции идешь в магазин, думаешь: «Хорошо, что туда не ходят наши милые женщины».

В какой стране они живут-поживают, эти радетели духовности и отрицатели «мнимых благ», от которых у них самих текут, впрочем, слюнки? И откуда самоуверенная наглость, с какой они решают за «милых женщин», которым в отличие от Куняева с Крупиным не бывать ни в Швеции, ни в Америке, а вечно маяться на своей нищей родине?..

Еще раз: это смешно, но серьезно. Чем смешней, тем серьезней — да и страшнее, что следует сознавать.

Мы сейчас по-детски радуемся возможности говорить вслух, писать и даже печатать то, что думаем. Мы открыто несем домой книги, которые раньше передавали друг другу в коробках из-под обуви, примерно зная, какой срок за какую из них полагается. Сколько за «ГУЛАГ», сколько за Авторханова. В общем, ура! Свобода!..

Позвольте, однако, не согласиться. Свободу — истинную и полную, о которой пока позволяем себе только мечтать,— уже обрели те, кто не стеснен множеством наших нравственных предрассудков. Гласность куда полнее освободила тех, у кого нет ограничителей, и пока мы с трудом, с оговорками, с покаянной оглядкой тщимся обрести свою внутреннюю свободу, «они» уже торжествуют свой звездный час. Уже делят прошлое (которое, как известно, легче всего поддается переделу и перекройке), настоящее да и будущее.

Держу в руках прошлогодний номер «Молодой гвардии»; попал он ко мне поздновато (каюсь: не подписчик), но устареть не в состоянии, напротив того, ибо занят как раз переделом не только того, что есть, но и того, что грядет в отдалении.

Константин Ковалев. Рецензия на сборник «поэм новых российских поэтов»:

«И подумать здесь есть над чем, и поговорить в первую очередь о том, что объединило столь разных поэтов — сосредоточенно-задумчивого Г. Ступина и энергично-светского М. Гаврюшина, мудрого и гневного Ю. Лощица и лирично-жесткого М. Попова, «ученого поэта», человека культуры Е. Лебедева и «бояна вещего» с небесно чистым голосом В. Артемова, напряженно размышляющего В. Карпеца, вдохновенно-мечтательную С. Максимову».

По правде, не думаю, чтобы мой читатель, хоть немного знакомый с литературными нравами, вдруг радостно встрепенулся: экая, мол, нежданно богатая россыпь — в нашем-то стихотворстве, не намного богаче наших прилавков! Да если бы и нашелся такой простак, его мигом бы отрезвили, потому что (спасибо!) честно представили и образчики разрекламированного богатства. К примеру:

Тихо у нас, на задворках страны,
словно вовек не знавали войны.
Но длится она и доднесь,
и фронт ее — вот он, здесь.

Писано это... Но обойдемся для ясности без имен,— тем, кто, как нам поведано, «мудр и гневен». А это, наоборот, «напряженно размышляющий»:

О Русь! О светло светлая земля,
высокими украшена холмами,
студены кладезьми, озеры, для
хвалы устроенными городами...

Дальше — «сосредоточенно-задумчивый»:

И это осквернив, и то,
Ликуя и спеша,
Бездушное — не знало, что
Не превращается в ничто
Всесущая
Д у ш а.

Наконец, «вдохновенно-мечтательная»:

Так веками бреду я одна я,
На Владимирке сына рожая,
И в твои кандалы пеленая,
И веками тебе чужая...

Ужас! И вот этой невнятице, где «брежу я одна я», где кандалам назначена несколько странная роль, тут же, в том же номере «Молодой гвардии», правда, уже не К. Ковалевым, а Вл. Карпецом (да, да, тем самым, что «напряженно размышляет») определено стать отечественной классикой:

«Думаю, что, если русской поэзии суждено будущее, то «Владимирка» со временем войдет во все ее хрестоматии».

А чего, в самом деле, мелочиться?

Пойму того, кто испуганно спросит: в своем ли они уме? Но отвечу: в своем. И в уме своем, и в праве. Ибо идеально чувствуют ситуацию и ее — для себя — выгоды.

Мы — дети безвременья... Мы пребываем в эпохе безвластия... Мы ее сверстники и очевидцы...

Вывожу эти роковые банальности с подчеркнутостью, долженствующей означать трагизм, и до того самого себя жалко, что в самый раз, как писал в оные времена Симонов, «по-русски рубаху рвануть на груди». Но воздержусь. Во-первых, рубашки жаль — где я теперь новую достану? — а во-вторых, ведь речь не о политике самой по себе. Речь о словесности, а она способна и беду обернуть — выражаясь вульгарно — на пользу себе, причем далеко не только на ту, на безнравственную, о которой я говорил выше. Трагедия, которую переживает художник и к которой он отнюдь не стремится, напротив, надеется ее избежать, не голодать, не подвергаться гонениям,— даже трагедия, а возможно, именно она становится поводом для творческого самовыражения. Самовоплощения. Что для художника и есть высшее счастье.

Вот такой парадокс, если же нужен пример — извольте.

С запозданием, как у нас это водится, на несколько десятилетий напечатана на родине поэма Семена Липкина «Техник-интендант». Вещь и вообще замечательная, но сейчас, сегодня, меня в ней особенно задели такие строки.

Говорится там о войне, о том, как наши выходят из окружения; выходят, но еще не вышли к своим, то есть покуда как бы принадлежат сами себе, и вот боевой командир вдруг получает возможность высказать в самую сласть энкаведешнику-особисту то, чего не решился бы сказать раньше: дескать, «нужен ты в армии, что скрывать, как седлу переменный ток». А особист искренне потрясен таким святотатством: «Что́ вы без меня? Трусы, изменники родины, дезертиры... А в моем-то сейфе — знамя дивизии, круглая печать, товарищ майор. Со мной вы кто? Военная часть... Не заслужил, товарищ майор».

Самое-то ужасное, что по-своему энкаведешник прав. Прав своей чудовищной, государственной — точнее, надгосударственной — правотой, согласно которой без него и без той власти, что все собой пронизала, люди — не люди, а трусы, изменники, дезертиры. Страна — не страна. Народ — не народ, а нечто или даже ничто. Только с ними, с партией, с НКВД, все обретает цельность и смысл. И это не пустозвонная похвальба, тут свой неглупый расчет, так что когда мы читали лозунг «Партия — ум, честь и совесть эпохи», то это вовсе не был такой уж бессмысленный набор слов. Потому что таким образом нам неуклонно втемяшивали, ка́к мы становимся неразумны, беспомощны, нетверды в понятиях чести и совести, если остаемся одни. *Без них.*

И ведь втемяшили в конце-то концов, притом в головы значительной части народа.

Так вот, возвращаясь к поэме Липкина,— что́ за озарение снисходит на него в этой, как сказал бы философски подкованный человек, пограничной ситуации?

И вот что странно: именно тогда,
Когда ты увидел эту землю без власти,
Именно тогда,
Когда ты ее видел только по ночам,
Только по беззвездным, страшным,
первобытным ночам,
Именно тогда,
Когда многолетняя покорность людей
Грозно сменилась темной
враждебностью...

Между прочим, точка в точку про наш нынешний день!

...Именно тогда ты впервые
почувствовал,
Что эта земля — Россия,
И что ты — Россия,
И что ты без России — ничто,
И какое-то безумное, хмельное,
обреченное на гибель,
Обрученное со смертью счастье
свободы
Проникало в твое существо...

В такой-то момент, на краю погибели,— и вдруг: «счастье свободы»!

Это состояние можно по-разному и понять, и изобразить, не только драматически, но и забавно, даже ёрнически — как у Войновича, во второй части его «Чонкина». Там, напомню, редактор газеты Ермолкин шляется по базару и к нему пристает проститутка. Тот, натурально, возмущен посягательством на его целомудрие: «Я коммунист!» — и получает в ответ... Прошу прощения за солоноватую цитатку, но уж так напечатано:

«— А-а, коммунист,— скривилась девица.— Сказал бы, что не стоит, а то коммунист, коммунист. Давить таких коммунистов надо! — закричала она вдруг визгливо... плюнула ему в спину и, совершенно не боясь никакой ответственности, прокричала:

— Коммунист сраный!

Услышав такие слова, Ермолкин даже пригнулся. Ему казалось, что сейчас сверкнет молния, грянет гром или по крайней мере раздастся милицейский свисток... Но не произошло ни того, ни другого, ни третьего».

До того, что коммуниста вполне можно назвать... в общем, так, как его тут назвали, да и до того, что про саму идею коммунизма можно выразиться не более почтительно, до этого базарного, анархического уровня мы дожили и дошли. Что же касается «счастья свободы» — вот с этим что-то не получается...

В чем дело? Ведь что-что, а безвластие-то у нас налицо!

Года три назад я давал интервью таллиннской русской газете и сказал примерно следующее: как бы мы ни ворчали на Горбачева, стоит сознавать и помнить одно: мы не заслужили его появления ходом и уровнем своего политического саморазвития. То есть выстрадали-то мы не то что Горбачева, но самого Иисуса Христа, однако заслужили скорее Гришина. Или Романова. Их воцарение было бы логичнее.

Сегодня думаю: могу ли повторить эти слова? Могу. К сожалению.

Мой покойный друг Натан Эйдельман рассказывал мне, как уже давненько, в доисторическую, так сказать, эпоху — для точности: в тот самый год, когда Горбачев только появился в Москве, в ЦК, он, то есть Натан, был в Сибири и выпивал в компании с очень видным экономистом. Вели они при этом чисто российскую беседу на тему: если бы да кабы и возможны ли в нашей стране перемены, если же возможны, то откуда возьмется у нас реформатор, не из партийного же аппарата. И экономист сказал следующее:

— Сейчас в Москве появился один человек — вы, наверное, его пока даже и не заметили. Некто Горбачев. Так вот, он думает точно так же, как мы с вами. Но ему ни за что не пробиться...

Пробился вопреки нашим, по крайней мере моим ожиданиям. К счастью. Но ведь в этом и драма — Горбачева и всех нас. Он незаконнорожденное дитя нашей нелепой истории, и мы тоже не законные ее наследники, а подкидыши. Если не выкидыши. Как и всякую невеселую правду, это не хочется, но надобно сознавать. Хотя бы и для того, чтобы ни в чем не уподобиться национал-шовинистической шпане, которая узурпирует право наследования, упирая на закон крови, на закон своих джунглей.

Это, впрочем, к слову. А главное вот что — самоощущение человека, нормального интеллигента сейчас просто не может быть не мучительным.

Вы прошли такие испытанья...
немоты удел был так велик...
что теперь,
когда просвет возник,
речи говорить уж нет желанья,
да к тому ж окостенел язык.

Нет слов — какими говорить.
Нет воздуха — в каком парить.

Мария Аввакумова

Уникальность нашего положения в том, что в ситуации, когда в самый бы раз испытать это самое «счастье свободы», мы ведем себя не совсем обычно. Казалось, уж так было бы естественно, чтобы мы, вырвавшись из-под присмотра, задышали бы вольно, безоглядно, неподотчетно, но не выходит. Подавились, что ли, первым глотком свободы, как сказал в освистанной партконференцией речи Григорий Бакланов?..

А может, все дело в том, что истинная свобода нам не нужна. Мы для нее перезрели.

В прелестной повести Сергея Довлатова «Иностранка» об одном эмигранте из диссидентов сказано — смешно, но и безжалостно: «Америка разочаровала Караваева. Ему не хватало здесь Советской власти, марксизма и карательных органов. Караваеву нечему было противостоять».

С нами, которые не *там*, а *тут*, происходит нечто подобное. Само наше представление о свободе с годами превратилось в ощущение препятствий, которые надо преодолевать на пути к ней, что, без сомнения, героично, но не приближает нас к пониманию свободы как естественного человеческого состояния. И вот сейчас, утратив азарт борьбы (каковая, по моему доморощенному определению, есть как раз героическая форма несвободы), одни растерялись, не видя возможности да как бы и смысла в художественном созидании; они удивляются парадоксу, согласно которому пресловутый «застой» попросту вынуждал искусство быть собою, искусством, а не публицистикой и полемикой. «Запреты заставляли крутиться», как простецки, но верно по существу заметил Аркадий Арканов. Словом, одни пребывают в растерянности, другие, поэнергичнее, больше и уповают на собственную энергию, чем на творческую способность, так что в нынешней атмосфере безвластия и свободы — свободы скорее внешней, дареной, спущенной свыше, а не внутренней, добываемой только личными усилиями,— трудно творить, зато весьма способно брать власть. Или хотя бы заявлять на нее свои исключительные права — имею в виду не только ту бесцеремонную силу, что не стесняет себя ни критериями, ни даже приличиями. Есть и другие.

...В дни, когда пишу эту статью, идет, а вернее сказать, тащится вяловатая дискуссия вокруг полуэпатажной литгазетской статьи Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе», где среди стократ справедливых слов о соцреализме и стократ несправедливых, высокомерных — о классической нашей литературе, обвиненной, по сути, в зацикленности на нравственности и правде,— в общем, в этой программной, я бы сказал, мессианской статье заявлено: отныне возникает «другая», «альтернативная» литература, которая противостоит «старой» литературе прежде всего готовностью к диалогу с любой, пусть самой удаленной во времени и пространстве культурой для создания полисемантичес-

кой, полистилистической структуры с безусловной опорой на опыт русской философии начала XX века, на экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические открытия XX века...» — и т. п.

Очень хорошо! И если меня нечто смущает — а смущает-таки,— то в первую голову предельно простая и вполне дилетантская мысль: а разве любой талант — сам по себе, «вне школ и систем» — не альтернативен? Неправде, глупости, пошлости — и даже просто другому, не такому, как он, таланту? Так что к месту ли здесь отчетливо групповая, дружинная агрессивность: кто не с нами,— пуще того, кто не такой, как мы,— тот... Дальше, увы, понятно и, по-моему, плохо вяжется с делом и целью художника, даже если и проявляется в относительно безобидной форме самоутверждения. Хотя безобидной-то безобидной, но почему непременно за счет чьего-то свержения?

В общем, представляя себе, что за сила сбивает писателей, обычно весьма непохожих и разноталантливых, в школу или организацию, все же не скрою еще одного сомнения, быть может, и не вполне корректного (но, честное слово, я не бранюсь, я сожалею и сомневаюсь). Среди причин, мешающих мне отнестись ко всему этому беспредельно серьезно,— к а ч е с т в о. В данном случае качество прозы самого Виктора Ерофеева, к чьим ученым статьям отношусь почтительно и чья беллетристика, на мой вкус и взгляд, лишена самого необходимого — пластики, естественности, вообще всех традиционных отличий хорошей прозы.

Не стану скрывать, что, строя эту фразу, я провоцирую совершенно законное возражение: а мы и не хотим соответствовать вашим традиционным представлениям. Быть хорошими в вашем смысле...

Вольному воля, как и я наконец волен признаться в давней своей трусоватости, коей, впрочем, ни чуточки не стыжусь. Когда больше десятка лет назад я прочел рукописный альманах «Метрополь», меня охватили горечь и стыд, вполне патриотические. Вслух я их, однако, не высказал, и многие, думавшие точно так же,— помнится, лишь в эмиграции, в журнале «Время и мы», решились сказать, как есть. Мы-то боялись оказаться в ряду с теми, кто наподобие Феликса Кузнецова кинулся делать на погроме альманаха карьеру, да и сейчас, когда о нем же скверно пишет, скажем, Куняев, не испытываю энтузиазма повторять то, что в свое время доверил лишь кругу друзей. (Среди которых были, впрочем, и «метропольцы», Липкин и Искандер.) А именно: отнюдь не сплошной, но общий, у р а в н и т е л ь н ы й уровень «Метрополя», задуманного именно как «альтернатива», поразил меня — да! — ничтожеством духовного и нищетой эстетического результата. Поразил, если угодно, по контрасту — даже сразу по двум. Во-первых, с несомненной смелостью предприятия, не уважать которой нельзя, а во-вторых, и по контрасту немногочисленных и, заметьте, вовсе не «альтернативных», если хотите, традиционных, мастерских, высокопрофессиональных удач — например, прозы Горенштейна и Искандера, стихов Липкина и Лиснянской — с окружающей их расхлябанностью, полуумелостью, подчас и полуученостью. И это, быть может, самое огорчительное: отказываясь от критериев российской литературы, всегда твердо знавшей, что хорошо и что дурно, что нравственно и что безнравственно, мы наипервейшим делом разрешаем себе писать плохо.

Довольно скучно объяснять, что я-де не против экспериментов,— в конце концов при мне всегда мое скромное читательское право удовлетворяться Гроссманом и Солженицыным, не читая того, что — не читается. Но в пору постмодернистских и концептуалистских манифестов мы — пока — твердо достигли лишь одного. Потеряли вкус к тому, что называется хорошими словами: умение, ремесло.

Кстати сказать, забавляюсь, когда всякий норовит пнуть — как ему кажется, по своему особенному праву — «Детей Арбата». Причем все понятней понятного, когда их громят поклонники Проскурина и Анатолия Иванова. Или когда делегаты XIX партконференции взвывают от злобы, едва лишь вождь Союза писателей Карпов назовет рыбаковское имя во вполне нейтральном контексте,— уж их-то вряд ли возмущает, что Рыбаков — не Достоевский. За отца родного обиделись, за Виссарионыча!.. Но вот то и дело слышу брюзжание: разве это искусство? Разве это настоящая проза? Вот и альтернативный, полистилистический Ерофеев не удержался от этого ритуального пинка.

Ах, думаю я, эстеты вы мои драгоценные, ценители вы мои! Ладно. Пусть вам наплевать, что книга внедрила в массовое сознание — да, да, в массовое, тут не до элитарности! — ненависть к сталинизму. Пусть вам — в отличие от меня — не кажется, что и Сталин в романе есть создание и открытие художника. Пусть! Но с каких это пор мы с вами — в нашей-то словесности, где профессионалов раз, два и обчелся, где (подумать!) «ремесленной» обзывают какую-нибудь книгу, где ремесло и не ночевало, где автору до него, как до небес,— с каких это пор мы так пресытились умением строить сюжет, держать читателя в напряжении? Много ли сами умеем, чтоб презирать у м е л ь ц а?..

Да и не в одном Рыбакове, конечно, дело, а в том, на что вообще равняемся. Какому суду хотим подлежать.

Цитирую — хоть бы и это, достаточно зацитированное:

Был Милиционером столичным
Она же по улице шла
Стоял на посту он отлично
Она поздней ночею шла

И в этот же миг подбегают
К ней три хулигана втроем
И ей угрожать начинают
Раздеть ее мыслят втроем

Если кто все-таки не признал сочинителя, напомню: концептуалист Пригов, который в моде, и дай ему Бог пребывать в ней подольше, но вот что всеочевидно. Эта «альтернативная», «нетрадиционная» поэзия... Однако — стоп. Вправду ль нетрадиционная? Традиция — паханая-перепаханная, Заболоцким, Олейниковым или Галичем; это — безбрежная стихия графоманства, безграмотный, но живой «самотек», затопляющий все редакции, «чайники», неумехи, и разница только в том, что вышеназванная троица, осваивая традицию, явила великолепное мастерство. Здесь же и об освоении говорить не приходится: лишь о срисовывании, о копиизме, ученическом, робком, буквальном. И если приговские стихи чему-то действительно альтернативны, так это х о р о ш е м у в том понимании, которое выстрадала русская поэзия, от Державина до Мандельштама, и которое спроста приносится в жертву п л о х о м у.

Настоящей поэзии от этого худо не станет, а все-таки — заразительно!

Вот еще два стихотворца. Первый:

Расколют страну скоро Гоги-Магоги,
Библейское племя лихих дикарей?..
Приходит весна из-за чуждых морей,
Да в избу не входит, стоит на пороге.

Ну, тут-то — что скажешь? «Расколют страну скоро...» — это как речевой неизлечимый дефект, как зуб со свистом, и если Корней Иванович Чуковский когда-то назвал варварское нагромождение согласных в стихотворной строке «щебсшем», то здешнее «ск... ст... ск» способно дать уродскому «щебсшу» фору. Но много ли больше умеет второй стихотворец?

Протоптал дорогу к Богу,
видно, трудную дорогу,
почти к самому порогу...

«Почти к самому...» «Чтикс». Но — хорошо, дальше:

...долгий путь.
Что-то до конца маршрута
здесь ступени слишком круты,
очертания их смутны...

«Круты — смутны» — это, что ж, рифма?

...лег передохнуть

Первый случай — из рядовых, обыкновенных: это неизвестный мне Игорь Тюленев, опубликованный всем известной «Молодой гвардией». А во втором — увы, Андрей Битов, зачем-то подавшийся в стихотворство.

Прошу прощения, но мне на сей раз не очень хочется разбираться даже в том, что у Тюленева — скверный запашок юдофобства, а у Битова, разумеется, все как есть духовно и благородно. Мне хочется быть вполне беспартийным читателем, для которого оба они в данном случае — люди, взявшиеся за дело, делать которое не умеют. И в том, что в недоступную ему область подался несомненнейший мастер прозы, я вижу опасное поветрие вседозволенности.

Как ни странно это, может быть, прозвучит, но в жажде мессиански-кланового самоутверждения — вроде хотя бы и той, что проявилась, по-моему, в «альтернативном» манифесте Виктора Ерофеева,— я вижу кризис самоуважения. Умаление целей искусства, к которому принадлежишь или хотя бы причисляешь себя. Потому что когда начинаешь с себя столь мало спрашивать, открывается путь к распаду, да, полагаю, и открылся уже, тем паче, что нелегко удержаться от малого спроса, если в твоей боевой дружине, во главе или в составе которой ты собираешься брать главенство или реванш, неизбежна уравниловка. Единение тех, кто талантлив, с теми, кто напорист,— а ведь нельзя не признать, что в стане наших «других», «альтернативных», не хуже, чем в боевых порядках приверженцев официоза, торжествует родовой принцип объединения, где плохонький, да свой лучше и ближе хорошего чужака. Торжествуют законы войны и победы...

Боюсь, что э т о в нас неискоренимо — или по крайней мере засело надолго, и вот даже на произведения, возвращающиеся из заброса, из ссылки, из эмиграции, мы смотрим как на иную, но, в сущности, ту же «альтернативу», каковая вот-вот и выручит нашу словесность в нелегком ее положении. Как в экономике — раз! — и накормит-оденет-обует медный провод, проложенный Сталиным от Москвы к Ярославлю, лишь стоит его раскопать, или спасут двенадцать долларовых миллиардов, которые мечтает нам ссудить благожелательный Запад.

Когда газетные анкеты вопрошают: «Что будет, если иссякнет поток литературы, прежде запретной или создававшейся в эмиграции?», мне за этим нервным вопросом чудится уж такая жажда услышать: да не иссякнет, не беспокойтесь!.. Но, во-первых, уже иссякает, мелеет, как все, имеющее границы и дно; и хотя неизбежны приливы: например, находящийся на подходе, внушающий большую надежду роман Владимова или очередь, дошедшая наконец до изумительного прозаика Горенштейна, надо все-таки уяснить, что шедевры всегда переборчивы, и наивно надеяться, что, поразив читателя «Верным Русланом» или первой книгой «Чонкина», журналы сумеют держаться точно на этом уровне, ни чуточки не снижаясь. А во-вторых, надежда на чудо спасения «из-за бугра» как в экономике, так и в словесности иллюзорна (не боюсь, напротив, хочу повториться); говоря о второй, о словесности, потому, что о н и — это ведь те же м ы, продолжающие нести в себе н а ш е, на сей раз уж точно неискоренимое. Пусть даже раньше, а иные и героиче

отпустившие себя на свободу, которая тоже — испытание не из легких.

А уж что говорить об испытании опозданием — безвинном и драматическом, однако реальном?..

У нас сейчас ни одна радость не обходится без немедленно следующего за нею разочарования, хоть частичного. Время такое.

С сожалением обнаруживаю, что не произвела должного, как я полагал, впечатления «Иванькиада» Войновича,— сожалею тем более, что она мне как нравилась, так и нравится. Собственно, это предсказал Вячеслав Кондратьев, заметивший, что в пору обнажения наших неизлечимых язв история борьбы писателя за законное улучшение своих жилищных условий, что называется, не прозвучит. И хотя был с удивившей меня яростью обруган за это критиком Сарновым, оказался, увы, прав.

Умерла, не родившись, и «Золотая наша железка» Аксенова. Правда, уж это не неожиданность, ее задержка с прохождением в печать объяснялась исключительно косностью Бориса Полевого, на́ дух не переносившего стилистических новаций. (У запретов, замечу в скобках, тоже своя иерархия. Обращаясь к искусству, более — буквально — наглядному, скажу, что есть разница между судьбой того или иного «полочного» фильма, и ежели запрещение прекрасных работ Киры Муратовой можно все-таки объяснить дуростью и трусостью конкретных киночиновников, то аскольдовского «Комиссара» они запретили в п о л н е з а с л у ж е н н о. Он опередил не только чиновничье, но и общественное сознание и в пору, когда мы пели, роняя слезу: «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской...», обнажил чудовищную суть братоубийства.)

Хотелось бы ошибиться, но анахронизмом кажется и аксеновский «Остров Крым», так остро́ задуманный.

Талантливейший Аксенов — по-моему, один из самых что ни на есть советских писателей. Но, что называется, «с человеческим лицом».

Думаю это, говорю об этом давно, и вот корпоративно обрадовался, встретив в нашем «Литературном обозрении» сходственное высказывание Александра Жолковского (помню его по Московскому университету и шлю ему привет в его Южную Калифорнию): «В духе внезапно оживших надежд на классовый мир и социализм с человеческим лицом (! — **Ст. Р.**) Аксенов заселил свои произведения гибридами советского с западным — модерновыми мальчиками, вырастающими в отличных коллег и вообще полезных членов общества... симпатичными солдафонами... и доносчиками... а то и влюбленными в Запад или просто ищущими гебистами... Разыгрывая «эстонский вариант» социализма, Аксенов создал своего рода литературный эквивалент конвергенции двух систем: его проза — это бесконечный карнавал, в котором на почве «американской мечты» о сочетании российского благородства с западным консумеризмом безмятежно перепутываются и превращаются друг в друга агенты ЦРУ и КГБ, западные и советские интеллектуалы, капиталисты и советские начальники, аристократы, проститутки, комсомолки, диссиденты и приспособленцы».

Блистательно, хлестко и жестко. Я выражусь помягче.

Аксенов — обладатель поистине счастливого характера. Ни надрыва, ни самоедства — уж это вам не Наум Коржавин, которому всюду плохо и который, тоскуя по нашей с ним России, и Америку поносит так, что даже мне, который там не был, и то за нее бывает обидно. У Аксенова решительно наоборот, и его чувственность, его радостная плотоядность отданы даже не той суперменской эротике, которой его проза насыщена, а...

Но тут скажем словцо и об этой самой эротике.

Лично мне кажется очень занятным — и очень русским, очень (опять же) советским, что наши прозаики, порвав с отечественной цензурой, захлебнувшись от новых возможностей, спешно сменили вчерашнее целомудрие, поцелуи через платочек на демонстрацию сексуального опыта — возможно, что своего, а возможно, и вычитанного. По-русски это потому, что, по словам Василия Осиповича Ключевского, российскому вольнодумцу, если уж он разуверился, мало просто уйти из храма, он непременно должен в храме нагадить; то есть он все делает с перехлестом, без вкуса, без такта. А от советского нашего воспитания тут комплекс приученных к дефициту: появилась возможность что-либо ухватить, хватай без разбора и до упора!..

Не думаю, чтоб я был чересчур старомоден либо стыдлив, потому что в прозе того же Аксенова эротизм, по-моему, как раз неэротичен. Расчетлив. Рассудочен. Как у Пушкина: «И знаешь ли, философ мой, что́ думал ты в такое время, когда не думает никто?» Герои Аксенова и в эту минуту думают, даже видят то, чего видеть нельзя, а главное, некогда. Не до того. Вспоминаю хэппи-энд его лучшей книги, «Ожога», с ее мучительными колымскими главами: там герой наконец-то совокупляется с возлюбленной, а автор описывает, ка́к и что именно у нее в таинственной, пардон, глубинке деется. Это не любовь, даже не страсть физического акта, это познания выпускника медицинского вуза по части гинекологии.

Если же говорить об истинной чувственности, истинном сладострастии, то их-то Аксенов являет в описаниях того, что у н и х, т а м, есть и чего у н а с, т у т, в помине нету. «Остров Крым» в этом смысле — витрина, выставка, причем без метафор, в самом прямом смысле,— да я

ведь уже цитировал тот длинный список товаров, который заграничный плейбой Лучников воскрешает в своей голове и без чего в Москве не покажешься: заклюют, заплюют. Кстати, Лучников и вообще — в оговоренных пределах и с неизбежными оговорками — авторский полудвойник, но, думаю, тут, в качестве составителя списка, автор подменяет героя полностью. Ибо не может западный человек, привыкший к изобильным прилавкам, удержать в своей сытой памяти этот голодный перечень; на такое способен лишь тот, кто изголодался. Вспомним: «двойные бритвенные лезвия... длинные носки... тройная вакцина... свитера из ангоры и кашмира...» Не будет человек, т а м родившийся и воспитанный, т а к обонять-осязать даже обстоятельства покупок, сладостный процесс посещения сан-лорановского магазина для избранных: «Зайти в прохладный и пустой с тишайшей, успокаивающей музыкой салон, раскланяться с появившимся из зеркальных глубин умопомрачительным созданием...»

Вот это действительно любовный экстаз! Это действительно долгожданное торжество страсти! Праздник вожделения и обладания!

Любопытно, что «Остров Крым» был написан Аксеновым до отъезда; он уже тут, у нас, в мечтах своих выстроил собственную мини-Америку, точнее, собственный — и победивший, как в сказке,— нэп. Реализовал «оттепельные» идеалы, в жизни не воплотившиеся, но вообще-то вполне достижимые — в рамках все того же социализма с человеческим лицом, на путях все той же конвергенции. Возможно, тут сказалась ностальгия по той эпохе, которая к тому ж была эпохой аксеновских триумфов, «Коллег» и «Звездного билета»; в «Ожоге» это сказывается, пожалуй, в особенности, хотя я, живший в то время, почти ровесник Аксенова, это время вспоминаю куда скептичнее...

Как бы то ни было, но, создав доморощенный вариант золотого века, придумав свою (как выражался Маршак) Страну Иностранию, Аксенов, когда приехал в Америку, и там захотел и сумел увидеть примерно то же. Сужу по книге «В поисках грустного бэби», чье появление в нашей печати, надеюсь, тоже не за горами; я жаден до путевых очерков, но Америка, воссозданная в этой аксеновской книге, вдруг показалась мне, не бывавшему там, слишком знакомой и оттого неинтересной. Потому что и здесь — всего лишь воплощенный идеал нашего русского, советского Васи, идеал, им вымечтанный и обретенный — о б р е т е н н ы й, вот что звучит двусмысленно. С одной стороны — дай Бог всякому, а с другой — печально.

Я, конечно, не жду от аксеновской прозы открытого и нескончаемого трагизма,— не садист же я, в самом деле. Да ведь и было сказано: счастливый, легкий характер, склонный к примиряющим хэппи-эндам; даже в «Ожоге» все должно гармонизироваться долгожданно-престижным воссоединением и совокуплением. Пусть так и будет. Я лишь боюсь, что столь четко и радостно обретаемый идеал обнаруживает свою достижимость, то есть ограниченность. И тогда куда идти дальше? И стоит ли вообще?..

То, что журнальные редакции, обрадовав и отрадовав нас шедеврами, нынче нередко скребут по сусекам, дочерпывают, публикуя уже второ- и третьесортные сочинения одних и тех же (громких) имен, справедливо, ибо вернуться должно все. Во всяком случае, это неизбежно, как и эйфорические преувеличения в оценках, хотя эйфория пройдет — да уже проходит,— и гостеприимный раж нет-нет и резанет ухо. Недоумеваю, к примеру: неужели пьеса Владимира Максимова «Кто боится Рэя Брэдбери?», которую напечатал журнал «Современная драматургия», вправду так превосходна, как ее оценил в своем льстивом — иначе сказать не умею — предисловии наш Юлий Эдлис?

Тут во мне закипает, представьте, своего рода ревность — честное слово, вполне бескорыстная, ибо сам пьес не пишу: ну, а если б такое написал не эмигрант, а абориген?

В конце концов неважно или не так важно, что сюжет и фактуру Максимов взял из блестящей прозы Эрнста Неизвестного — это их домашнее дело, хотя жаль, что копия много бледнее оригинала. Но ведь это до изумления слабо: прямолинейно, декларативно, попросту неумело — в контрастном сравнении не с чем-нибудь посторонним, но с лучшей прозой самого Максимова, прежде всего с романом «Семь дней творения» (в котором мой личный вкус почтительно вычленяет «Двор посреди неба», романную часть, прежде бывшую отдельной повестью). Привязки к злобе нашего дня: «Помнишь, у Булата Окуджавы... Как в таком случае выражается мой друг Толя Найман...» и т. д., и т. п., цитаты, ссылки, старые анекдоты наивны, по-моему, до смешного, а уж шуточки вроде той, что персонажу, мол, презервативы с усиками ни к чему, надевать не на что, это... Да что говорить!

Утверждаю совершенно серьезно: лесть, встречающая на пороге столь несовершенное сочинение, оскорбительна — или хоть должна быть оскорбительна — для самого же Максимова. Как и всякая скидка. Утверждаю, отличнейше понимая, что кого-то рискую обидеть, у кого-то не встречу ни малейшего понимания. Но...

«Кто организовал вставание?» Вот одна из знаменитых сталинских фраз, а сказана была, говорят, в апреле 46-го, когда вождю доложили, что на поэтическом вечере в Колонном зале все, как один, поднялись при виде Анны Ахматовой. Разумеется, корифею всех времен и народов в голову не приходило, что в

его империи уважение и восторг пока еще не всегда распределяются, словно спецпаек, по разнарядке.

Чем это вставание для Ахматовой обернется, не предвидел никто, кажется, кроме нее самой, и день этот поэты завершили вполне празднично — на Лаврушинском, у Пастернака. Недавно в Ленинграде вышел сборник «Об Анне Ахматовой», и там это гостеванье описано вдовой поэта Гитовича, как видно, со слов Ольги Берггольц.

Вот что произошло. Среди вечера Пастернаку вдруг позвонил Вертинский и умолил, чтоб ему разрешили приехать. А дальше:

«Ужинали, пили, читали стихи по кругу. Когда очередь дошла до Вертинского, он встал, поднял бокал и, грассируя, сказал: «Я поднимаю этот бокал за Родину, потому что те, кто с ней не расставались, и понятия не имеют о том, как можно любить Родину».

И тут с бешеными глазами встал Пастернак и сказал Вертинскому: «Как вы смеете говорить о любви к Родине! Вы г...!»

Растерянно Вертинский протянул руки в сторону Анны Андреевны и сказал: «Анна Андреевна, что же это?»

«Да, да,— царственно наклоняя голову, произнесла она.— Да, да!»

Вообще-то есть и другой вариант этого воспоминания, вероятно, более точный, потому что принадлежит Марии Белкиной, которая сама была на том вечере у Пастернака. Впрочем, разница лишь в том, что, так сказать, эмоциональная инициатива принадлежит тут Ахматовой, а не хозяину дома,— он-то, наоборот, услышав пошлость, сбежал от ужаса в коридор. «...Всех предупредила Анна Андреевна. Она поднялась с дивана и, поправив шаль на плечах, сказала, что здесь, в этой комнате, присутствуют те, кто перенес блокаду Ленинграда и не покинули города и в их присутствии говорить то, что сказал Вертинский, по меньшей мере бестактно...»

Понимаю, какой щекотливой темы касаюсь. И прошу никого не настораживаться — тут нужна всего-навсего ясность.

Недавно я прочел совершенно, по-моему, отвратительные высказывания вполне почтенной дамы, талантливого литератора,— об имени умолчу, чтоб сохранить право на резкость. Там вообще немало экстравагантности, например: «Кагановича мне жалко, потому что он глубокий старик...», а рядом со взрывом сверххристианских чувств — нечто менее христианское: «Да, отнимали Родину, но сейчас, когда Родину вернули, изгон и мученики не очень спешат обратно». Не распыляясь на комментарии, замечу: сказано задолго до куцего президентского указа о возврате гражданства сугубо избранным.

Или: в Мюнхене, говорит дама, я «долго доказывала деятелю по имени Кронид, которого я не знаю...» «Любарский, наверное»,— подсказывает интервьюер, но реакции никакой. «...Доказывала, что Миша Ульянов — хороший человек. Он очень сомневался».

Поза носительницы высшего знания: до чего же Миша Ульянов хороший человек,— она-то всего лишь забавна. Но вот это: «деятель, которого я не знаю...» Не знаешь — ну, так узнай, и про лагерную судьбу «деятеля», и про то, что «деятель» деет, про замечательный его журнал «Страна и мир», по-моему, лучшее из эмигрантских изданий. Проверь, черт побери, свое право на высокомерие!

Как кому, а мне неприятны обе его, высокомерия, разновидности. И вот эта, сугубо отечественная, и другая, когда кто-нибудь сам факт своего былого отъезда понимает как право глядеть свысока. Ценится превыше. Словно бы Искандер, Ахмадулина, Эйдельман, Быков, Астафьев, Кондратьев, Липкин, Венедикт Ерофеев и т. п., не эмигрировав, тем самым явили свой конформизм, духовную и политическую неполноценность. Разумеется, никого, никогда, ни в коем случае нельзя упрекать за отъезд, даже если ему отнюдь не предшествовало то, что предшествовало изгнанию Солженицына, Некрасова, Синявского, Войновича или Владимова; чтоб позволить себе такой упрек, надо сперва поступить в негодяи, и все же... Впрочем, авторитетией моих слов прозвучат голоса о т т у д а. В ленинградской газете «Смена» встречаю жесткую фразу Владимира Матусевича; он говорит, что нечего утверждать, будто всякий эмигрировавший «вырвался из когтей КГБ ободранный и кровоточащий». В «Московских новостях» читаю Кронида Любарского: «Уезжали не по признаку таланта, а личной судьбы. Я считаю, что литературный спектр зарубежья бледнее метрополии; эмиграция не благоприятствует расцвету новых талантов... Вообще неправомерно делить литературу на эмигрантскую и отечественную... И судить книги, созданные за рубежом, следует по тем же критериям, по которым мы судим написанное здесь,— без восторга и придыхания». Или — из Сергея Довлатова («Огонек»): «Сейчас в эмиграции любят говорить о пережитых страданиях. Меня никто не выкидывал, не вытеснял, не высылал»,— что, заметим, не совсем правда. Как же не вытесняли, если многие годы отказывали литератору в праве печататься?

Но то, что он говорит именно так, вызывает у меня уважение. Особенную симпатию и особенную печаль по поводу его ранней смерти (происшедшей после того, как я написал эти странички о нем, отчего не хочу и не буду исправлять на перфект настоящее время)...

Когда говорю об этой, особой, симпатии, меня, случается, переспрашивают:

— Довлатов? Ну да, ну да, это, конечно, мило. Но ведь это как бы и не совсем проза. Так, юморок, капустник, что вижу, о том и пишу... По верхам, по верхам!

Вот об этой п о в е р х н о с т н о с т и и хочу сказать.

Ни в коем случае не посягая на законы иерархии, тем более что в искусстве они не только существуют, как всюду, но имеют право на существование, напомню: очень многие, и из поклонников, и из хулителей, именно в этом грехе корили великого Зощенко. Дескать, мелко, бегло, поверхностно. То ли дело Федин, Леонов: мастера, глубоко копают, а уж стилисты!..

Должен признаться: сторонюсь мастеров, слишком уважающих свое изощренное мастерство. То есть самих себя.

Прошу прощения, но я, скажем, не могу читать Андрея Битова; признаюсь в этом смело, потому что не рискую уронить в чьих-то глазах репутацию именитого мастера. Если что и роняю, то исключительно собственную репутацию.

Правда, когда я кому-нибудь в этом доверительно признаюсь, многие неожиданно испытывают облегчение: оказывается, с ними та же беда, но они в ней стесняются признаться. Но другие иной раз поражаются:

— Ты не любишь Битова?

— Да,— отвечаю я храбро.

— Но почему? Ведь он...

Знаю, знаю. Он весьма и весьма даровит, умен, образован, а уж мастеровит до невозможности, но что поделать, если я в его прозе вязну, если и «Пушкинский Дом» дочитал в свое время единственно из уважения к самиздату? А вообще все это мне кажется непререкаемой истиной на уровне дважды два четыре, только она великолепно загримирована под открытия Эйнштейна или Бора...

Впрочем, все это я говорю, чтоб было понятней, почему отдаю предпочтение уж такому, казалось бы, легкомысленному Довлатову. Его повестям «Филиал», «Иностранка», его рассказам, которые печатали «Огонек» и «Октябрь», где он, выражаясь на языке моего сокольнического детства, не фикстулит. Не строит из себя... То есть если что-то и строит, ежели притворяется, то, наоборот,— дилетантом, непрофессионалом, литературным Обломовым. Он отчетливо предпочитает не самоуважение, а самоиронию, хотя, конечно, тут все не так уж просто. Например, то, что в его прозе описываются или родственники, портреты которых он вряд ли искажает до неузнаваемости, или всем известные люди, которых мы знаем и узнаём, да и то, что сам автор является на своих страницах собственной персоной и под собственным именем,— все это не делает его прозу набросками с натуры. Чем-то вроде документалистики. Напротив. Наша действительность при всей своей безусловной узнаваемости, больше скажу — благодаря этой узнаваемости, предстает гротескной. Абсурдной. Чуть было не сказал: кафкианской, но в том-то и дело, что ничего подобного.

Я ведь и про Зощенко, про гениального предшественника нашего скромного автора, вспомнил не зря. У нас поют: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», и бесхитростный каламбур проницателен: зощенковская быль, вполне жизнеподобная, не взмывающая над «первой реальностью», есть нечто, отрицающее для Кафки, появись он у нас, необходимость стать и остаться Кафкой, художником этого типа, не нужным в наших условиях, где самые основополагающие постулаты («грабь награбленное» или «нравственно то, что служит делу пролетариата») есть самые основовзрывающие, все — разом и навсегда — ставящие с ног на голову.

Грегор Замза, волею автора выявляющий мистическую абсурдность их общества, таящуюся в неразличимой глуби, в подпочве, должен утратить человеческий облик, преобразиться в насекомое. А герой Зощенко уже в невыдуманной действительности не только прошел стадию превращений, но шагнул еще дальше: «Человек не блоха — ко всему может привыкнуть». Словом, нам-то достаточно нашего Михаила Михайловича, понявшего, что отечественный абсурд тем глубже, чем он поверхностнее,— да, да, именно так; то, что он с беззастенчивостью победителя расположился на самом виду, и говорит о его укорененности...

Не испытав эмигрантской судьбы, всего лишь читая у Сергея Довлатова о людях русского зарубежья, я верю ему беспрекословно. Это наши люди, это мы сами, потому что других таких больше нет.

В повести «Иностранка» персонаж, возжелавший увезти в Америку горстку земли с шереметьевского газона, но не допущенный на газон милиционером, объявляет: «Я уношу Россию на подошвах сапог!..» Как помним, Дантон полагал, что напротив того: нельзя унести родину на подошвах, но для нас невозможного нет. Мы свой родимый абсурд не только никому не уступим, но и перевезем его куда угодно: «Косая Фрида выражает недовольство: «Ехали бы в свою паршивую Африку!..» Между прочим, это она про латиноамериканцев. И дальше: «Сама Фрида родом из города Шклова. Жить предпочитает в Нью-Йорке».

Мы хотели экспортировать мировую революцию — слава Богу, не вышло. Теперь экспортируем вместе с эмигрантами свою знаменитую кичливость, свою советскую, «собственную гордость», и на месте Запада я бы к этим экспортным возможностям присматривался с опаской.

У Довлатова абсурд — бытовой, домашний, он, кажется, не требует от автора ни малейших усилий воображения, ну, разве что иронической инвентаризации; может, как раз потому Довлатов и притворяется лежебокой, которому остается только лениво наблюдать и, что увидишь, записывать. Вернее, он с бле-

ском использует возможности этой, не им первым освоенной роли,— и в самом деле: если бывший правозащитник Караваев, тот, что недоволен Америкой, ибо в ней ни карательных органов, ни даже советской власти, не списан прямо с натуры, то есть, как известно, поэт Лев Халиф, заявлявший, что соскучился в Штатах по КГБ,— это славное заведение по крайней мере интересовалось, что́ он пишет. А когда я читаю о старшем брате Довлатова Боре, который, как я случайно узнал, существует в реальности, то и это не делает для меня менее всеобщим, менее абстрагированным такой авторский вывод:

«Он мог действовать только в пограничных ситуациях. Карьеру делать лишь в тюрьме. За жизнь бороться только на краю пропасти».

Опять-таки — это про всех про нас, это тип нашего поведения, своеобразие наших волевых стимулов; мы ведь и перестройку-то учинили, лишь обнаружив, что безнадежно валимся в пропасть. И потому сама ирония — точнее, самоирония,— которую тот же Довлатов так охотно обращает на собственную персону, имеет куда более общий, общественный адрес. Она то, что всем нам необходимо,— как нюхнуть нашатырного спирта тому, кто в обмороке. Когда, даст Бог, очнемся, понадобятся и другие лекарства, но это наипервейшим делом, чтобы не окочуриться. Самоирония — это ведь самосознание, пусть и со знаком яростного самопорицания...

А чуда — не будет. Никакая организованная, массированная, победоносная «альтернатива» не снизойдет к нам, дабы выручить из литературного кризиса; никакая свобода, кроме той, что достигается сугубо личными усилиями индивидуальности, еще не родилась в недрах общества, распространившегося (а лучше выразиться понеуклюжее: распространившего себя) далеко за пределы одной шестой. Мы пока даже не догадываемся, какой она будет. Точно знаем пока лишь одно — или хотя бы должны наконец понять: что́ за формы она принимает, то уродливые, то недоразвитые, оказываясь то жалко самоутверждающейся, то бессмысленно разрушительной, то почти уголовной, блатной, отрекающейся от самого стыда, то раскрепощенной по одной видимости, дерзкой по большей части словесно, отменившей лишь те из табу, что наложены общественными приличиями, а не глубинным, далеко еще не изжитым рабством.

Мы строим здание своей свободы, делая это без чертежей. Откуда им взяться? Политические вольности, добываемые с таким трудом, что, когда наконец добудешь, покажется: все, более ничего и не надо,— они лишь фундамент той свободы, которая... Но что, повторю, мы можем сказать о ней, примеряемой на себя? Как сумеем увидеть ее в лицо, назвать по имени, если покуда в самом нехудшем случае скорей ощущаем ее отсутствие? Одно утешение — все-таки ощущаем, стало быть, знаем: она существует, все-таки чувствуем боль, понимая, чего не хватает. Можно сказать: так, мол, болит ампутированная нога, болит то, чего уже нету,— но действительно ли можно? Нога-то б ы л а. А у нас...

Но и у нас — не было разве?

В отдаленные времена в милой моему сердцу Молдавии, Молдове, произошел такой разговор. Наезжий столичный художник, благородно взбудораженный той борьбой, которая тогда знаменовалась противостоянием «Октября» и «Нового мира», спрашивал у писателей-молдаван, читали ли они нашумевший роман Кочетова «Чего же ты хочешь?».

— Как? Неужели не читали? Да что вы!

— Видите ли,— безмятежно ответил умница Ливиу Дамиан, к несчастью, ныне покойный,— мы ведь провинциалы. Мы пока еще только Плутарха читаем.

Настоящая наша нынешняя беда, усугубленная небескорыстной, амбициозной виной, в том, что мы вновь заигрались в кочетовых-антикочетовых; а «Плутарх» (поясняю на случай маловероятного существования непонятливых) есть псевдоним несуетного, непреходящего, одинокого литературного дела, которое как было, так никуда и не делось и которое ни ускорить, ни умножить волевыми усилиями. Вот застопорить, помешать, лишить себя и читателей духовной устойчивости — это вполне достижимо.

●

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются. Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Премии журнала «ОКТЯБРЬ» за 1990 год



В. КОРМЕР



В. МАКСИМОВ



В. ТЕНДРЯКОВ



С. ЛЁЗОВ



Л. ТИМОФЕЕВ



А. БОЧАРОВ

Владимир КОРМЕР. **Наследство.** Р о м а н (№№ 5—8) — посмертно.

Владимир МАКСИМОВ. **Семь дней творения.** Р о м а н. (№№ 6—9).

Владимир ТЕНДРЯКОВ. **Революция! Революция! Революция!** (№ 9) — посмертно.

Сергей ЛЁЗОВ. **Национальная идея и христианство.** Опыт в двух частях (№ 10).

Лев ТИМОФЕЕВ. **Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать** (№ 7).

А. БОЧАРОВ. **Мчатся мифы, бьются мифы** (№ 1). **Мифы и прозрения** (№ 8). С т а т ь и.